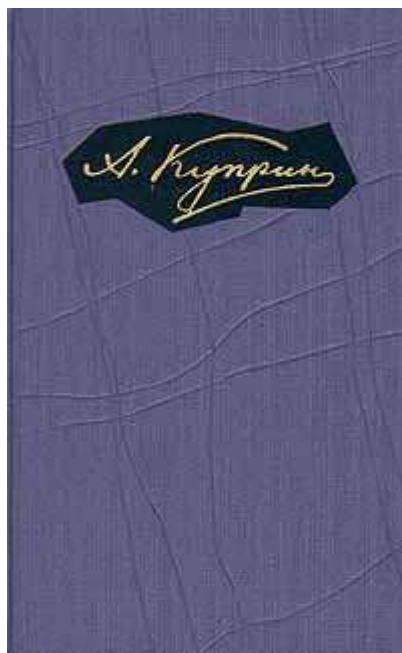


Александр Иванович Куприн
Том 3. Произведения 1901-1905

Серия: Собрание сочинений Куприна в девяти томах – 3



*«Собрание сочинений в девяти томах»:
Правда; Москва; 1964;*

Аннотация

В третий том вошли произведения 1901–1905 гг.:

- *Сентиментальный роман*
- *Серебряный волк*
- *По заказу*
- *Поход*
- *В цирке*
- *На покое*
- *Болото*
- *Трус*
- *Конокрады*
- *В казарме*
- *Белый пудель*
- *Мирное житие*
- *Корь*
- *Жидовка*
- *Брильянты*
- *Пустые дачи*
- *С улицы*
- *Черный туман*
- *Хорошее общество*
- *Жрец*
- *Сны*

Сентиментальный роман

Дорогой друг мой!

Опять, как и прошлой весной, я приехала сюда, на берег моря, в нашу санаторию. Даже и номер мне попался тот же самый. Только в нем зимой переменили обои, и потому в комнате до сих пор слегка пахнет клеем. Не знаю, как у других, но у меня этот запах всегда вызывает ту сладкую и тихую грусть, которая так неразрывно связана с воспоминаниями детства. Может быть, это осталось у меня еще с института. Помню, как, бывало, привозили меня туда после долгих летних каникул. Ходишь по давно знакомым дортуарам, по классам, по коридорам и везде слышишь запах клея, свежей краски, известки и лака. И чувствуешь с тревожной грустью, что опять переступаешь через какую-то новую грань жизни, и смутно жалеешь о прошедшем, оставшемся по ту сторону – сером, будничном, неприятном, но уже потому бесконечно милым, что оно прошло и никогда-никогда не повторится... Ах, это прошлое! Какое таинственное, неотразимое обаяние сохраняет оно над нашей душой! Ведь и вам, мой дорогой, я только потому осмеливаюсь писать, что сегодня с самого утра чувствую себя во власти прошлогодних воспоминаний.

Я сижу в настоящую минуту за письменным столом, но стоит мне оторвать от него глаза, и я вижу море, то самое море, в которое мы с вами – помните? – были так поэтически влюблены. Впрочем, даже и не глядя, я чувствую его. Оно как будто бы подымается вверх ровной, темно-синей пеленой до половины моего окна, раскрытого настежь. Над ним – голубое небо совсем безоблачное и торжественно-спокойное. А под окном цветет яблоня. Одна из ее ветвей – такая пышная, вся сплошь покрытая нежными цветами, прозрачно-белыми на солнце и чуть-чуть розовыми в тени, – заглядывает ко мне в комнату. Когда с моря набегаёт легкий ветерок, она слабо раскачивается, точно кланяясь мне с тихим дружеским приветом, и еле слышно шуршит о зеленый решетчатый ставень. Я смотрю и не могу досыта насмотреться на эти плавные движения белой, осыпанной цветами ветки, которая с такой мягкой, прелестной отчетливостью, так грациозно рисуется на глубокой, могучей и радостной синеве моря... И мне просто хочется плакать от умиления перед этой незатейливой красотой.

Наша санатория тонет (простите за старенькое сравнение) в белых волнах цветущих груш, яблонь, миндаля и абрикосов. Говорят, что на языке прежних обитателей-черкесов эта очаровательная приморская деревушка называлась «Белой невестой». Какое милое и какое верное название! Так и веет от него колоритным языком восточной поэзии, чем-то выхваченным прямо из «Песни Песней» царя Соломона.

Дорожки нашего сада густо покрыты падающими с деревьев легкими белыми лепестками, а когда подымается ветер, то кажется, будто снег крупными хлопьями медленно опускается с деревьев на землю. Эти легкие снежинки залетают ко мне в комнату, осыпают письменный стол, садятся на платье и на волосы... и я не могу, да и не хочу отделаться от воспоминаний, которые волнуют меня и кружат мне голову, как старое ароматное вино...

Это было прошлой весной, на третий или на четвертый день после вашего приезда в санаторию. Было такое же тихое, прохладное, сияющее утро. Мы сидели на южной веранде, я – в кресле-качалке, крытом голубой парусиной (помните это кресло?), а вы – на перилах веранды, прислонившись к угловому столбу и обхватив его рукой. Боже мой! Вот и сейчас, написав эти строчки, я остановилась, закрыла на несколько мгновений глаза руками, и опять передо мною с необыкновенной ясностью стало ваше тогдашнее лицо – худое, бледное, с тонкими, изящными чертами, с прядью темных волос, небрежно свесившихся на белый лоб, и с глубокими, печальными глазами. Я представляю себе даже ту задумчивую и рассеянную улыбку, которая чуть заметно трогала ваши губы, когда вы говорили, мечтательно глядя на падающие лепестки белых цветов: – Вот и яблони осыпаются... А весна ведь только в самом начале. Отчего этот быстрый и пышный расцвет южной весны всегда возбуждает во мне такое болезненное ощущение тоски и неудовлетворенности? Кажется, не далее, как вчера, я с волнением глядел, как наливаются первые почки, а сегодня уж облетают цветы, и знаешь, что завтра придет холодная осень. Не правда ли, как это похоже на нашу жизнь? Смолоду живешь одними надеждами, все думаешь, вот-вот настанет что-то великое, захватывающее, а потом вдруг точно проснешься и видишь, что у тебя ничего не осталось, кроме воспоминаний и тоски по прошлому, и сам не можешь сказать, в ка-

кую пору прошла твоя настоящая жизнь – полная, сознательно прекрасная жизнь.

Видите, как хорошо я помню ваши слова. Все, что связано с вами, запечатлелось в моей душе яркими, выпуклыми образами, которыми я так дорожу, люблю и наслаждаюсь, как скупой своим золотом. Я вам признаюсь даже, что приехала я сюда только потому, что мне хотелось еще раз увидеть хоть из окна кусочек нашего моря и нашего неба, почувствовать тонкий аромат цветущей яблони, слышать по вечерам сухое стрекотание кузнечиков и... без конца переживать воображением те наивные, бледные воспоминания, над мелочностью которых рассмеялся бы здоровый человек. Ах, эти здоровые люди!.. С их грубым аппетитом к жизни, с бездной могучих ощущений, испытываемых их крепким телом и равнодушно расточительной душой, они даже и представить себе не могут тех неуловимо тонких, непередаваемо сложных оттенков настроений, которые постоянно испытываем мы, обреченные чуть ли не с самого дня рождения на однообразное прозябание в больницах, курортах и санаториях!..

Здесь все по-прежнему. Только вас нет, мой дорогой друг и учитель. Вы, конечно, догадываетесь, что я по газетным вестям узнала о том, что ваше здоровье поправилось и что вы снова заняли кафедру. Наш милейший, жизнерадостный, как и всегда, доктор подтвердил это, сияя от самодовольствия. Без сомнения, он приписывает ваше выздоровление своей системе теплых ванн и изобретенному им пищевому режиму. Ни в то, ни в другое, как вам известно, я не верю, но тем не менее готова была расцеловать этого добродушного эгоиста и наивного корыстолюбца за его сообщение о вашем здоровье.

Зато мной он совсем не доволен: это я видела по тому, как он покачивал головой, морщил губы и громко, с озабоченной серьезностью, дышал носом, когда и выстукивал мою грудь. В заключение он советовал мне перебраться куда-нибудь на настоящий юг, – в Ментону или даже в Каир; советовал с неуклюжей и шутливой осторожностью, плохо, однако, маскировавшей беспокойство, которое бегало в его глазах. Очевидно, он боится того плохого впечатления, которое произведет среди его пациентов моя смерть, и заранее хочет избавить их от этой неприятности. Мне очень жаль будет причинить невольный ущерб доброй репутации его заведения, но все-таки я считаю себя вправе позволить себе роскошь умереть именно в этом месте, освященном трогательной прелестью ранней весны.

Тем более что это случится гораздо скорее, чем он предполагает; может быть, даже раньше, чем облетят последние белые лепестки с моей яблони. Скажу вам по секрету, что я уже не хожу никуда дальше веранды, да и это мне страшно трудно, хотя у меня все же хватает мужества отвечать беспечной улыбкой на тревожно-вопросительные взгляды доктора. Но не думайте, что я жалею вам в себялюбивой надежде вызвать к себе сострадание. Нет! Я просто хочу воспользоваться правом умирающей говорить то, о чем из условной стыдливости молчат здоровые люди. Кроме того, мне хочется сказать вам, что смерть совсем не страшит меня и что вам, мой друг, только вам я обязана этим философским спокойствием. Я теперь вполне понимаю ваши слова: «Смерть есть наиболее простое и нормальное из всех жизненных явлений. Человек рождается на свет и живет вследствие одних случайностей, но только умирает по неизбежному закону». Этот прекрасный афоризм стал мне теперь особенно понятен.

Да, вы многому научили меня. Без вас я никогда не постигла бы тех тонких, медленных наслаждений, которые может дать прочитанная книга, изящная и глубокая мысль творческого ума, вдохновенная музыка, красота солнечного заката, аромат цветка и, главное – самое главное – духовное общение двух утонченных натур, у которых благодаря тяжелому недугу нервная восприимчивость доходит до степени экзальтации, а взаимное понимание принимает характер безмолвного ясновидения.

Помните ли вы наши долгие, неторопливые прогулки вдоль морского берега, под отвесными лучами солнца, в те знойные, ленивые, полуденные часы, когда все, кажется, замирает в бессильной истоме и только волны с тихим шелестом и шипением набегают на желтый горячий песок и уходят назад в сверкающее море, оставляя после себя влажную зубчатую кайму, которая так же быстро исчезает, как след от дыхания на стекле? Помните ли, как тайком от доктора, не позволявшего никому оставаться на воздухе после солнечного заката, мы пробирались в теплые лунные ночи на террасу? Свет месяца прорезывал густые шпалеры из дикого винограда и причудливым легким кружевом ложился на полу и на белой стене. В темноте мы не видели, но угадывали друг друга, и боязливый шепот, которым мы должны были из предосторожности разговаривать, сообщал даже самым простым словам глубокое, интимное, волнующее значение.

Помните ли, как в дождливые дни, когда море на целые сутки заволакивалось туманом, а в воздухе пахло мокрым песком, рыбою и освеженными листьями, мы забирались в мою уютную комнату и читали Шекспира, читали понемножку, как истинные лакомки, вдумчиво наслаждаясь каждой страницей, каждой искрой этого великого ума, который становился для меня еще глубже, еще проникновеннее благодаря вашим тонким комментариям. Эти книжки в мягких переплетах из нежного зеленого сафьяна и теперь со мной. В них, на некоторых страницах, до сих пор остались кое-где ваши «отметки резкие ногтей», и, когда я вновь вижу эти уцелевшие символы, так живо напоминающие мне о вашем нежном восторге перед красотами и безднами шекспировского гения, мной овладевает тихое, меланхолическое умиление.

Помните ли... Ах, я без конца готова была бы повторять этот вопрос, но я чувствую, что уже начинаю уставать, а, между прочим, мне еще хочется сказать вам так много.

Ведь вы, конечно, можете себе представить, что здесь, в санатории, я осуждена на вечное молчание. Меня просто из себя выводят эти обычные, стереотипные фразы, которыми обмениваются наши больные, встречаясь поневоле за завтраком, за обедом, за чаем. Говорят все об одном и том же: один взял сегодня утром ванну двумя градусами ниже вчерашнего, другой съел винограду на фунт больше, третий взобрался, не останавливаясь, на крутой откос, ведущий к морю, и – представьте! о даже не запыхался. О своих болезнях рассказывают подолгу, с эгоистичным удовольствием, иногда с противными подробностями... Каждому непременно хочется уверить остальных, что таких необычайных осложнений и таких жестоких страданий, как у него, не может быть ни у кого другого. Беда, когда сталкиваются два конкурента, хотя бы по вопросу о простой головной боли. Тут пускаются в ход презрительные пожатия плечами, кривые иронические улыбки, высокомерные мины и самые «ледяные» взгляды: «Что вы мне говорите о своей мигрени! Ха-ха! Это, право, даже смешно! Воображаю, что бы вы сказали, если бы у вас были такие жестокие боли, какие я испытываю каждый день!» Болезнь здесь служит пред-метом гордости и соревнования, каким-то странным патентом на смешное самоуважение, чем-то вроде почетного ордена. Положим, я замечала это явление и у здоровых людей, но здесь, среди больных... оно становится ужасным, отвратительным, невероятным!..

Поэтому я всегда радуюсь, когда наконец остаюсь одна в моем уютном и недоступном уголке. Впрочем, нет, – я не одна, со мной постоянно вы и моя любовь. Вот я выговорила это слово, и оно вовсе не обожгло моих губ, как это бывает в романах.

Впрочем, я и сама не знаю, можно ли называть любовью это тихое, бледное, полумистическое чувство?

Я не стану от вас скрывать, что девушки нашего круга имеют о любви гораздо более точные и реальные сведения, чем это предполагают их родители, благодушно глядя сквозь пальцы на модное ухаживание. В институте об этом предмете говорят очень много, причем любопытство придает ему какие-то таинственные, преувеличенные, даже уродливые свойства. Из романов и из рассказов замужних подруг мы узнаем о безумных поцелуях, о жарких объятиях, о ночах блаженства, о неге и бог знает о чем еще. Все это мы воспринимаем инстинктом, полусознательно и – вероятно, в зависимости от темперамента, испорченности и догадливости – в большей или меньшей степени глубоко... В этом смысле моя любовь – не любовь, а сентиментальная и смешная игра воображения. Больная, хилая и слабая – я с самого детства питала ужас ко всем явлениям, где так или иначе выказывается физическая мощь, грубое здоровье и алчность к жизни. Быстрая езда на лошадях, вид рабочего, несущего на спине огромную тяжесть, большая толпа, громкий крик, чрезмерный аппетит, сильные запахи – все это приводит меня в трепет или вызывает во мне брезгливость. И эти же самые чувства я испытываю, когда моя мысль случайно остановится на настоящей чувственной любви здоровых людей, с ее тяжелыми, нелепыми и бесстыдными деталями.

Но если назвать любовью то исключительно тонкое духовное слияние двух людей, при котором чувства и мысли одного какими-то таинственными токами передаются другому, когда слова уступают место безмолвным взглядам, когда чуть заметное дрожание век или слабая тень улыбки в глазах говорят иной раз гораздо больше, чем длинное признание в любви у «людей шаблона» (употребляю ваше же выражение), когда, быстро встретившись глазами за общим столом или в гостиной, при входе нового лица или после только что сказанной кем-нибудь глупости, два человека умеют без слов поделиться общим впечатлением – одним словом, если такого рода отношения можно назвать любовью, то я смело скажу, что не только одна я, но что мы

оба с вами любили друг друга...

И даже... даже не той любовью, которую насмешливо называют братской. Это я знаю потому, что у меня очень ярко сохранилось воспоминание об одном случае... единственном случае, рассказывая о котором я боюсь покраснеть. Это произошло над обрывом моря, в виноградной беседке, которую и теперь, как и в прошлом году, с жеманной чувствительностью называют «беседкой любви». Было тихое- тихое утро, и море казалось зеленым, того бледного и блестящего зеленого цвета, который бывает у некоторых пород малахита; иногда по его спокойной глади медленно проползало плохое, неровное фиолетовое пятно – тень от облака. В предшествующую ночь я плохо спала, и потому встала вся разбитая, с головной болью и туго натянутыми нервами. За чаем я поссорилась с доктором, не так из-за его запрещения купаться в открытом море, как из-за его самоуверенного и пышущего здоровьем вида. Жалуюсь вам на него, в беседке, я расплакалась. Помните ли вы этот случай? Вы растерялись, говорили какие-то бессвязные, но милые, ласковые слова и осторожно гладили меня, как ребенка, по волосам. Это участие совсем растрогало меня, я прижалась головой к вашему плечу, и вы... вы поцеловали меня несколько раз подряд в висок и в щеку. И я должна сознаться (так я и знала, что покраснею на том месте письма!), что эти поцелуи не только не были мне противны, но даже доставили мне приятное, чисто физическое удовольствие, похожее на ощущение легкой, теплой волны, пробежавшей по всему моему телу с головы до ног.

Но этот случай был единственный. Ведь вы сами, мой друг, говорили неоднократно, что для таких, как мы с вами, истощенных туберкулезом людей целомудрие является не добродетелью, а долгом.

И все-таки эта любовь, блеснувшая на мой печальный закат, была так ясна, так нежна, так болезненно прекрасна! Помнится мне, еще совсем маленькой девочкой- институткой, я лежала в лазарете, в громадной, пустой, страшно высокой комнате, лежала почему-то отдельно от других больных и невыносимо скучала. И вот однажды мое внимание привлекла простая, но удивительная вещь: за окном, в амбразуре, из мха, покрывавшего кое-где выступы старой доекатерининской стены, вырос цветок. Это был настоящий больничный цветок, с венчиком в виде крошечной желтой звездочки и с длинным, тонким, хрупким, белесовато-зеленым стебельком. Я почти не отрывала от него глаз и чувствовала к нему какую-то жалостливую, задумчивую любовь. Дорогой мой, любимый! Этот больной, слабый желтый цветок – ведь это моя любовь к вам.

Вот и все, что я хотела сказать. Прощайте. Я знаю, что мое письмо немного растрогает вас, и это мне заранее приятно. Ведь такой любовью, именно такой, вас, наверное, никто не любил и не полюбит...

Правда, есть у меня одно желание: это видеть вас в тот таинственный час, когда завеса начнет приподыматься перед моими глазами. Не для того, чтобы цепляться за вас в бессмысленном страхе, а для того, чтобы в минуту упадка, ослабления воли, мгновенного и невольного страха, который, – почем знать? – может быть, овладеет мною, вы крепко сжали бы мои руки и сказали бы мне своими прекрасными глазами:

«Смелей, мой друг... еще несколько секунд, и ты будешь знать все!..» Но я устою против этого соблазна. Сейчас я запечатаю это письмо, напишу адрес, и вы получите его через несколько дней после того, как я перешагну «загадочную черту знания».

Последним моим чувством будет глубокая благодарность к вам, озарившему мои последние дни любовью. Прощайте. Не тревожьтесь за меня, мне хорошо... Вот я закрыла глаза, и по моему телу опять бежит теплая, сладостная волна, как и тогда... в виноградной беседке... Голова так тихо и приятно кружится. Прощайте!

1901

Серебряный волк

Рождественский рассказ

– Станция Волчья! Поезд стоит пять минут! – закричал кто-то внизу, под окном, быстро

проходя с фонарем вдоль поезда. Захватив ручной багаж и ружье в чехле, я вышел из вагона.

Была декабрьская ночь – тихая, светлая и не холодная. Снег только что перестал падать. Маленькая, еле освещенная станция в Полесье казалась неживой и забытой всем миром.

Я оглянулся по сторонам и с удовольствием увидел давно знакомую мне фигуру Трохыма Щербатого, всегда выезжавшего за мною на эту далекую станцию. В своей обычной коричневой свитке, обшитой по швам красным шнуром, в огромной бараньей шапке, нахлобученной поверх ушей, с ременным батоном в руке, он стоял посреди платформы, широко расставя ноги, и глядел, раскрывши рот, на освещенные окна вагонов. Я окликнул его.

– А! Здорово, панычу. Гай богу!¹ – прокричал Трохым обычное полесское приветствие и, на ходу, дотронулся рукою до верха своей шапки. – А я вас по тех вагонах шукал. Ну что же? Будем ехать, паныч? Бо кони застоялись.

– Поедем. А как дорога по лесу?

– Дорога ничего. Хорошая дорога. Трошки только снегом позамело, да я добре протропил ее. Позвольте-ка, панычу, ваш чумардан.

Мы вышли на станционный двор. Посредине его, как и на всех полесских станциях, вышался круглый палисадник, теперь высоко заваленный сугробами.

Привязанные у забора, хорошо знакомые мне, две гнедые лошади Трохыма, маленькие, пузатые, шершавые и сердитые «муцики», ели сечку, низко опустив косматые головы в рядно. Услышав нас, они одновременно повернули к нам спутанные гривы и насторожили острые уши.

Мы уселись. Трохым зачмокал и задергал вожжами, высоко подымая локти. Промерзшие лошаденки тронули мелкой, но веселой и согласной рысцой, Трохым не погонял их, берег: до «Казимирки» нам предстояло сделать, обратным путем, двадцать с лишним верст. Время от времени – и то больше по привычке – он ободрял их странными туземными восклицаниями:

«Хаття вы! хаття ну! виштя кагатя! Отту ни! Виштя вье!» и так далее...

Сейчас же за станцией пошел лес, огромный казенный хвойный лес, входивший в состав южной части знамени-той Беловежской пуши. Узкая дорожка вилась между двумя стенами вековых гигантских сосен такими капризными поворотами и зигзагами, с которыми умеют справляться только одни маленькие, ловкие и привычные полесские лошадки. Вершины деревьев, теряясь где-то в неизмеримой высоте, оставляли над нашими головами тонкую ленточку мутного неба, едва освещенного молодым месяцем, и видно было, как в этом далеком просвете с необыкновенной быстротою проносились клочья легких и прозрачных, как пар, облаков.

Сани беззвучно скользили по свежей, нежной пороше, и только на крутых поворотах слышалось, как снег, уминаемый полозьями, звучно хрустывал. Великаны сосны протягивали через дорогу, точно белые руки, свои пышные, отягощенные снегом ветви. Порою большой мягкий комок срывался сверху и, рассыпавшись на лету, обдавал нас холодным мягким пухом.

Вытянув ноги на сене, плотно покрывшем дно саней, и привалившись спиной к широкому задку, я иногда закрывал глаза, и непременно через несколько минут мне начинало казаться, что сани каким-то непостижимым образом движутся не вперед, а назад к станции. И я нарочно длил этот странный физический обман, так живо всегда переносящий меня в область воспоминаний детства, но когда опять открывал глаза, то снова навстречу мне шла однообразная колоннада могучих темных стволов, передо мною рисовалась все та же неподвижная спина Трохыма, сидевшего боком на каком-то мешке, а впереди смутно и равномерно колебался вверх и вниз черный круп левой лошади. Тихая лень, без мыслей, без ощущений, понемногу охватывала меня.

Кажется, я задремал, потому что внезапно, вдруг почувствовал себя бодрствующим и встревоженным каким-то странным звуком, похожим па завывание ветра в печной трубе. Я прислушался. Казалось, в страшном отдалении, на самом краю света, кто-то стонал и плакал на весь лес. Этот плач начинался очень низко и жалобно, восходил вверх непрерывными печальными полутонами, задерживался долго на высокой унылой ноте и вдруг обрывался невыразимо тоскливым рыданием.

– Никак, волки, Трохым? – спросил я.

– А волки, – подтвердил спокойно Щербатый. – Топерь их в лесу богато. Свадьбы свои играют. Но-о-о вы, малы! Злякались? Не буйсь! – окрикнул он лошадей и стегнул правую, которая

¹ Помогай богом! (Прим. А. И. Куприна.)

начинала артачиться и жалась к дышлу...

– А може, это и не волк трубит, а вовкулак², – заговорил вдруг Трохым после долгого молчания, в продолжение которого я беспокойно прислушивался к далекому вою.

– Вовкулак?

– Ну да, вовкулак. Бывают, чуєте, такие люди, что умеют волками перекидываться. Вот они и бегают по лесам и трубят. У нас на Полесье этой погани богацько. Там за разных водяных и лесных чертяках, за видьм и за видьмаков, я не знаю, чи тому правда, чи ни. Може, одни бабьи сплетки. А вовкулаки у нас водятся – то правда.

Трохым еще раз крикнул на лошадей, повернул ко мне темное лицо с белыми от мороза усами и повторил, понижая голос:

– Это самая истинная правда. Я вам скажу, паньч, что даже у нас в Казимирке один раз такое трапилось, Вы ведь знаете Омельчука? Ивана Омельчука, что сейчас возле гребли сидит?³

– Знаю. Так что же он? – спросил я, и в моей памяти встала, как живая, приземистая, сутуловатая фигура седого старика с печально-суровыми недоверчивыми глазами, глядящими исподлобья на изрытом оспой лице.

– Он – ничего. А вот его батьки старший брат, Омельчуку, значит, дядька – тот был настоящим вовкулаком. Это все в Казимирке знают, хоть кого хотите спытайте. Старики – те его своими глазами видели, потому что застали его еще человеком. Значит – правда. Да вы лучше послушайте, что я расскажу вам.

И тут он передал мне одно из старых полесских сказаний, которые переходят из века в век и бродят по деревням, племенам и народам, облекаясь порою в самую вероятную быль ближайших лет.

Повторяя теперь это предание, я не решаюсь рассказывать его на полесском говоре. Двадцать лет назад я хорошо понимал его и легко говорил на нем, а теперь предпочту язык великорусский.

У старого Омельчука было два сына: Стецько и Назар. Назар – младший сын – был хлопец, как и все хлопцы; ничего о нем ни особенно хорошего, ни дурного не было слышно. Другое дело старший, Стецько. Вся молодежь считала его за казака и своего атамана. Даже старики говорили, что уж на что в их времена народ был красивее, удалее и крепче, чем теперь (известно: старикам всегда кажется, что в их время все лучше было), а такого ловкого, статного и веселого хлопца, как Стецько, даже и они на своем веку не припомнят. Выйдет ли народ на работу – Стецько впереди всех. Первым придет в поле, последним уйдет. Косит, пашет, боронит, рубит, пилит так, что четверым за ним не угнаться. А когда наступала страдная летняя пора, то, бывало, он, не покидая поля и не спя, четыре зари встречал. – Такой был жадный на работу.

А вечером, глядишь, он уже и на «досвитках» первый смеется и балагурит до самого утра и такие выкомаривает штучки, что другие, на него глядя, только за животы хватаются. Дивчата к нему льнули, как мухи к меду, и – что греха таить – не одна из них потом, в первую брачную ночь, побитая мужем, плакалась на Стецькову красоту, на карие его очи, на черные брови и на заманчивую сладкую речь. Словом – не хлопец был, а орел.

Умел он и в беседе со стариками сказать умное слово почтительно и кстати. И на клиросе пел по праздникам, и с начальством знал, как обращаться. А в ту пору ведь известно, какое было начальство. У него разговоры были короткие: «Правда твоя, чоловіче, правда, а не хочешь платить – так снимай штанцы и ложись».

Одно слово: был Стецько первый любимец во всей деревне.

Да вот беда: дошла до Стецька «очередь», забрили ему лоб и угнали в москали. Все село плакало, когда его провожали. А он ничего: пошел веселый такой, светлый. «Что вы, говорит, надо мною, как над покойником, плачете? Нигде ваш Стецько не пропадет: ни в огне не сгорит, ни в воде не потонет».

Далеко его угнали, куда-то в самые расказацкие губернии. Однако в скором времени от него письмо пришло. Писал он, что живется ему хорошо, товарищи его любят, начальство не

² вурдалак, упырь. (Прим. А. И. Куприна.)

³ живет. (Прим. А. И. Куприна.)

обижает, а если и бьют, то не сильно и самую малость, потому что без боя на военной службе никак невозможно. Потом писал он еще раз и говорил, что назначили его в полковой церкви за псаломщика. А там и совсем перестал писать, потому что тогда началась у нас большая война с турками.

Прошло с того времени полтора года. О Стецьке ни слуха, ни весточки; так все и думали, что либо в плен его забрали, либо убили в каком-нибудь сражении. Как вдруг осенью, точно снег на голову, явился сам Стецько. Черный, худой, как смерть, правая рука на перевязи и на левую ногу хрошает. Оказывается, отпустили его в бессрочную, отпустили с медалью и с двумя турецкими пулями в теле, под кожей. Да денег с собой принес он сотни четыре с «гаком», говорил, что накопил на службе. Да еще: выучился говорить по-басурмански.

Но явился он совсем не таким, как пошел в солдаты; как будто бы его там, на войне, подменили: ни смеха, ни шутки, ни песни. Сидит целый день, как старик, на присьбе⁴, опустив очи в землю, и все думает, думает... Заговорят с ним – он отвечает, только неохотно так, еле-еле, и сам в глаза не смотрит, а смотрит куда-то перед собою, точно что-то впереди себя разглядывает...

Увидел старый Омельчук, что его сын сумуется, поговорил со своей старухой, посоветовался с попом и решил женить Стецька. Известно: у женатого человека и мысли совсем другое на уме, чем у холостого; некогда о пустом думать. Но Стецько, когда только услышал о свадьбе, так и уперся – «як не наче той вул»: не хочу, не хочу, и кончено. Отец уж и просил, и молил, и грозился – ничего не помогает. Наконец старая мать стала перед сыном на колени. «Не встану, говорит, до тех нор, пока ты не дашь согласия; не буду ни есть, ни пить и с места этого не сойду до самой смерти...» Не мог перенести Стецько материнского горя. «Добре, – сказал он, – жените меня, если вам уж так не терпится. Только смотрите, чтобы вам потом не пришлось горько в этом деле раскаться».

И женили Стецька. На рождество свадьбу играли. Все село заметило, что в церкви Стецько стоял хмурый, как ночь, ни одного раза лба не перекрестил и с невестою не поцеловался. Когда же пришли из церкви в хату, то и тут он сидел такой, совсем темный, что глядеть на него тошно было, и ни с кем не разговаривал.

По старому обычаю, освященному церковью и предками нашими, хотели дружки отвести с песнями молодых в особую каморку, как на всем свете у добрых людей делается, но Стецько сказал им: «Оставьте в покое и меня и жену. Это не ваше дело». Стали было хлопцы над ним слегка подсмеиваться, но он вдруг как заскрипит зубами и так глазами на них сверкнул, что у них сразу отшибло всякую охоту к забавным шуткам.

Прошло после женитьбы недели две, а Стецько – все такой же: на жену даже и не смотрит, как будто бы ее совсем в хате нет.

А жена у него была красивая и молодая, взятая из богатого дома. Звали ее Грипой. Долго терпела красавица Грипа, никому не говорила, наконец не выдержала, пришла к своей матери, заплакала и стала жаловаться на мужа. Не так ей было обидно, что муж ни спать, ни говорить с ней не хотел, а то, что каждый день около полуночи уходит он из дома и возвращается назад только к раннему утру. Бог его знает, что он в эти ночные часы делает и с кем время проводит.

Мать Грипы, конечно, об этом рассказала старому Омельчуку. Сильно огорчился старик. «Страм-то какой! Но нет! Постой! – думает. – Выслежу я Стецьковы штучки и выведу их на чистую воду. Это, может быть, у москалей или у басурман такой порядок есть, чтобы от жен молодых бегать по ночам, а я такой глупости ему не позволю».

В ту же ночь пробрался он потихоньку в огород и притаился в шалаше. Ночь была светлая, месячная, и мо-роз стоял такой, что деревья трещали. Ждал Омельчук около часа, совсем промерз старик и уже хотел назад в хату идти. «Этих чертовых баб, думает, как послушаешься – всегда в дурнях будешь». Только вдруг слышит он – заскрипела дверь в хате. Обернулся, крадучись, и видит, что вышел на двор его сын, Стецько.

Постоял Стецько на дворе, поглядел на месяц, оглянулся вокруг, а сам такой белый, как бумага, и очи горят, точно две свечки. Страшно стало Омельчуку. Зажмурил он глаза и прижался изо всех сил к глинобитной стене. Но так как он был все-таки человек смелый, то решился, наконец, опять открыть глаза. Смотрит – нет уже на дворе Стецька, а из ворот на улицу выбегает

⁴ завалинка. (Прим. А. И. Куприна.)

огромный белый, весь точно серебряный, волк.

Все тогда понял старик, и уж тут его, вместо страха, такое зло разобрало, что, не долго думая, выдернул он из тына здоровенный дрючок, перекрестился и помчался в погоню за вурдалаком-оборотнем.

Бежит белый волк по улице. Перебежал через мост, потом в лес ударился, а сам все на одну заднюю ногу хромает, ну точь-в-точь как Стецько. Скоро его Омельчук совсем из виду потерял, но месяц в эту ночь светил так ярко, что следы на снегу лежали, как отпечатанные, и по ним старик бежал все дальше и дальше.

Вдруг слышит он: впереди его, в лесу, волк затрубил, да так затрубил, что с деревьев иней посыпался. И в ту же минуту со всех концов леса откликнулись сотни, тысячи волчьих голосов. А старика только еще больше злоба одолевает. «Будь что будет, думает, я об его проклятую спину весь дрючок измочалю».

Пришел наконец Омельчук на большую поляну и видит: стоит посередине большой бело-серебристый волк, а к нему со всех сторон бегут другие волки. Сбежались, прыгают вокруг него, визжат, ласться к нему, шерсть на нем лижут. А потом принялись играть между собою, совсем как молодые собаки. Гоняются и воют на месяц, поднявши острые морды кверху.

Смотрит старик и глаз отвести не в силах. Вдруг где-то далеко по дороге колокольчик зазвенел. Мигом вскочили все волки на ноги, уши торчмя поставили, а сами в ту сторону морды повернули, откуда звонок... Но послушали, послушали немного и опять принялись играть вокруг старшего – белого. Кусают снег, прыгают один через другого, рычат, а шерсть у них на месяце так и переливается и зубы блестят, как сахар...

Опять на дороге колокольчик зазвякал, но теперь совсем с другой стороны, и опять поднялась вся стая.

Прислушались волки на минутку и ринулись все сразу, как один, понеслись по лесу и пропали.

Не долго ждал старый Омельчук. Услышал он вскоре, как вдруг забился неровно и торопливо отдаленный колокольчик, – понесли, должно быть, испуганные кони. Потом крик человеческий по лесу разлетелся, такой страшный и жалкий крик, что у Омельчука сердце обмерло и упало от ужаса. Потом где-то близко на «шляху» раздался бешеный топот, и долго было слышно, как на раскатах разбитые в щепки сани колотились о сосновые корневища.

Зарыдал бедный старик, что было духу побежал назад и всю дорогу, не переставая, крестился.

Сам он не помнил никогда, как бежал лесом, как попал в село и как добрался до своей родной хаты. Поставил он уже ногу на перелаз и весь задрожал: стоит у ворот Стецько. Смотрит батьке прямо в очи и дышит, как запаренный: видно, что от бега запыхался. Ничего ему отец не сказал и уже поставил ногу через перелазок, как вдруг Стецько сам заговорил:

– Постой, батька. Ты думаешь, я не знаю, что ты за мною следом бегал! Ну, так поди завтра в церковь и отслужи молебен за то, что живой назад вернулся. Если бы не я – разорвали бы тебя на мелкие кусочки и умер бы ты без покаяния.

Стоит Омельчук на перелазе, очей от сына отвести не может, а тот дальше говорит:

– Сегодня ночью, под сочельник, большая власть дана нам, вовкулакам, над людьми и зверями. Только тех мы не смеем трогать, кто в эту ночь *не своею волей* из дому вышел. Вот потому-то ты так удивился, что мы первого проезжего не тронули: его хозяин по делу послал. А второй был купец. Ехал по своей корысти, торопился на ярмарку... Толстый был, как кабан. Мясистый. Жирный...

И блеснул глазами, как красными огнями. А старику вдруг показалось, что рот и усы Стецька густо вымазаны красной кровью.

Взмахнул он дрючком, но не попал, промахнулся. Стецько же сразу исчез, как будто его и не бывало. Только голос его как бы из-под земли послышался, тихий и печальный:

– Не сердись, отец. Больше не приду в наши края никогда. И поверь: чья душа проклята свыше – нелегко ему на свете жить.

Илья Платонович Арэфьев, фельетонист распространенной газеты, ходит по своему кабинету, – от угла кожаного дивана до этажерки с бюстом сурового Шопенгауэра, задевает руками и ногами за спинки стульев и сердится. С ним случилось то, что называется у игроков метким словечком: «заколodило». Уже больше часа ломает он голову и не может выжать из нее ни одной живой строчки, а на приготовленной для писания бумаге красуются: солдат, стоящий около полосатой будки, лошадиная морда в профиль с удивленным человеческим глазом и несколько кошек, нарисованных с одного почерка.

Арэфьев – старый газетный волк. Не только юные поэты и почтенные сочинительницы дамских повестей, но и «наши молодые, подающие надежды беллетристы» не без волнения пробегают четверговые номера «Русской почты», в которых Илья Платонович, под псевдонимом «графа Альмавивы», производит еженедельное избиевание литературных младенцев. Но эти кровавые расправы не составляют его специальности. Он одинаково легко пишет о золотой валюте и о символистах, о торговле с Китаем и о земских начальниках, о новой драме, о марксистах, о бирже, о тюрьмах, об артезианских колодцах – словом, обо всем, что он слышит в воздухе своим тонким, профессиональным чутьем. Он раньше всех схватывает на лету, ловит за хвост ту тему, которая еще не сделалась сегодня, но сделается завтра всеобщей злобой дня, и тотчас же перед его умом, изощренным в сарказме и гиперболе, вырастают с привычной резкостью смешные, темные и уродливые стороны явления.

До сих пор Илья Платонович не знал никаких технических трудностей своего ремесла. Ему достаточно было только заинтересоваться и овладеть идеей. Он садился к столу уверенный, что слова придут сами собой, и они на самом деле приходили к нему, живые, интересные, хлесткие и остроумные, выливаясь без единой помарки четкими, красивыми строчками на бумагу. Он даже никогда не перечитывал своих фельетонов, прежде чем отослать их с типографским мальчиком в редакцию.

И вот сегодня случилось что-то непонятное. Один видный литературный кружок предпринял в пользу детской санатории издание литературного альманаха. Пригласили участвовать и Арэфьева, причем с надлежащей, очень лестной почтительностью дали ему понять, что от него ждут?чего-нибудь такого, знаете ли, потеплее, что хорошенько расшевелило бы читателя?... Арэфьев охотно дал согласие, потом, по обыкновению, забыл о нем, и, наконец, вчера, когда ему деликатно напомнили, что из-за его рассказа задержали печатание книги на два дня, он сделал и последний промах, обещав самым положительным образом прислать рукопись никак не позже сегодняшнего вечера.

Вернувшись в семь часов вечера домой, он, как и всегда, аккуратно зажег лампу с подвижным металлическим рефлектором, поставил ее по левую руку от себя, положил перед собою наискось дeсть линованной бумаги, даже обмакнул перо в чернильницу – и вдруг с удивлением почувствовал, что ему не о чем писать. Дело другого рода, если бы предстояло написать ядовитый зажигательный фельетон. Тем более что и темы подвертываются самые ходкие. Вот, например, лежит перед Арэфьевым последняя книжка «Литературного приложения», где «наш молодой талантливый поэт» с апломбом выдает за свое произведение стихи Тютчева, известные публике еще по хрестоматиям. Не менее заманчив отчет о благотворительном спектакле, устроенном в пользу сирот севастопольских инвалидов, причем чистый сбор выразился в сумме три рубля семь копеек, а на извозчиков для господ любителей и на угощение их «чаем» потрачено более трехсот рублей. Но, к сожалению, в обеих темах нет ничего такого, что могло бы расшевелить читателя и раскрыть его карман в пользу слабогрудых ребятишек.

А между тем Илья Платонович чувствует, что в его душе зашевелился червячок профессионального самолюбия. Как? Неужели он, Арэфьев, не в состоянии написать простого пасхального рассказа, в то время когда самый захудалый репортер, заведующий обыкновенно бешеными собаками и буйными извозчиками, уже, наверно, успел стащить в редакцию, пользуясь привилегиями, существующими для праздничных произведений, какого-нибудь внезапно раскаявшегося ростовщика или старуху, «мирно засыпающую вечным сном под радостный звон колоколов». Неужели, привыкнув в продолжение стольких лет вызывать в читателе насмешливые и злобные настроения, он потерял навсегда способность затрагивать в его сердце чувства милосердия, нежности и тихой радости? Неужели его талант специализировался, утратил самое драгоценное качество – разносторонность?

Арефьев продолжает свою нервную беготню от угла дивана до бюста великого скептика, а насмешливый ум, как будто нарочно, дразнит его, подсказывая ему шаблонные фразы из «дамских повестей», над которыми он так «охотно и беспощадно глумился в четверговых фельетонах». «Он подошел к окну, прижался пылающим лицом к холодному стеклу, по которому, точно слезы, струились дождевые капли». – «Князь метался взад и вперед по своему роскошно убранному кабинету, что всегда служило у него признаком дурного настроения». – «Был тихий майский вечер. Солнце садилось, озаряя своим пурпуровым светом окрестность»...

– Хорошо было бы написать рассказ сплошь из таких милых фразочек, – соблазняет Илью Платоновича старая привычка смотреть на все с юмористической стороны. – Да. Так бы и начать: «На башне св. Стефана глухо пробило полночь. Из-за угла невзрачной лачуги показался незнакомец высокого роста. Лицо его было закутано широким плащом. Шляпа с пером и длинная шпага на боку доказывали его благородное происхождение».

Но Арефьев гонит от себя эту предательскую мысль и опять принимается метаться взад и вперед по своему роскошно убранному кабинету.

– Подожди. Разберемся в этой задаче постепенно, – говорит он сам с собою. – Во-первых, для того чтобы взволновать и умилить читателя, надо самому над чем-нибудь взволноваться и умилиться. Нужно пролить ту самую слезу, которую в дамских повестях проливают, сваливая ее на слитком крепкий табак, старые полковники по окончании чувствительного рассказа. «В комнате воцарилась гробовая тишина. Старый полковник окончил рассказ и почему-то слишком долго выколачивал о решетку камина свою трубку, отвернувшись от слушателей. Наконец он выпрямился и, отирая глаза, сказал дрожащим голосом: «Черт побери! Какой, однако, у вас крепкий табак, ротмистр!» – «А что же случилось с несчастной Заирой?» – решила спросить, после долгого молчания, дама с палевой розой в волосах. «Она умерла!» – глухо ответил старый полковник».

– Черт! Какая чепуха лезет в голову! – бранится вслух Арефьев и сердито толкает ногой подвернувшийся стул. – Ведь этак выходит, что я похож на того анекдотического попугая, который не умел ничего говорить, кроме скверных слов. Нет, будем последовательны и разберем спокойно, на какие сюжеты самый большой праздничный спрос. Ну-с, раньше всего, конечно, легкомысленная жена, возвращающаяся к покинутому мужу с первым ударом колокола. «Револьвер выпал из его рук и с грохотом покатился по полу. Он широко размахнул свои объятия, она упала к нему на грудь, и их уста слились в долгом, долгом поцелуе...» Одним словом, долой легкомысленную даму!..

Затем следует солдат, стоящий в пасхальную ночь на часах. «Какая-то черная тень промелькнула на белом фоне тюремной стены, ярко освещенной луной. Часовой быстро, привычной рукой взвел курок и прицелился. Но в эту минуту в воздухе торжественно-гулко разлился первый звук благовеста, и ружье медленно опустилось вниз... Глубокий вздох облегчения вырвался из взволнованной груди» и так далее и так далее. Хорошая история, старая, верная, испытанная... Мимо!..

Что же еще?.. Недурно тоже заморозить на улице нищую девочку, глядящую в ярко освещенные окна богатого дома. «Снег медленно падал мягкими пушистыми хлопьями, засыпая неподвижную фигуру ребенка, на лице которого застыла блаженная улыбка». Впрочем, это из рождественских тем – и потому в сторону.

Илья Платонович подходит к окну и равнодушно смотрит на улицу. Вечер тихий, ясный и теплый; все в нем кажется смягченным, размеренным – и задумчивое небо, и чистый полукруг ущербленного месяца, и тонкие ветки акаций, и контуры громадных темных зданий. В чутком и ленивом воздухе голос прохожих и женский смех отдаются с приятной звучностью, даже колеса экипажей стучат как-то особенно, по-весеннему мягко.

Напротив, через улицу, перед окнами большой кондитерской столпилась кучка оборванных мальчишек. Они никак не могут отвести глаз от выставленных за большими стеклами исполинских баб, размалеванных куличей, сахарных барашков и висящих на ниточках пестрых яиц. Эти мальчишки почему-то раздражают Илью Платоновича.

«Ишь как прилипли к стеклу носами. Ведь вон того, что с колодками под мышкой, наверно, хозяин послал к заказчику-офицеру. А он перед каждым окном зевает. Ну и опоздает и получит трепку ради праздника, а потом в газете заметка о зверском обращении. Так тебе и надо, канальский мальчишка!.. Гм... А впрочем, и еще хорошенькая темочка. «Бледный, изнуренный маль-

чик любуется на куличи, выставленные в роскошной кондитерской. Неожиданно появляется на сцену таинственный господин с золотыми очками и непременно в богатой лисьей шубе (вообще удивительную энергию проявляет на святках этот господин!). Завязывается разговор. Оказывается, что «тятка» у мальчика умер, столетний «дедка», согнутый в дугу, не слезает с печи, мамка лежит больная, сестренка... ну, и так далее. «Веди меня туда!» – решительно говорит господин в золотых часах, и через полчаса у мамки появляется хорошее вино и лекарство, прописанное лучшим доктором, дедку накормили манной кашей и купили ему теплый набрюшник, изнуренный мальчик, «радостно блестя глазенками», прыгает вокруг стола, на котором красуется недорогая пасха, скромный кулич и десяток красных яиц, а господин в лисьей шубе незаметно скрылся, не сказав даже своего имени, но оставив на столе кошелек, наполненный золотом».

Часы за стеной глухим, певучим, медленным баритоном бьют девять. Арефьевым вдруг овладевает странная, незнакомая ему до сих пор душевная усталость и непобедимое отвращение ко всем этим изнуренным мальчикам, покинутым мужьям и таинственным незнакомцам. Он лениво валится на широкий кожаный диван и закрывает глаза.

Если бы кто-нибудь поглядел теперь на Илью Платоновича, то, наверно, почувствовал бы жалость к этому злоязычному фельетонисту, к этому «господину насмешнику». Лицо его посерело и точно состарилось сразу лет на десять, на лбу резче обозначились тревожные зигзаги морщин, закрытые глаза глубоко ушли в черные тени орбит, а складки вокруг губ, опустившись вниз, придали рту горькое и брезгливое выражение.

Но Илья Платонович не спит. На него нашло неподвижное состояние полудремоты, полубодрствования и грезы, неожиданно и бессознательно цепляющихся друг за друга. Время исчезло. Стены кабинета ушли в далекую мглу, растаяли, и Арефьев живет пестрой, изменчивой, фантастической жизнью, почти такой же яркой, как и сама действительность.

Видит он себя худым, взъерошенным, плутоватым мальчуганом, сыном соборного дьячка в глухом заброшенном городишке. Идет светлая заутреня... Правый клирос битком набит любителями, из которых на скорую руку составил церковный хор приехавший на пасхальные каникулы семинарист, протопопов сын. Вот они все, как живые, стоят перед Арефьевым. Первый тенор, младший чиновник почтовой конторы, в новеньком мундире, за борт которого запущены белые перчатки, блестит своей напомаженной головой и благоухает цветочным одеколоном. Он поет немного в нос, сильно вибрирующим голосом, а когда исполняет соло, то небрежно обтирается спиной о стену, развязно переплетает нога за ногу, закидывает голову назад и томно закрывает глаза. Сам регент, – тонкий, высокий и благообразный, – в очень длинном сюртуке, дирижирует с утонченными манерами, вызывающими общее восхищение. Держа камертон двумя пальцами, а остальные изящно оттопырив, он на нежных местах бережно, чуть заметно для глаза, пошевеливает картинно изогнутой правой рукой, изредка протягивая вперед левую руку с предостерегающим и останавливающим жестом; при этом его лицо с приподнятыми бровями все сильнее и сильнее принимает удивленное, испуганное и умиленное выражение. Но на местах, требующих форте, он широко и плавно размахивает обеими руками, встряхивает головой, раскачивается туловищем и с угрожающим видом морщит нос и нахмуривает брови. Купеческий сын Ноздрунов, толстый, красный, с вылезшим на шею галстуком, впился в регента выпученными, напряженными глазами и даже весь подался вперед от усиленного внимания. У него нет ровно никакого слуха, но зато он, по выражению сына протопопа, обладает «феноменальным басом», и потому его употребляют, ?наподобие тарана? в самых оглушительных местах. Когда такое место подходит, регент оборачивается к феноменальному басу, делает ему страшные глаза и отрывисто, точно прокалывая кого-то шпагою, вытягивает в его сторону руку с камертоном. Тогда Ноздрунов, весь багровый, с надутыми жилами на лбу и с трясущимися губами, испускает рев, в котором на мгновение утопает весь хор.

Ильюшка стоит в первом ряду. Он не сводит счастливых и преданных глаз с лица регента, и ему почти нет времени обернуться на толпу, наполняющую церковь, которая сверху представляется ему как бесчисленное множество голов, огней, однообразных, радостных, светлых лиц.

Обедня кончилась. Причт и за ним хор выходят из церкви святить пасхи и куличи, разложенные рядами в церковной ограде. Весело и неожиданно встречает всех выходящих из церкви сияющее, ослепительное, весеннее утро. Голубое небо, молодая травка, благоухающие почки деревьев, возбужденный крик воробьев на погосте – все это снова приподымает в усталом Иль-

юшке ослабевшее было от усталости чувство праздника. Он громко пел вместе с хором, с трудом улавливая чужие голоса сквозь ликующий звон колоколов, и в то же время ощущает на себе взгляд народной толпы и потому сохраняет на лице озабоченное, даже несколько хмурое выражение человека, исполняющего трудное, важное и серьезное дело.

А на другой день надо непременно сбежать на колокольню и позвонить. Это, по старому, давнишнему обычаю, дозволяется каждому в первые три дня, и без этого пасха не в пасху. Лестницы, идущие в ярусах колокольни, темны, покрыты пылью и так круты, что у Ильюшки дрожат ноги, когда он, наконец, взбирается наверх. Уцепившись похолодевшими пальцами за перила, он заглядывает вниз. Ух, как страшно, как весело и как необыкновенно! Дома кажутся маленькими и совсем новыми, никогда не виданными. Под ногами в воздухе быстро носятся, резко и радостно вскрикивая, стрижи, кверху кружатся, блестя крыльями, испуганные голуби. Вся колокольня дрожит от неумолчного звука, кричишь и сам не слышишь своего голоса. И эти ощущения так странно и прекрасно смешиваются, что сам не разберешь, кто здесь звонит, кто сияет и кто смеется: голубое небо, колокола или опьяненная восторгом детская душа.

Лежащий на диване человек с бледным старообразным лицом слабо улыбается. Теперь он уже не Илья Платонович Арефьев, гроза юных стихотворцев, талантливый насмешник, презрительно и напряженно жгущий свою жизнь в котле общественных интересов и нездоровых страстей больного города. Он – дьячковский сын Ильюшка, веселый, беззаботный, вертлявый уличный мальчишка, жадно глотающий все впечатления своего могучего полуживотного бытия. И Арефьев на несколько минут испытывает внутри себя чувство такой свежести, чистоты и ясности, как будто чья-то невидимая рука нежно и заботливо стерла с его души всю накопившуюся на ней копоть ненависти, зависти, раздраженного самолюбия, пресыщения и скуки. И кажется ему вместе с Ильюшкой, что с каждым вздохом в грудь к нему вторгается весь праздничный мир красок, звуков и запахов, всегда новых, всегда очаровательных и бесконечно разнообразных.

Но проплывают мимо эти чудные, солнечные дни. Тянутся другие картины, и чем дальше, тем они серее и печальнее, – длинная история незаглушенных обид, жестокой борьбы за успех и медленного нравственного окостенения. Неумолимая память вызывает, наконец, и тот далекий пасхальный вечер, вспоминать о котором так боится всегда Арефьев.

О, как отчетливо все это помнится. Сначала контора редакции, где Илья Платонович получает гонорар за свой первый большой рассказ. Редактор, старый, суровый и чуткий газетных дел мастер, понял, должно быть, что в лице нового сотрудника входит в газету большая, оригинальная и свежая сила. Он только что обласкал Арефьева в своем кабинете, долго жал ему руку и, наконец, – неслыханная до сих пор в преданиях редакций любезность! – сказал дружески фамильярным тоном:

– Рассказ ваш пойдет завтра. Но если вам нужны деньги, пожалуйста, без стеснения. Если угодно, мы вам можем выдать гонорар по корректурному листу.

Еще бы, не угодно! Арефьев и сам только что собирался попросить «рубля три авансом». Там, в громадном доме, набитом разной беднотой, чуть ли не на чердаке его найдут теперь с замираньем сердца женщина и ребенок. Там сидят в темноте, положительно не на что купить керосину, там продали сегодня утром единственный серый теплый платок, чтобы сварить обед, там квартирные хозяева, дворники, нищета и озлобление. Прыгающей рукой расписывается Арефьев на талоне, в то время как кассир, коротенький, толстый, самоуверенный и вечно недовольный старик с лицом обиженного попугая, придвигает к нему пачку бумажек, придавленных сверху кучкой серебра.

Да, это была тяжелая пора в жизни Ильи Платоновича, неудачная, голодная, вся сплошь состоящая из бешеного хватанья случайных кусков вроде уроков, переписки, вечерних занятий. Но отчего же они с женой несли тогда так бодро свое каторжное бремя, без ропота, без отвратительной горечи взаимных упреков, часто даже с гордой, молодой, вызывающей насмешкой над судьбой? Отчего же потом, когда эта судьба наконец милостиво улыбнулась им и Арефьев такими большими шагами пошел по пути известности и обеспеченной, даже комфортабельной жизни, – отчего распался и рассыпался их душевный мир, превратясь в пустое загрязненное место? Не оттого ли, что со смертью ребенка исчезла та крепкая, хотя и болезненная связь, которая единила их сердца?

Станный и печальный был этот ребенок. На нем как будто бы целиком отразились вся нищета и убожество, среди которых он был зачат. Начиная с года, он перестал расти. Росла

только его голова, огромная, пухлая, точно налитая какой-то бледной, нездоровой жидкостью; но тело оставалось таким же жалким и слабым, а тоненькие, как сухие веточки, руки и ноги бесильно висели, не развиваясь и не становясь крепче. Хороши у него были только глаза, большие, кроткие и печальные, такого удивительного цвета, которого, по выражению Гейне, не бывает ни у людей, ни у зверей, а лишь изредка у цветов. Осужденный на вечную неподвижность, он с неестественным терпением переносил свои постоянные болезни. Любимыми разговорами этого всегда серьезного, вечно задумчивого мальчика были разговоры о боге, об ангелах, о мертвецах, о похоронах и о кладбищах. Он точно знал, что скоро умрет, и никогда не улыбался.

Ах, как мучительно подробно вспоминается Илье Платоновичу этот пасхальный вечер, когда он вошел в комнату, до того нагруженный кулками и бумажными картузами, что принужден был локтем открывать дверь. А сзади него дворник, уже задобренный и потому снисходительный, благосклонный и улыбающийся, нес свертки, которых не мог захватить с пролетки сам Арефьев.

Какая радость была в этот святой вечер в маленькой каморке на четвертом этаже. Разрезали три свечи на половины и зажгли все шесть кусков – безумная роскошь. На бензинке (о ней раньше и мечтать не смели) жарились готовые отбивные котлеты и варился настоящий «кофе мокка». На столе стоял большой кулич и большая пасха для взрослых и малюсенькие для мальчика. Илье Платоновичу не сиделось на месте. Он ходил перед Гришей на четвереньках, представляя медведя, прыгал лягушкой и, в роли злой собаки, с рычанием делал вид, что кусает теплую грудку ребенка. Он точно опьянел от непривычных ощущений сытости, тепла и довольства, а главное – от первого литературного успеха, всю ядовитую сладость которого даже и представить себе не может человек, не испытавший его.

Даже и Гриша улыбнулся в первый раз в своей маленькой жизни. Он протянул ручки к картонному херувимчику, водруженному на куличе и парившему на одной ноге, и с лицом, сделавшимся неожиданно прекрасным от светлой улыбки, прошептал:

– Ангелок! Ангелок!

Боже мой, где они теперь? Жену Арефьев видел три года тому назад в Ницце с каким-то подагрическим старцем необыкновенно благородного и изношенного вида. А Гришу взяли к себе ангелы, которым он так радостно улыбался...

Илья Платонович, точно его подбросили, вскочил с дивана. Лицо его было мокро от слез, но он их не стыдился, потому что они дали ему на несколько минут чувство давно не испытанной, глубокой человеческой скорби, очищавшей и смягчающей сердце... Пройдясь по комнате, он заглянул в окно. По-прежнему у окон кондитерской толпились оборванные ребятишки, топя озябшими ногами. И ему вспомнилась та злоба, с которой он только что иронизировал над «исхудалыми мальчиками» и «таинственными господами в золотых очках!». Но теперь уже не раздражение, глядя на них, почувствовал Арефьев, а тихую, нежную, родственную жалость.

«Все мы, – подумалось ему, – так или иначе – бедные, исхудалые, брошенные дети, и как ужасна должна быть жизнь, если совсем потерять веру в таинственных добрых незнакомцев!»

И встали в его воображении все эти беспомощные детские фигуры, мерзнувшие на чердаках, дрожащие в промозглых подвалах, бегущие на улицах с назойливым «Христа ради» за прохожими, эти чистые души, которым озлобленные жизнью взрослые прививают свои пороки, мерзость и вечную ложь; девочки, едва научившись говорить и уже составляющие предмет гнусной торговли, малолетние преступники, воришки и пьяницы; наконец, несчастные уроды – горбатые, рахитические, идиоты, эпилептики, разбитые и исковерканные с колыбели наследственными болезнями. И тогда в уме Ильи Платоновича вдруг явственно прозвучало величественное изречение Сакья Муни, воплотившее в себе человеческую мудрость всех веков и народов: «Кто осушил слезы на лице ребенка и вызвал улыбку на его уста, тот в сердце милостивого Будды достойнее человека, построившего самый величественный храм».

Илья Платонович уже второй час сидит, не отходя от стола, и из-под его пера с привычной быстротой бегут четкие строки. Он еще и сам не знает, чем окончить эту статью, озаглавленную «Улыбка ребенка», но он чувствует, как сладко и жутко шевелятся у него корни волос на голове и как по его спине пробегает давно позабытый озноб вдохновения. И все время стоит пред его глазами уродливая голова, озаренная неожиданно радостной улыбкой.

Поход

Пехотный Инсарский полк выступает в ночной поход после дневки в большой деревне Погребищах. В темноте ненастного осеннего вечера идет странная, кипучая и осторожная сутолока. Слышно, как вдоль всей широкой и грязной деревенской улицы сотни ног тяжело, торопливо, вразброд, шлепают по лужам, раздаются сердитые, но сдержанные окрики, лязгает и звенит железо о железо. Кое-где мелькают фонари; и желтые, расплывающиеся в тумане пятна точно сами собой держатся высоко в воздухе, раскачиваясь и вздрагивая.

Солдаты собираются быстро и с охотой. Утомленные длинными переходами, оборвавшиеся, исхудалые, они рады тому, что завтра с последним корпусным маневром кончится давно надоевший лагерный сбор и полк повезут по железной дороге на зимние квартиры. Хотя днем никто не ложился, но все чувствуют себя бодро. Той озлобленной, вычурно-скверной ругани, которую только и можно услышать между матросами, солдатами и арестантами, сегодня совсем не слышно.

Подпоручик Борис Владимирович Яхонтов, младший офицер седьмой роты, в первый раз участвует на больших маневрах, и они еще не утратили для него своеобразной прелести кочевой жизни. Все ему продолжает нравиться: ежедневная перемена местности, деревень, лиц и оттенков в наречиях; девки в опрятных малорусских хатах, наполненных душистым запахом чабреца и полыни, стоящих пучками за иконами; ночлеги на голой земле, под низкой, в форме карточного домика, палаткой, сквозь полотно которой нежно и неясно серебрятся звезды; здоровый аппетит на привалах под затяжным дождем, освежающим тело и заставляющим щеки приятно и сильно гореть... Предстоящий сегодня ночной переход заранее возбуждает Яхонтова своей необычностью. Идти бог знает куда, по незнакомым местам, глухой, дождливой ночью, ничего не видя ни впереди, ни рядом; идти таким образом не одному, а вместе с тысячью других людей, представляется ему чем-то серьезным, немного таинственным, даже жутким и в то же время привлекательным.

Вечером он провозился над отправкой своих вещей, опоздал в строй и теперь торопится поспеть к роте раньше, чем его отсутствие заметит ротный командир. Но найти свою роту ночью гораздо трудно, чем это казалось днем, во время пробного сбора. На пути то и дело попадаются какие-то заборы и канавы, которых днем не было; а ночь так темна, что невольно хочется закрыть глаза и идти ощупью, протянув вперед руки, как ходят слепые.

Седьмая рота раньше других подтянулась к сборному пункту. Последние, запоздавшие люди, подоткнув полы шинелей под пояса, сбегаются к строю и протискиваются в свои ряды, задевая товарищей ранцами и гремя медными баклагами о ружейные стволы. Голоса звучат глухо, безжизненно и однообразно, точно они выцвели, потеряли силу в этом осеннем дожде.

– Куда прешь? Нешто не видишь, что в чужой взвод втесался? Экой какой ты, братец, право, косопузый!.. Да ну, ворочайся, что ли, орясина. О, щоб тобі лысого батька, трясца твоей матери!..

– И чего ты крутишься, Сероштан? – укоризненно тонким голосом замечает унтер-офицер Соловьев неуклюжему солдатику, который никак не попадет в свое место. – Чего ты все крутишься? Вертит тебя, словно навоз в проруби, а чего – неизвестно. Да обуи глаза-то, че-ерт!

Некоторые солдаты движениями плеч и локтей подкидывают на себе и поправляют удобнее ранцы, уминают складки шинелей и ту же подпоясывают ремни, помогая друг другу.

– А ну-ка, земляк, стяни мне сзади шинель! Потуже, потуже, не бойся, не лопну. Да ты коленкой-то, коленкой в спину упрись. О-о-о, так, так! Ну, вот теперь ладно. Спасибо вам, землячок!

Старый солдат, «дядька» Веденяпин, запевала и общий увеселитель, балагурит вполголоса.

– Ну, ребятишки, завтра сабáш маневрам. По-о-ехала седьмая рота по чугунке. Уу-у-ух! – протягивает он, подражая паровозу. – А какая у меня, братцы, в городе баба осталась, – сахар! Сейчас она мне это пирогов напекет, за водочкой сбегает, самоварчик взбодрит. «Пожалуйте, мол, батюшка, Фрол Иваныч, господин Сквородин, по прозванью Веденяпин... откушайте, сделайте милость!..»

– А казаль хлопци, що завтра горилку будут давать, – неожиданно произносит хриплым голосом ленивый и тупой рядовой Легкокоонец.

– Горилку? – язвительно подхватывает Веденяпин. – Это, братец, у нас в Туле называется: захотела кобыла уксусу...

Немного в стороне от роты, на пригорочке стоит ротный командир, штабс-капитан Скибин. Около него горнист держит на высокой палке фонарь, который бросает на землю неровное, мутное, движущееся пятно. Василий Васильевич Скибин – мужчина высокий, костлявый, сутуловатый, длиннорукий и весь какой-то неловкий. От его наружности, от нерешительного, близорукого взгляда, от беглой улыбки, даже от шаткой, приседающей походки веет чем-то слабым, удрученным, недоброжелательным и жалким. В нем есть что-то бабье, старушечье. Говорит он тихо, мягким и сирым, точно усталым голосом, но почти всегда вещи неприятные и злые. Все му полку известно, что его жена худая, гибкая дама, похожая на ящерицу, – вот уже четыре года как влюблена в поручика Вержбицкого, влюблена открыто, ревниво и бестолково. Вероятно, благодаря этому обстоятельству Василий Васильевич с особенной нелюбовью относится к молодым офицерам.

Яхонтов подошел к фонарю и, остановившись в двух шагах от Скибина, приложил руку к фуражке. Ротный командир заметил его и, глядя ему в кокарду, сказал своим вялым, утомленным голосом:

– Если вам угодно опаздывать, подпоручик, переводитесь в другую роту. Здесь у меня не танцевальный вечер, а служба-с. Иначе я подам командиру полка рапорт, чтобы вас из моей роты убрали. Да-с! Мне эти мазуристы и дамские хвосты не нужны.

Он помолчал немного, затем повернул к двум другим офицерам свое унылое, худое лицо с дряблой кожей и толстыми усами и продолжал только что прерванную речь:

– Господ офицеров прошу на походе мест своих не оставлять. Поручика Гумковского прошу... Где вы, поручик, я вас не вижу?.. Ага!.. Так вы, поручик, пожалуйста, обращайте внимание на фонарь в хвосте шестой роты и держите от него дистанцию. Да наблюдайте, господа, за тем, чтобы солдаты не спали на ходу. А то, знаете, задремлет, подлец, и полетит вместе с ружьем. Впрочем, я сам... Грегоращ! – кидает он куда-то в темноту.

Это восклицание услужливо подхватывается в ближних рядах и быстро перекачивается из взвода во взвод.

– Фельдфебеля к ротному! Фельдфебеля к командиру! Тарас Гаврилыч, пожалуйста к ротному!..

Фельдфебель Грегоращ, преувеличенно спеша и разбрасывая далеко вокруг себя грязь, подбегает на согнутых ногах, точно подплывает к фонарю.

– Я, ваше благородие!

– Чтобы люди на ходу не спали! От строя чтобы никто не отлучался. Скажешь унтер-офицерам, чтобы смотрели. Слышишь?

– Слушаю, ваше благородие! Так что я уж объяснял им...

– Молчи! Затем прошу вас, господа, наблюдать, чтобы люди не курили, не зажигали спичек, не разговаривали и вообще не шумели... А то нас может заметить неприятель, – прибавляет Скибин с едва заметной насмешкой, Грегоращ, ты у меня за это отвечаешь. Слышишь?

– Слушаю, ваше благородие! Так что я...

– Молчи! Главное, господа, чтобы люди не спали. Выколют, каналы, друг другу глаза, а ты потом за них отдувайся. Подпрапорщик Москвин, вы будете замыкать роту. Смотрите, чтобы не было отсталых. Да, вот еще что. Сзади роты пойдет вот этот болван (Скибин показывает через плечо большим пальцем на горниста), так, пожалуйста, поглядывайте, чтобы он нес фонарь светом назад, к восьмой роте. Это тоже... от неприятеля. Затем-с... Впрочем, кажется, все. Прошу вас, господа офицеры, по местам!

Офицеры расходятся. Скибину подводят его лошадь, старую, гнедую, одноглазую кобылу, купленную нарочно для маневров из кавалерийского брака. Зовут ее Настасьей. На ходу она держит шею гусаком, высоко подымает разбитые шпатором ноги и так задирает назад голову, точно что-то разглядывает на небе (таких лошадей зовут в кавалерии звездочетами). Скибин долго прыгает вокруг нее на одной ноге, осыпая руганью и лошадь и горниста, и, наконец, грузно вваливается в седло.

Рота готова к выступлению. Но проходит десять, двадцать минут, полчаса, а стоящая впереди шестая рота не трогается с места. Это беспричинное, вынужденное бездействие в темноте, под дождем, начинает тяготить и беспокоить людей. Они нетерпеливо переминаются с ноги на

ногу, вздыхают и молчат.

– Черт их знает чего они там застряли?! – говорит вслух, но точно сам с собою Скибин, проезжая медленно вдоль роты и поталкивая каблуками упирающуюся лошадь. – Вечное безобразие!

Стоящий неподалеку фельдфебель вежливо откашливается и тоже, как будто бы размышляя вслух, говорит:

– Должно быть, мы первую бригаду вперед пропускаем. А то чего же стоять!..

– Первую бригаду! – сердито возражает Скибин, останавливая лошадь. Так на то есть расписание, кому когда выступать, чтобы потом не выходило ерунды. Вообще постоянно эти «моменты»⁵ что-нибудь напутают.

В его голосе Яхонтову слышится всегдашняя зависть пехотного строевика к штабным офицерам, а также и доля уверенности в том, что если бы ему, Скибину, было поручено это дело, то все устроилось бы очень скоро, просто и хорошо.

Проходит еще несколько томительных минут. Шестая рота вдруг зашевелилась, зашлепала ногами и как будто бы затопталась, не сходя с места. Только по движениям фонаря, заколебавшегося вверх и вниз, можно было судить, что она не стоит на месте, а тронулась вперед. Скибин поворачивается к строю и произносит вполголоса, небрежно сливая слова:

– Ружья вольно, шагом-марш!

Через четверть часа весь полк медленно вытягивается вдоль широкой почтовой дороги. Ни людей, ни лошадей не видно в ночном мраке, только еле-еле мерцает впереди длинная цепь фонарей, которыми каждая рота показывает дорогу следующей за ней части.

Неудобства ночного похода скоро дают себя знать. Через каждые двести триста шагов происходят задержки. Передние ряды то и дело останавливаются, а задние не видят этого и напирают на них. Потом вдруг между взводами образуются слишком большие расстояния. Тогда заднему взводу приходится догонять передний, и люди бегут тяжело, с усилиями, громыхая на бегу баклагами, лопатами и патронными сумками, бегут, ничего не различая в темноте, наугад, до тех пор, пока не навалятся на передних, Отделения давно уже перемешались, но никому не приходит в голову восстановить порядок. Все сильней и сильней сказываются утомление, тревога, скука и насильственная бессонница. Люди молчат, но в этом молчанье чувствуется нервная напряженность. Слышно только, как множество сапог месят грязь, влезая в нее и вылезая с жирным чавканьем, сопением и чмоканьем. И Яхонтову думается, что, должно быть, точно таким же образом пятьсот, и тысячу, и пять тысяч лет тому назад водили по ночам своих пленников суровые и равнодушные победители. Вероятно, так же угрюмо и тревожно молчали усталые люди, так же беспорядочно и озлобленно надвигались они друг на друга при остановках, так же чмокала под их ногами размякшая земля, и так же падал на них частый осенний дождь.

– Эх, братики, покурить бы теперь! – вырывается со вздохом у «дядьки» Веденяпина.

– Я тебе покурю, каналья! – неожиданно отвечает откуда-то из темноты суровый бас фельдфебеля. – Ты у меня покуришь, прохвост!

Ровная до сих пор дорога начинает опускаться. Яхонтов замечает это по тому, что его ноги теряют устойчивость и скользят вперед, так что поневоле приходится выворачивать ступню боком. Потянуло острой и холодной сыростью, точно из глубокого подвала, и тотчас же под ногами заходил и задрожал деревянный мост. Где-то внизу, в черной воде без берегов, отразился на мгновение длинным волнистым хвостом свет фонаря.

– Подпоручик Яхонтов, это вы? – слышит Яхонтов над собой голос ротного командира. – Не хотите ли сесть на лошадь, а я покамест пешком пройду. Что-то ноги затекли.

Яхонтову кажется подозрительной эта внезапная любезность, но он охотно соглашается. Когда он опускается в седло, то внутри лошади что-то глубоко и глухо крикает. Потом Настасья медленно вздыхает, широко разводя боками, точно и ей сообщилось тоскливое беспокойство, нависшее над людьми. Яхонтов трогает ее каблуками, и она начинает осторожно перебирать ногами, вытаскивая их из вязкой глины с такими звуками, какие бывают, когда откупоривают бутылки.

Вдалеке, на самом краю темного горизонта, вдруг показывается маленький огонек, кото-

⁵ Офицеры главного штаба — Прим. А. И. Куприна

рый все разрастается по мере того, как рота подвигается вперед. Наконец можно ясно разобрать, что это – большой двухэтажный дом. Весь низ его освещен изнутри очень ясно, по-праздничному, а в верхнем этаже светятся – но гораздо бледнее – только два крайних левых окна. Яхонтов глядит на эти светлые, веселые пятна и думает о тепле, свете и довольстве, которое испытывают живущие в этом доме люди. Воображается ему большая и дружная помещичья семья, сытая, веселая жизнь, танцы, смех, общество нарядных и красивых женщин. И его собственная жизнь кажется ему в эти минуты такой же тяжелой, скучной и однообразной, как эта дождливая ночь, как эта бесконечная незнакомая дорога.

Впереди опять останавливаются. Слышно, что в рядах шестой роты происходит какая-то странная возня. Несколько голосов говорят быстро, громко и разом. Слов нельзя разобрать, но заметно, что кто-то бранится и кто-то оправдывается. Яхонтов продвигается вперед и по отблеску фонаря, скользящему по офицерским погонам, узнает Тумковского.

– Что там такое, Иван Мартиньянович? – спрашивает он, наклоняясь с лошади.

– А, дуся моя, это вы? – говорит сладко, как всегда, Тумковский, и по звуку его голоса видно, что он поднял голову вверх. – Не знаю, золото мое! Какой-то олух на штык напоролся. Да вот его тащат в линейку.

Фонарь на секунду освещает двух солдат, ведущих под мышки третьего, который отрывисто, точно с натугой, стонет и держится руками за лицо.

– В глаз, что ли? – вяло спрашивает Скибин. – Чего же ты молчишь, дурак?

Трое солдат останавливаются.

– Слышишь, тебя спрашивают, в глаз, что ли? – громко, как к глухому, обращается к раненому один из провожатых.

– Так что... не могу знать, – тусклым, надсаженным голосом с запинками отвечает тот и отнимает ладони от лица. – Дуже больно, ваше благородие, не можно вытерпеть...

– Чего же ты лез на штык, идиот? – так же вяло замечает Скибин. – Сам и виноват, дурень. Ну, проходи, проходи!

И он прибавляет поучительным тоном, обращаясь к Тумковскому:

– Вот теперь из-за такого ротозея влетит ротному командиру. А чем, спрашивается, ротный виноват?... Порядки!..

Яхонтов низко нагибается к раненому и вглядывается в его лицо. В темноте нельзя даже разобрать отдельных черт, но молодому офицеру кажется, что у солдата вместо правого глаза – огромное, с кулак величиною, черное отверстие. И, вместе с чувством брезгливой жалости, Яхонтов ощущает у себя в пальцах ног и в низу живота какую-то противную, щекочущую и раздражающую боль.

Солдата уводят, и опять возобновляется тягостное, молчаливое движение. Из всей роты энергию сохранил только один фельдфебель. Время от времени Яхонтов слышит, как он пробирается в середине роты задремавшего солдата:

– Заснул? Деревню бачил во сне? Может, подушку тебе принести?

И затем приговаривает шипящим голосом сквозь стиснутые зубы:

– А вот не спи, не спи, не спи, не спи!

Между тем Яхонтов уже давно начинает испытывать странное и чрезвычайно неприятное ощущение. Ему все кажется, что лошадь не идет под ним, а только качает взад и вперед спиной и топчется ногами на одном и том же месте. Напрасно он старается уверить себя в ложности этого удивительного ощущения, наклоняясь вниз и напрягая зрение, чтобы увидеть дорогу, лошадь продолжает раскачиваться и вытаскивать ноги из грязи, не сходя с места и не делая ни одного шага вперед.

– Черт! Да мы идем или стоим? – воскликнул Яхонтов и вдруг сам похолодел от своего испуганного голоса.

Из рядов кто-то ответил ему коротко и угрюмо:

– Ползем!

В этом грубом, совсем несолдатском ответе Яхонтову послышалось что-то новое и злое, какая-то покорная и безнадежная усталость, какой-то общий упадок духа, который точно окончательно уничтожил всякую разницу между солдатом и офицером. И Яхонтов, вместо того чтобы сделать выговор, только растерянно обернулся в ту сторону, откуда послышался этот ответ.

А лошадь все так же бесцельно качала спиной и тыкала в одно место ногами. Яхонтову стало жутко. Это ощущение так походило на один из нелепых, изнуряющих лихорадочных снов, в которых торопишься куда-нибудь и с отчаянием чувствуешь, что не можешь шевельнуть ни рукой, ни ногой. И едва только Яхонтову пришло в голову это сравнение, как все вдруг стало похожим на сон. Весь этот ночной переход, и безмолвно покорные солдаты, и уходящая далеко-далеко цепь фонарей, и давешний раненый солдат, и вялая озлобленность Скибина, и тоскливая дорога с ее тьмой, сыростью и холодом, – все это представилось ему каким-то грозным, давно забытым бредом, который повторяется теперь с прежней силой и прежним ужасом.

– Ах, ведь все это было, было... – прошептал Яхонтов. – Господи, что же это такое!

Он слез с лошади, отдал ее горнисту и, перегоняя солдат, прошел на правый фланг. Там, в промежутке между ротами, где было светлее от фонаря и просторнее, шли рядом, разговаривая вполголоса, Скибин и Тумковский.

– Я отдал лошадь горнисту, – сказал Яхонтов.

– Отлично, – бросил ему рассеянно Скибин. – А я вам скажу, поручик, повернулся он торопливо к Тумковскому, – что эти маневры – один только разврат и антимония. Может быть, для генерального штаба оно и нужно, а солдаты только распускаются и теряют выправку. Да и для офицеров лишнее. Какой, к черту, это неприятель, когда вы отлично видите, что это поручик Сидоров, у которого вы вчера заняли три рубля? Вы командуете: «Прямо, по колонне пальба взводом», а вам решительно наплевать, как солдаты целятся, и укрыты ли они от огня, и все такое...

– Совершенно верно, дорогой Василий Васильевич, – согласился Тумковский. – А я вот читал где-то или, кажется, слышал, что один генерал предложил раздавать во время маневров в числе холостых патронов какой-то там процент боевых. Что-то такое, один на десять тысяч, не помню хорошенько...

– Ах, глупости! – досадливо протянул Скибин. – Никакие тут патроны не нужны. Какие тут, к черту, патроны, когда теперь солдаты вроде институток стали: пальцем его тронуть не смей. А по-моему, бить их, подлецов, нужно, вот что нужно! Прежде у нас и Суворовы были и Севастополь, а почему? Потому что десятерых засекали, а из одиннадцатого делали солдата. Прежде, батенька, солдат пять лет служил, а все еще молодым солдатом считался. Вот это была служба-с!.. А теперь... Эх!

– Теперь прямо – пансион благородных девиц, – услужливо подхватил Тумковский, – гуманисты какие-то пошли, либералы. Попробовали бы эти либералы с нашими скотами повозиться, небось у самих руки бы опухли от битья. А то, извольте ли видеть: ударишь какую-нибудь сволочь, да и ударишь-то не больно, почти в шутку, а он сейчас: «Ох!» – «Что такое?» «Ничего не слышу на правое ухо...» И сейчас тебя под суд. За истязание нижнего чина, имевшее последствием, и так далее. А он, мерзавец, лучше нашего слышит.

– Потому что дураки! – возразил презрительно Скибин. – Кто же так делает, при свидетелях? Нет, ты его сначала позови в цейхгауз или к себе на квартиру, да там и поговори как следует. Поверьте, потом сам всю жизнь благодарить будет, что под суд не отдали. Суд-то его куда законопатит, а ты начистил ему морду, и все тут. А что ему морда?..

Они еще долго тянут этот разговор, точно стараясь не уступить друг другу в равнодушной жестокости к солдату, в презрительном отношении к своему делу, в пренебрежительной насмешке над высшим начальством. В этих пошлых, холодных и злых фразах Яхонтову опять слышится что-то похожее на тот страшный бред, который он испытал несколько минут тому назад, и на душе у него делается пусто и противно до тошноты. Тем же тусклым, утомительным, давно-давно знакомым бредом представляется ему и вся его военная карьера, и безрадостное детство, прошедшее в больших казенных домах, и ждущая впереди серенькая жизнь, и его собственные, теперешние мысли – такие бледные, бессильные и тоскливые.

А рота все идет и идет по грязной почтовой дороге, и кажется, что никогда не будет конца этому движению, что какая-то чудовищная сила овладела тысячами взрослых, здоровых людей, оторвала их от родных углов, от привычного, любимого дела и гонит – бог весть куда и зачем – среди этой ненастной ночи...

Недалеко до рассвета. Понемногу вырисовываются из темноты серые, измятые, глянцевиные от тумана и от бессонницы солдатские лица. Все они похожи одно на другое и выглядят еще суровее и покорнее в слабом и неверном утреннем полусвете.

1901

В цирке

I

Доктор Луховицын, считавшийся постоянным врачом при цирке, велел Арбузову раздеться. Несмотря на свой горб, а может быть, именно вследствие этого недостатка, доктор питал к цирковым зрелищам острую и несколько смешную для человека его возраста любовь. Правда, к его медицинской помощи прибегали в цирке очень редко, потому что в этом мире лечат ушибы, выводят из обморочного состояния и вправляют вывихи своими собственными средствами, передающимися неизменно из поколения в поколение, вероятно, со времен Олимпийских игр. Это, однако, не мешало ему не пропускать ни одного вечернего представления, знать близко всех выдающихся наездников, акробатов и жонглеров и щеголять в разговорах словечками, выхваченными из лексикона цирковой арены и конюшни.

Но из всех людей, причастных цирку, атлеты и профессиональные борцы вызывали у доктора Луховицына особенное восхищение, достигавшее размеров настоящей страсти. Поэтому, когда Арбузов, освободившись от крахмаленой сорочки и сняв вязаную фуфайку, которую обязательно носят все цирковые, остался голым до пояса, маленький доктор от удовольствия даже потер ладонь о ладонь, обходя атлета со всех сторон и любуясь его огромным, выхоленным, блестящим, бледно-розовым телом с резко выступающими буграми твердых, как дерево, мускулов.

– И черт же вас возьми, какая силища! – говорил он, тиская изо всех сил своими тонкими, цепкими пальцами попеременно то одно, то другое плечо Арбузова. – Это уж что-то даже не человеческое, а лошадиное, ей-богу. На вашем теле хоть сейчас лекцию по анатомии читай – и атласа никакого не нужно. Ну-ка, дружок, согните-ка руку в локте.

Атлет вздохнул и, сонно покосившись на свою левую руку, согнул ее, отчего выше сгиба под тонкой кожей, надувая и растягивая ее, вырос и прокатился к плечу большой и упругий шар, величиной с детскую голову. В то же время все обнаженное тело Арбузова от прикосновения холодных пальцев доктора вдруг покрылось мелкими и жесткими пупырышками.

– Да, батенька, уж подлинно наделил вас господь, – продолжал восторгаться доктор. – Видите эти вот шары? Они у нас в анатомии называются бицепсами, то есть двухглавыми. А это – так называемые супинаторы и пронаторы. Поверните кулак, как будто вы отворяете ключом замок. Так, так, прекрасно. Видите, как они ходят? А это – слышите, я нащупываю на плече? Это – дельтовидные мышцы. Они у вас точно полковничьи эполеты. Ах, и сильный же вы человечина! Что, если вы кого-нибудь этак... нечаянно? А? Или, если с вами этак... в темном месте встретиться? А? Я думаю, не приведи бог! Хе-хе-хе! Ну-с, итак, значит, мы жалуемся на плохой сон и на легкую общую слабость?

Атлет все время улыбался застенчиво и снисходительно. Хотя он уже давно привык показываться полуобнаженным перед одетыми людьми, но в присутствии тщедушного доктора ему было неловко, почти стыдно, за свое большое, мускулистое, сильное тело.

– Боюсь, доктор, не простудился ли, – сказал он тонким, слабым и немного сиплым голосом, совсем не идущим к его массивной фигуре. – Главное дело – уборные у нас безобразные, везде дует. Во время номера, сами знаете, вспотеешь, а передеваться приходится на сквозняке. Так и прохватывает.

– Голова не болит? Не кашляете ли?

– Нет, кашлять не кашляю, а голова, – Арбузов потер ладонью низко остриженный затылок, – голова правда что-то не в порядке. Не болит, а так... будто тяжесть какая-то... И вот еще сплю плохо. Особенно сначала. Знаете, засыпаю-засыпаю, и вдруг меня точно что-то подбросит на кровати; точно, понимаете, я чего-то испугался. Даже сердце заколотится от испуга. И этак раза три-четыре: все просыпаюсь. А утром голова и вообще... кисло как-то себя чувствую.

– Кровь носом не идет ли?

– Бывает иногда, доктор.

– Мн-да-с. Так-с... – значительно протянул Луховицын и, подняв брови, тотчас же опустил их. – Должно быть, много упражняйтесь последнее время? Устаете?

– Много, доктор. Ведь масленица теперь, так каждый день приходится с тяжестью работать. А иногда, с утренними представлениями, и по два раза в день. Да еще через день, кроме обыкновенного номера, приходится бороться... Конечно, устанешь немного...

– Так, так, так, – втягивая в себя воздух и трясая головой, поддакивал доктор. – А вот мы вас сейчас послушаем. Раздвиньте руки в стороны. Прекрасно. Дышите теперь. Спокойно, спокойно. Дышите... глубже... ровней...

Маленький доктор, едва доставая до груди Арбузова, приложил к ней стетоскоп и стал выслушивать. Испуганно глядя доктору в затылок, Арбузов шумно вдыхал воздух и выпускал его изо рта, сделав губы трубочкой, чтобы не дышать на ровный глянцеви́тый пробор докторских волос.

Выслушав и выстукав пациента, доктор присел на угол письменного стола, положив ногу на ногу и обхватив руками острые колени. Его птичье, выдавшееся вперед лицо, широкое в скулах и острое к подбородку, стало серьезным, почти строгим. Подумав с минуту, он заговорил, глядя мимо плеча Арбузова на шкаф с книгами:

– Опасного, дружок, я у вас ничего не нахожу, хотя эти перебои сердца и кровотечение из носа можно, пожалуй, считать деликатными предостережениями с того света. Видите ли, у вас есть некоторая склонность к гипертрофии сердца. Гипертрофия сердца – это, как бы вам сказать, это такая болезнь, которой подвержены все люди, занимающиеся усиленной мускульной работой: кузнецы, матросы, гимнасты и так далее. Стенки сердца у них от постоянного и чрезмерного напряжения необыкновенно расширяются, и получается то, что мы в медицине называем «*cor bovinum*», то есть бычачье сердце. Такое сердце в один прекрасный день отказывается работать, с ним делается паралич, и тогда – баста, представление окончено. Вы не беспокойтесь, вам до этого неприятного момента очень далеко, но на всякий случай посоветую: не пить кофе, крепкого чаю, спиртных напитков и прочих возбуждающих вещей. Понимаете? – спросил Луховицын, слегка барабаня пальцами по столу и исподлобья взглядывая на Арбузова.

– Понимаю, доктор.

– И в остальном рекомендуется такое же воздержание. Вы, конечно, понимаете, про что я говорю?

Атлет, который в это время застегивал запонки у рубашки, покраснел и смущенно улыбнулся.

– Понимаю... но ведь вы знаете, доктор, что в нашей профессии и без того приходится быть умеренным. Да, по правде, и думать-то об этом некогда.

– И прекрасно, дружок. Затем отдохните денек-другой, а то и больше, если можете. Вы сегодня, кажется, с Ребером боретесь? Постарайтесь отложить борьбу на другой раз. Нельзя? Ну, скажите, что нездоровится, и все тут. А я вам прямо запрещаю, слышите? Покажите-ка язык. Ну вот, и язык скверный. Ведь слабо себя чувствуете, дружок? Э! Да говорите прямо. Я вас все равно никому не выдам, так какого же черта вы мнетесь! Попы и доктора за то и деньги берут, чтобы хранить чужие секреты. Ведь совсем плохо? Да?

Арбузов признался, что и в самом деле чувствует себя нехорошо. Временами находит слабость и точно лень какая-то, аппетита нет, по вечерам знобит. Вот если бы доктор прописал каких-нибудь капель?

– Нет, дружок, как хотите, а бороться вам нельзя, – решительно сказал доктор, соскакивая со стола. – Я в этом деле, как вам известно, не новичок, и всем борцам, которых мне приходилось знать, я всегда говорил одно: перед состязанием соблюдайте четыре правила: первое – накануне нужно хорошо выспаться, второе – днем вкусно и питательно пообедать, но при этом – третье – выступать на борьбу с пустым желудком, и, наконец, четвертое – это уже психология – ни на минуту не терять уверенности в победе. Спрашивается, как же вы будете состязаться, если вы с утра обретаетесь в такой мехлюзии? Вы извините меня за нескромный вопрос... я ведь человек свой... у вас борьба не того?.. Не фиктивная? То есть заранее не условлено, кто кого и в какое состязание положит?

– О нет, доктор, что вы... Мы с Ребером уже давно гонялись по всей Европе друг за другом. Даже и залог настоящий, а не для приманки. И он и я внесли по сто рублей в третьи руки.

– Все-таки я не вижу резона, почему нельзя отложить состязание на будущее время.

– Наоборот, доктор, очень важные резоны. Да вы посудите сами. У нас борьба состоит из трех состязаний. Положим, первое взял Ребер, второе – я, третье, значит, остается решающим. Но уж мы настолько хорошо узнали друг друга, что можно безошибочно сказать, за кем будет третья борьба, и тогда – если я не уверен в своих силах – что мне мешает заболеть или захромать и так далее и взять свои деньги обратно? Тогда выходит, для чего же Ребер боролся первые два раза? Для своего удовольствия? Вот на этот случай, доктор, мы и заключаем между собой условие, по которому тот, кто в день решительной борьбы окажется больным, считается все равно проигравшим, и деньги его пропадают.

– Да-с, это дело скверное, – сказал доктор и опять значительно поднял и опустил брови. – Ну, что же, дружок, черт с ними, с этими ста рублями?

– С двумястами, доктор, – поправил Арбузов, – по контракту с дирекцией я плачу неустойку в сто рублей, если откажусь в самый день представления, хотя бы по болезни, от работы.

– Ну, черт... ну, двести! – рассердился доктор. – Я бы на вашем месте все равно отказался... Черт с ними, пускай пропадают, свое здоровье дороже. Да наконец, дружок, вы и так рискуете потерять ваш залог, если будете больной бороться с таким опасным противником, как этот американец.

Арбузов самоуверенно мотнул головой, и его крупные губы сложились в презрительную усмешку.

– Э, пустяки, – уронил он пренебрежительно, – в Ребере всего шесть пудов весу, и он едва достает мне под подбородок. Увидите, что я его через три минуты положу на обе лопатки. Я бы его бросил и во второй борьбе, если бы он не прижал меня к барьеру. Собственно говоря, со стороны жюри было свинством засчитать такую подлую борьбу. Даже публика и та протестовала.

Доктор улыбнулся чуть заметной лукавой улыбкой. Постоянно сталкиваясь с цирковой жизнью, он уже давно изучил эту непоколебимую и хвастливую самоуверенность всех профессиональных борцов, атлетов и боксеров и их склонность сваливать свое поражение на какие-нибудь случайные причины. Отпуская Арбузова, он прописал ему бром, который велел принять за час до состязания, и, дружески похлопав атлета по широкой спине, пожелал ему победы.

II

Арбузов вышел на улицу. Был последний день масленой недели, которая в этом году пришла поздно. Холода еще не сдали, но в воздухе уже слышался неопределенный, тонкий, радостно щекочущий грудь запах весны. По наезженному грязному снегу бесшумно неслись в противоположных направлениях две вереницы саней и карет, и окрики кучеров раздавались особенно ясной и мягкой звучностью. На перекрестках продавали моченые яблоки в белых новых ушатах, халву, похожую цветом на уличный снег, и воздушные шары. Эти шары были видны издалека. Разноцветными блестящими гроздьями они подымались и плавали над головами прохожих, запрудивших черным кипящим потоком тротуары, и в их движениях – то стремительных, то ленивых – было что-то весеннее и детски радостное.

У доктора Арбузов чувствовал себя почти здоровым, но на свежем воздухе им опять овладели томительные ощущения болезни. Голова казалась большой, отяжелевшей и точно пустой, и каждый шаг отзывался в ней неприятным гулом. В пересохшем рту опять слышался вкус гари, в глазах была тупая боль, как будто кто-то надавливал на них снаружи пальцами, а когда Арбузов переводил глаза с предмета на предмет, то вместе с этим по снегу, по домам и по небу двигались два большие желтые пятна.

У перекрестка на круглом столбе Арбузову кинулась в глаза его собственная фамилия, напечатанная крупными буквами. Машинально он подошел к столбу. Среди пестрых афиш, объявлявших о праздничных развлечениях, под обычной красной цирковой афишей был приклеен отдельный зеленый аншлаг, и Арбузов равнодушно, точно во сне, прочитал его с начала до конца:

ЦИРК БР. ДЮВЕРНУА.

СЕГОДНЯ СОСТОИТСЯ 3-я РЕШИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА ПО РИМ-

СКО-ФРАНЦУЗСКИМ ПРАВИЛАМ
МЕЖДУ ИЗВЕСТНЫМ АМЕРИКАНСКИМ ЧЕМПИОНОМ
Г. ДЖОНОМ РЕБЕРОМ
И ЗНАМЕНИТЫМ РУССКИМ БОРЦОМ И ГЕРКУЛЕСОМ
Г. АРБУЗОВЫМ
НА ПРИЗ В 100 РУБ.
ПОДРОБНОСТИ В АФИШАХ.

У столба остановились двое мастеровых, судя по запачканным копотью лицам, слесарей, и один из них стал читать объявление о борьбе вслух, коверкая слова. Арбузов услышал свою фамилию, и она прозвучала для него бледным, оборванным, чуждым, потерявшим всякий смысл звуком, как это бывает иногда, если долго повторяешь подряд одно и то же слово. Мастеровые узнали атлета. Один из них толкнул товарища локтем и почтительно посторонился. Арбузов сердито отвернулся и, засунув руки в карманы пальто, пошел дальше.

В цирке уже отошло дневное представление. Так как свет проникал на арену только через стеклянное, заваленное снегом окно в куполе, то в полумраке цирк казался огромным, пустым и холодным сараем.

Войдя с улицы, Арбузов с трудом различал стулья первого ряда, бархат на барьерах и на канатах, отделяющих проходы, позолоту на боках лож и белые столбы с прибитыми к ним щитами, изображающими лошадиные морды, клоунские маски и какие-то вензеля. Амфитеатр и галерея тонули в темноте. Вверху, под куполом, подтянутые на блоках, холодно поблескивали сталью и никелем гимнастические машины: лестницы, кольца, турники и трапеции.

На арене, припав к полу, барахтались два человека. Арбузов долго всматривался в них, щуря глаза, пока не узнал своего противника, американского борца, который, как и всегда по утрам, тренировался в борьбе с одним из своих помощников, тоже американцем, Гарваном. На жаргоне профессиональных атлетов таких помощников называют «волками» или «собачками». Разъезжая по всем странам и городам вместе с знаменитым борцом, они помогают ему в ежедневной тренировке, заботятся об его гардеробе, если ему не сопутствует в поездке жена, растирают, после обычной утренней ванны и холодного душа, жесткими рукавицами его мускулы и вообще оказывают ему множество мелких услуг, относящихся непосредственно к его профессии. Так как в «волки» идут или молодые, неуверенные в себе атлеты, еще не овладевшие разными секретами и не выработавшие приемов, или старые, но посредственные борцы, то они редко одерживают победы в состязаниях на призы. Но перед матчем с серьезным борцом профессор непременно сначала выпустит на него своих «собачек», чтобы, следя за борьбой, уловить слабые стороны и привычные промахи своего будущего противника и оценить его преимущества, которых следует остерегаться. Ребер уже спускал на Арбузова одного из своих помощников – англичанина Симпсона, второстепенного борца, сырого и неповоротливого, но известного среди атлетов чудовищной силой грифа, то есть кистей и пальцев рук. Борьба велась без приза, по просьбе дирекции, и Арбузов два раза бросал англичанина, почти шутя, редкими и эффектными трюками, которые он не рискнул бы употребить в состязании с мало-мальски опасным борцом. Ребер уже тогда отметил про себя главные недостатки и преимущества Арбузова: тяжелый вес и большой рост при страшной мускульной силе рук и ног, смелость и решительность в приемах, а также пластическую красоту движений, всегда подкупающую симпатии публики, но в то же время сравнительно слабые кисти рук и шею, короткое дыхание и чрезмерную горячность. И он тогда же решил, что с таким противником надо держаться системы обороны, обессиливая и разгорячая его до тех пор, пока он не выдохнется; избегать охватов спереди и сзади, от которых трудно будет защищаться, и главное – суметь выдержать первые натиски, в которых этот русский дикарь проявляет действительно чудовищную силу и энергию. Такой системы Ребер и держался в первых двух состязаниях, из которых одно осталось за Арбузовым, а другое за ним.

Привыкнув к полусвету, Арбузов явственно различил обоих атлетов. Они были в серых фуфайках, оставлявших руки голыми, в широких кожаных поясах и в панталонах, прихваченных у щиколоток ремнями. Ребер находился в одном из самых трудных и важных для борьбы положений, которое называется «мостом». Лежа на земле лицом вверх и касаясь ее затылком с одной стороны, а пятками – с другой, круто выгнув спину и поддерживая равновесие руками, которые

глубоко ушли в тырсу⁶, он изображал таким образом из своего тела живую упругую арку, между тем как Гарван, навалившись сверху на выпяченный живот и грудь профессора, напрягал все силы, чтобы выпрямить эту выгнувшуюся массу мускулов, опрокинуть ее, прижать к земле.

Каждый раз, когда Гарван делал новый толчок, оба борца с напряжением кряхтели и с усилием, огромными вздохами, переводили дыхание. Большие, тяжелые, со страшными, выпученными мускулами голых рук и точно застывшие на полу арены в причудливых позах, они напоминали при неверном полусвете, разлитом в пустом цирке, двух чудовищных крабов, оплетших друг друга клешнями.

Так как между атлетами существует своеобразная этика, в силу которой считается предосудительным глядеть на упражнения своего противника, то Арбузов, огибая барьер и делая вид, что не замечает борцов, прошел к выходу, ведущему в уборные. В то время, когда он отодвигал массивную красную занавесь, отделяющую манеж от коридоров, кто-то отодвинул ее с другой стороны, и Арбузов увидел перед собой, под блестящим сдвинутым набок цилиндром, черные усы и смеющиеся черные глаза своего большого приятеля, акробата Антонио Батисто.

– Buon giorno, mon cher monsieur Arbousoffff!⁷ – воскликнул нараспев акробат, сверкая белыми, прекрасными зубами и широко разводя руки, точно желая обнять Арбузова. – Я только чичас окончил мой repetition⁸. Allons donc prendre guelgue chose. Пойдем что-нибудь себе немножко взять? Один рюмок коньяк? О-о, только не сломай мне руку. Пойдем на буфет.

Этого акробата любили в цирке все, начиная с директора и кончая конюхами. Артист он был исключительный и всесторонний: одинаково хорошо жонглировал, работал на трапеции и на турнике, подготовлял лошадей высшей школы, ставил пантомимы и, главное, был неистощим в изобретении новых «номеров», что особенно ценится в цирковом мире, где искусство, по самым своим свойствам, почти не двигается вперед, оставаясь и теперь чуть ли не в таком же виде, в каком оно было при римских цезарях.

Все в нем нравилось Арбузову: веселый характер, щедрость, утонченная деликатность, выдающаяся даже в среде цирковых артистов, которые вне манежа – допускающего, по традиции, некоторую жестокость в обращении – отличаются обыкновенно джентльменской вежливостью. Несмотря на свою молодость, он успел объехать все большие города Европы и во всех труппах считался наиболее желательным и популярным товарищем. Он владел одинаково плохо всеми европейскими языками и в разговоре постоянно перемешивал их, коверкая слова, может быть, несколько умышленно, потому что в каждом акробате всегда сидит немного клоуна.

– Не знаете ли, где директор? – спросил Арбузов.

– Il est a l'ecurie. Он ходил на конюшен, смотрел один большой лошадь. Mais allons donc. Пойдем немножка. Я очень имею рад вас видеть. Мой голубушка? – вдруг вопросительно сказал Антонио, смеясь сам над своим произношением и продевая руку под локоть Арбузова. – Карашо, будьте здоровы, самовар, извочик, – скороговоркой добавил он, видя, что атлет улыбнулся.

У буфета они выпили по рюмке коньяку и пожевали кусочки лимона, обмокнутого в сахар. Арбузов почувствовал, что после вина у него в животе стало сначала холодно, а потом тепло и приятно. Но тотчас же у него закружилась голова, и по всему телу разлилась какая-то сонная слабость.

– Oh, sans dout⁹, вы будете иметь une victoire, – одна победа, – говорил Антонио, быстро вертя между пальцев левой руки палку и блестя из-под черных усов белыми, ровными, крупными зубами. – Вы такой brave homme¹⁰, такой прекрасный и сильный борец. Я знал один замечательный борец – он назывался Карл Абс... да, Карл Абс. И он теперь уже ist gestorben... он есть умер. О, хоть он был немец, но он был великий профессор! И он однажды сказал: французский

⁶ Смесь песка и деревянных опилок, которой посыпается арена цирка. (Прим. А. И. Куприна.)

⁷ Добрый день, мой дорогой господин Арбузов! (итал., франц.)

⁸ репетицию — фр

⁹ О, без сомнения — фр.

¹⁰ смелый человек — фр.

борьба есть одна пустячок. И хороший борец, ein guter Kämpfer, должен иметь очень, очень мало: всего только сильный шея, как у один буйвол, весьма крепкий спина, как у носильщик, длинная рука с твердым мускул und ein gewaltiger Griff... Как это называется по-русски? (Антонио несколько раз сжал и разжал перед своим лицом пальцы правой руки.) О! Очень сильный пальцы. Et puis¹¹, тоже необходимо иметь устойчивый нога, как у один монумент, и, конечно, самый большой... как это?.. самый большой тяжесть в корпус. Если еще взять здоровый сердца, les roumons... как это по-русски?.. легкие, точно у лошадь, потом еще немножко кладнокровие и немножко смелость, и еще немножко savoir les regles de la lutte, знать все правила борьба, то консе консов вот и все пустячки, которые нужен для один хороший борец! Ха-ха-ха!

Засмеявшись своей шутке, Антонио нежно схватил Арбузова поверх пальто под мышками, точно хотел его пощекотать, и тотчас же лицо его сделалось серьезным. В этом красивом, загорелом и подвижном лице была одна удивительная особенность: переставая смеяться, оно принимало суровый и сумрачный, почти трагический характер, и эта смена выражений наступала так быстро и так неожиданно, что казалось, будто у Антонио два лица, – одно смеющееся, другое серьезное, – и что он непонятным образом заменяет одно другим, по своему желанию.

– Конечно, Ребер есть опасный соперник... У них в Америке борются comme les bouchers, как мясни?ки. Я видел борьба в Чикаго и в Нью-Йорке... Пфуй, какая гадость!

Со своими быстрыми итальянскими жестами, поясняющими речь, Антонио стал подробно и занимательно рассказывать об американских борцах. У них считаются дозволенными все те жестокие и опасные трюки, которые безусловно запрещено употреблять на европейских аренах. Там борцы давят друг друга за горло, зажимают противнику рот и нос, охватывая его голову страшным приемом, называемым железным ошейником – collier de fer, лишают его сознания искусным нажатием на сонные артерии. Там передаются от учителя к ученикам, составляя непроницаемую профессиональную тайну, ужасные секретные приемы, действие которых не всегда бывает ясно даже для врачей. Обладая знанием таких приемов, можно, например, легким и как будто нечаянным ударом по triceps'у¹² вызвать минутный паралич в руке у противника или не заметным ни для кого движением причинить ему такую нестерпимую боль, которая заставит его забыть о всякой осторожности. Тот же Ребер привлекался недавно к суду за то, что в Лодзи, во время состязания с известным польским атлетом Владиславским, он, захватив его руку через свое плечо приемом tour de bras, стал ее выгибать, несмотря на протесты публики и самого Владиславского, в сторону, противоположную естественному сгибу, и выгибал до тех пор, пока не разорвал ему сухожилий, связывающих плечо с предплечьем. У американцев нет никакого артистического самолюбия, и они борются, имея в виду только один денежный приз. Заветная цель американского атлета – скопить свои пятьдесят тысяч долларов, тотчас же после этого разжиреть, опуститься и открыть где-нибудь в Сан-Франциско кабачок, в котором потихоньку от полиции процветают травля крыс и самые жестокие виды американского бокса.

Все это, не исключая лодзинского скандала, было давно известно Арбузову, и его больше занимало не то, что рассказывал Антонио, а свои собственные, странные и болезненные ощущения, к которым он с удивлением прислушивался. Иногда ему казалось, что лицо Антонио придвигается совсем вплотную к его лицу, и каждое слово звучит так громко и резко, что даже отдается смутным гулом в его голове, но минуту спустя Антонио начинал отодвигаться, уходил все дальше и дальше, пока его лицо не становилось мутным и до смешного маленьким, и тогда его голос раздавался тихо и сдавленно, как будто бы он говорил с Арбузовым по телефону или через несколько комнат. И всего удивительнее было то, что перемена этих впечатлений зависела от самого Арбузова и происходила от того, поддавался ли он приятной, ленивой и дремотной истоме, овладевавшей им, или стряхивал ее с себя усилием воли.

– О, я не сомневаюсь, что вы будете его бросать, mon cher Arbousoff, мой дюшенька, мой голюпшик, – говорил Антонио, смеясь и коверкая русские ласкательные имена. – Ребер c'est un animal, un assarateur¹³. Он есть ремесленник, как бывает один водовоз, один сапожник, один...

¹¹ И затем — фр.

¹² трицепс, трехглавая мышца плеча — лат.

¹³ Это скотина, спекулянт (франц.)

un tailleur¹⁴, который шить панталон. Он не имеет себе вот тут... dans le coeur...¹⁵ ничего, никакой чувство и никакой temperament¹⁶. Он есть один большой грубый мясник, а вы есть настоящий артист. Вы есть кудожник, и я всегда имею удовольствие на вас смотреть.

В буфет быстро вошел директор, маленький, толстый и тонконогий человек, с поднятыми вверх плечами, без шеи, в цилиндре и распахнутой шубе, очень похожий своим круглым бульдожьим лицом, толстыми усами и жестким выражением бровей и глаз на портрет Бисмарка. Антонио и Арбузов слегка притронулись к шляпам. Директор ответил тем же и тотчас же, точно он долго воздерживался и ждал только случая, принялся ругать рассердившего его конюха.

– Мужик, русская каналья... напоил потную лошадь, черт его побирай!.. Я буду ходить на мировой судья, и он будет мне присудить триста рублей штраф с этого мерзавца... Я... черт его побирай!.. Я пойду и буду ему разбивать морду, я его буду стегать с моим Reitpeitsch!¹⁷

Точно ухватившись за эту мысль, он быстро повернулся и, семена тонкими, слабыми ногами, побежал в конюшню. Арбузов нагнал его у дверей.

– Господин директор...

Директор круто остановился и с тем же недовольным лицом выжидательно засунул руки в карманы шубы.

Арбузов стал просить его отложить сегодняшнюю борьбу на день или на два. Если директору угодно, он, Арбузов, даст за это вне заключенных условий два или даже три вечерних упражнения с гириями. Вместе с тем не возьмет ли на себя господин директор труд переговорить с Ребером относительно перемены дня состязания.

Директор слушал атлета, повернувшись к нему вполборота и глядя мимо его головы в окно. Убедившись, что Арбузов кончил, он перевел на него свои жесткие глаза, с нависшими под ними землистыми мешками, и отрезал коротко и внушительно:

– Сто рублей неустойки.

– Господин директор...

– Я, черт побирай, сам знаю, что я есть господин директор, – перебил он, закипая. – Устраивайтесь с Ребером сами, это не мое дело. Мое дело – контракт, ваше дело – неустойка.

Он резко повернулся спиной к Арбузову и пошел, часто перебирая приседающими ногами, к дверям, но перед ними вдруг остановился, обернулся и внезапно, затрясшись от злости, с прыгающими дряблыми щеками, с побагровевшим лицом, раздувшейся шеей и выкатившимися глазами, закричал, задыхаясь:

– Черт побирай! У меня поддыхает Фатиница, первая лошадь парфорсной езды!.. Русский конюх, сволочь, свинья, русская обезьяна опоил самую лучшую лошадь, а вы позволяете просить разные глупости. Черт побирай! Сегодня последний день этой идиотской русской масленицы, и у меня не хватает даже приставной стулья, и публикум будет мне делать ein grosser Scandal¹⁸, если я отменю борьбу. Черт побирай! У меня потребуют назад деньги и разломать мой цирк на маленькие кусочки! Schwamm druber!¹⁹ Я не хочу слушать глупости, я ничего не слышал и ничего не знаю!

И он выскочил из буфета, захлопнув за собой тяжелую дверь с такой силой, что рюмки на стойке отозвались тонким, дребезжащим звоном.

III

Простившись с Антонио, Арбузов пошел домой. Надо было до борьбы пообедать и поста-

¹⁴ портной (франц.)

¹⁵ в сердце (франц.)

¹⁶ темперамент (франц.)

¹⁷ кнутом (нем.)

¹⁸ большой скандал (нем.)

¹⁹ Пропади он пропадом! (нем.)

раться выспаться, чтобы хоть немного освежить голову. Но опять, выйдя на улицу, он почувствовал себя больным. Уличный шум и суэта происходили где-то далеко-далеко от него и казались ему такими посторонними, ненастоящими, точно он рассматривал пеструю движущуюся картину. Переходя через улицы, он испытывал острую боязнь, что на него налетят сзади лошади и собьют с ног.

Он жил недалеко от цирка в меблированных комнатах. Еще на лестнице он услышал запах, который всегда стоял в коридорах, – запах кухни, керосинового чада и мышей. Пробираясь ощупью темным коридором в свой номер, Арбузов все ждал, что он вот-вот наткнется впотьмах на какое-нибудь препятствие, и к этому чувству напряженного ожидания невольно и мучительно примешивалось чувство тоски, потерянности, страха и сознания своего одиночества.

Есть ему не хотелось, но когда снизу, из столовой «Эврика», принесли обед, он принудил себя съесть несколько ложек красного борща, отдававшего грязной кухонной тряпкой, и половину бледной волокнистой котлеты с морковным соусом. После обеда ему захотелось пить. Он послал мальчишку за квасом и лег на кровать.

И тотчас же ему показалось, что кровать тихо заколыхалась и поплыла под ним, точно лодка, а стены и потолок медленно поползли в противоположную сторону. Но в этом ощущении не было ничего страшного или неприятного; наоборот, вместе с ним в тело вступала все сильнее усталая, ленивая, теплая истома. Закоптелый потолок, изборожденный, точно жилами, тонкими извилистыми трещинами, то уходил далеко вверх, то надвигался совсем близко, и в его колебаниях была расслабляющая дремотная плавность.

Где-то за стеной гремели чашками, по коридору беспрерывно сновали торопливые, заглушаемые половиком шаги, в окно широко и неясно неся уличный гул. Все эти звуки долго цеплялись, перегоняли друг друга, спутывались и вдруг, слившись на несколько мгновений, выстраивались в чудесную мелодию, такую полную, неожиданную и красивую, что от нее становилось щекотно в груди и хотелось смеяться.

Приподнявшись на кровати, чтобы напиться, атлет оглядел свою комнату. В густом лиловом сумраке зимнего вечера вся мебель представилась ему совсем не такой, какой он ее привык до сих пор видеть: на ней лежало странное, загадочное, живое выражение. И низенький, приземистый, серьезный комод, и высокий узкий шкаф, с его деловитой, но черствой и насмешливой наружностью, и добродушный круглый стол, и нарядное, кокетливое зеркало – все они сквозь ленивую и томную дремоту зорко, выжидательно и угрожающе стерегли Арбузова.

«Значит, у меня лихорадка», – подумал Арбузов и повторил вслух:

– У меня лихорадка, – и его голос отозвался в его ушах откуда-то издалека слабым, пустым и равнодушным звуком.

Под колыхание кровати, с приятной сонной резью в глазах, Арбузов забылся в прерывистом, тревожном, лихорадочном бреде. Но в бреду, как и наяву, он испытывал такую же чередующуюся смену впечатлений. То ему казалось, что он ворочает со страшными усилиями и громоздит одна на другую гранитные глыбы с отполированными боками, гладкими и твердыми на ощупь, но в то же время мягко, как вата, поддающимися под его руками. Потом эти глыбы рушились и катились вниз, а вместо них оставалось что-то ровное, зыбкое, зловеще спокойное; имени ему не было, но оно одинаково походило и на гладкую поверхность озера, и на тонкую проволоку, которая, бесконечно вытягиваясь, жужжит однообразно, утомительно и сонно. Но исчезала проволока, и опять Арбузов воздвигал громадные глыбы, и опять они рушились с громом, и опять оставалась во всем мире одна только зловещая, тоскливая проволока. В то же время Арбузов не переставал видеть потолок с трещинами и слышать странно переплетающиеся звуки, но все это принадлежало к чужому, стерегущему, враждебному миру, жалкому и неинтересному по сравнению с теми грезами, в которых он жил.

Было уже совсем темно, когда Арбузов вдруг вскочил и сел на кровати, охваченный чувством дикого ужаса и нестерпимой физической тоски, которая начиналась от сердца, переставшего биться, наполняла всю грудь, подымалась до горла и сжимала его. Легким не хватало воздуха, что-то изнутри мешало ему войти. Арбузов судорожно раскрывал рот, стараясь вдохнуть, но не умел, не мог этого сделать и задыхался. Эти страшные ощущения продолжались всего три-четыре секунды, но атлету казалось, что припадок начался много лет тому назад и что он успел состариться за это время. «Смерть идет!» – мелькнуло у него в голове, но в тот же момент чья-то невидимая рука тронула остановившееся сердце, как трогают остановившийся маятник, и

оно, сделав бешеный толчок, готовый разбить грудь, забилося пугливо, жадно и бестолково. Вместе с тем жаркие волны крови бросились Арбузову в лицо, в руки и в ноги и покрыли все его тело испариной.

В отворенную дверь просунулась большая стриженная голова с тонкими, оттопыренными, как крылья у летучей мыши, ушами. Это пришел Гришутка, мальчишка, помощник коридорного, справиться о чае. Из-за его спины весело и ободряюще скользнул в номер свет от лампы, зажженной в коридоре.

– Прикажете самоварчик, Никит Ионыч?

Арбузов хорошо слышал эти слова, и они ясно отпечатались в его памяти, но он никак не мог заставить себя понять, что? они значат. Мысль его-в это время усиленно работала, стараясь уловить какое-то необыкновенное, редкое и очень важное слово, которое он слышал во сне перед тем, как вскочить в припадке.

– Никит Ионыч, подавать, что ли, самовар-то? Седьмой час.

– Постой, Гришутка, постой, сейчас, – отозвался Арбузов, по-прежнему слыша и не понимая мальчишки, и вдруг поймал забытое слово: «Бумеранг». Бумеранг – это такая изогнутая, смешная деревяшка, которую в цирке на Монмартре бросали какие-то черные дикари, маленькие, голые, ловкие и мускулистые человечки. И тотчас же, точно освободившись от пут, внимание Арбузова перенеслось на слова мальчишки, все еще звучавшие в памяти.

– Седьмой час, ты говоришь? Ну, так неси скорее самовар, Гриша.

Мальчик ушел. Арбузов долго сидел на кровати, спустив на пол ноги, и прислушивался, глядя в темные углы, к своему сердцу, все еще бившемуся тревожно и суетливо. А губы его тихо шевелились, повторяя раздельно все одно и то же, поразившее его, звучное, упругое слово:

– Бу-ме-ранг!

IV

К девяти часам Арбузов пошел в цирк. Большеголовый мальчишка из номеров, страстный поклонник циркового искусства, нес за ним соломенный сак с костюмом. У ярко освещенного подъезда было шумно и весело. Непрерывно, один за другим, подъезжали извозчики и по мановению руки величественного, как статуя, городского, описав полукруг, отъезжали дальше, в темноту, где длинной вереницей стояли вдоль улицы сани и кареты. Красные цирковые афиши и зеленые анонсы о борьбе виднелись повсюду – по обеим сторонам входа, около касс, в вестибюле и коридорах, и везде Арбузов видел свою фамилию, напечатанную громадным шрифтом. В коридорах пахло конюшней, газом, тырсой, которой посыпают арену, и обыкновенным запахом зрительных зал – смешанным запахом новых лайковых перчаток и пудры. Эти запахи, всегда немного волновавшие и возбуждавшие Арбузова в вечера перед борьбою, теперь болезненно и неприятно скользнули по его нервам.

За кулисами, около того прохода, из которого выходят на арену артисты, висело за проводочной сеткой освещенное газовым рожком рукописное расписание вечера с печатными заголовками: «*Arbeit. Pferd. Klown*»²⁰. Арбузов заглянул в него с неясной и наивной надеждой не найти своего имени. Но во втором отделении, против знакомого ему слова «*Kampf*»²¹, стояли написанные крупным, катящимся вниз почерком полуграмотного человека две фамилии: Arbusow u. Roeber.

На арене кричали картавыми, деревянными голосами и хохотали идиотским смехом клоуны. Антонио Батисто и его жена, Генриетта, дожидались в проходе окончания номера. На обоих были одинаковые костюмы из нежно-фиолетового, расшитого золотыми блестками трико, отливавшего на сгибах против света шелковым глянцем, и белые атласные туфли.

Юбки на Генриетте не было, вместо нее вокруг пояса висела длинная и частая золотая бахрама, сверкавшая при каждом ее движении. Атласная рубашечка фиолетового цвета, надетая прямо поверх тела, без корсета, была свободна и совсем не стесняла движений гибкого торса.

²⁰ Работа. Лошадь. Клоун — нем.

²¹ Борьба — нем.

Поверх трико на Генриетте был наброшен длинный белый арабский бурнус, мягко оттенявший ее хорошенькую, черноволосую, смуглую головку.

– Et bien, monsieur Arbousoff?²² – сказала Генриетта, ласково улыбаясь и протягивая из-под бурнуса обнаженную, тонкую, но сильную и красивую руку. – Как вам нравятся наши новые костюмы? Это идея моего Антонио. Вы придете на манеж посмотреть наш номер? Пожалуйста, приходите. У вас хороший глаз, и вы мне приносите удачу.

Подошедший Антонио дружелюбно похлопал Арбузова по плечу.

– Ну, как дела, мой голубушка? All right!²³ Я держу за вас пари с Винченцо на одна бутылка коньяк. Смотрите же!

По цирку прокатился смех, и затрещали аплодисменты. Два клоуна с белыми лицами, вымазанными черной и малиновой краской, выбежали с арены в коридор. Они точно позабыли на своих лицах широкие, бессмысленные улыбки, но их груди после утомительных сальто-мортале дышали глубоко и быстро. Их вызвали и заставили еще что-то сделать, потом еще раз и еще, и только когда музыка заиграла вальс и публика утихла, они ушли в уборную, оба потные, как-то сразу опустившиеся, разбитые усталостью.

Не занятые в этот вечер артисты, во фраках и в панталонах с золотыми лампасами, быстро и ловко опустили с потолка большую сетку, притянув ее веревками к столбам. Потом они выстроились по обе стороны прохода, и кто-то отдернул занавес. Ласково и кокетливо сверкнув глазами из-под тонких смелых бровей, Генриетта сбросила свой бурнус на руку Арбузову, быстрым женским привычным движением поправила волосы и, взявшись с мужем за руки, грациозно выбежала на арену. Следом за ними, передав бурнус конюху, вышел и Арбузов.

В труппе все любили смотреть на их работу. В ней, кроме красоты и легкости движений, изумляло цирковых артистов доведенное до невероятной точности *чувство темпа* – особенное, шестое чувство, вряд ли понятное где-нибудь, кроме балета и цирка, но необходимое при всех трудных и согласованных движениях под музыку. Не теряя даром ни одной секунды и соразмеряя каждое движение с плавными звуками вальса, Антонио и Генриетта проворно поднялись под купол, на высоту верхних рядов галереи. С разных концов цирка они посылали публике воздушные поцелуи: он, сидя на трапедии, она, стоя на легком табурете, обитом таким же фиолетовым атласом, какой был на ее рубашке, с золотой бахромой на краях и с инициалами А и В посредине.

Все, что они делали, было одновременно, согласно и, по-видимому, так легко и просто, что даже у цирковых артистов, глядевших на них, исчезало представление о трудности и опасности этих упражнений. Опрокинувшись всем телом назад, точно падая в сетку, Антонио вдруг повисал вниз головой и, уцепившись ногами за стальную палку, начинал раскачиваться взад и вперед. Генриетта, стоя на своем фиолетовом возвышении и держась вытянутыми руками за трапедию, напряженно и выжидательно следила за каждым движением мужа и вдруг, поймав темп, отталкивалась от табурета ногами и летела навстречу мужу, выгибаясь всем телом и вытягивая назад стройные ноги. Ее трапедия была вдвое длиннее и делала вдвое большие размахи: поэтому их движения то шли параллельно, то сходились, то расходились...

И вот, по какому-то не заметному ни для кого сигналу, она бросала палку своей трапедии, падала ничем не поддерживаемая вниз и вдруг, скользнув руками вдоль рук Антонио, крепко сплеталась с ним кисть за кисть. Несколько секунд их тела, связавшись в одно гибкое, сильное тело, плавно и широко качались в воздухе, и атласные туфельки Генриетты чертили по поднятому вверх краю сетки; затем он переворачивал ее и опять бросал в пространство, как раз в тот момент, когда над ее головой пролетала брошенная ею и все еще качающаяся трапедия, за которую она быстро хваталась, чтобы одним размахом вновь перенестись на другой конец цирка, на свой фиолетовый табурет.

Последним упражнением в их номере был полет с высоты. Шталмейстеры подтянули трапедию на блоках под самый купол цирка вместе с сидящей на ней Генриеттой. Там, на семисажженной высоте, артистка осторожно перешла на неподвижный турник, почти касаясь головой

²² Ну как, господин Арбузов? — фр.

²³ Прекрасно! — англ.

стекло слухового окна. Арбузов смотрел на нее, с усилием подымая вверх голову, и думал, что, должно быть, Антонио кажется ей теперь сверху совсем маленьким, и у него от этой мысли кружилась голова.

Убедившись, что жена прочно утвердилась на турнике, Антонио опять свесился головой вниз и стал раскачиваться. Музыка, игравшая до сих пор меланхолический вальс, вдруг резко оборвала его и замолкла. Слышалось только однотонное, жалобное шипение углей в электрических фонарях. Жуткое напряжение чувствовалось в тишине, которая наступила вдруг среди тысячной толпы, жадно и боязливо следившей за каждым движением артистов...

– Pronto!²⁴ – резко, уверенно и весело крикнул Антонио и бросил вниз, в сетку, белый пла-ток, которым он до сих пор, не переставая качаться взад и вперед, вытирал руки. Арбузов уви-дел, как при этом восклицании Генриетта, стоявшая под куполом и державшаяся обеими руками за проволоки, нервно, быстро и выжидательно подалась всем телом вперед.

– Attenti!²⁵ – опять крикнул Антонио.

Угли в фонарях тянули все ту же жалобную однообразную ноту, а молчание в цирке ста-новилось тягостным и грозным.

– Allez!²⁶ – раздался отрывисто и властно голос Антонио.

Казалось, этот повелительный крик столкнул Генриетту с турника. Арбузов увидел, как в воздухе, падая стремглав вниз и крутясь, пронеслось что-то большое, фиолетовое, сверкающее золотыми искрами. С похолодевшим сердцем и с чувством внезапной раздражающей слабости в ногах атлет закрыл глаза и открыл их только тогда, когда, вслед за радостным, высоким, гор-танным криком Генриетты, весь цирк вздохнул шумно и глубоко, как великан, сбросивший со спины тяжкий груз. Музыка заиграла бешеный галоп, и, раскачиваясь под него в руках Антонио, Генриетта весело перебирала ногами и била ими одна о другую. Брошенная мужем в сетку, она провалилась в нее глубоко и мягко, но тотчас же, упруго подброшенная обратно, стала на ноги и, балансируя на трясущейся сетке, вся сияющая неподдельной, радостной улыбкой, раскраснев-шаяся, прелестная, кланялась кричащим зрителям... Накидывая на нее за кулисами бурнус, Ар-бузов заметил, как часто подымалась и опускалась ее грудь и как напряженно бились у нее на висках тонкие голубые жилки...

V

Звонок прозвонил антракт, и Арбузов пошел в свою уборную одеваться. В соседней убор-ной одевался Ребер. Арбузову сквозь широкие щели наскоро сколоченной перегородки было видно каждое его движение. Одеваясь, американец то напевал фальшивым баском какой-то мо-тив, то принимался насвистывать и изредка обменивался со своим тренером короткими, отрыви-стыми словами, раздававшимися так странно и глухо, как будто бы они выходили из самой глу-бины его желудка. Арбузов не знал английского языка, но каждый раз, когда Ребер смеялся, или когда интонация его слов становилась сердитой, ему казалось, что речь идет о нем в о его сего-дняшнем состязании, и от звуков этого уверенного, квакающего голоса им все сильнее овладе-вало чувство страха и физической слабости.

Сняв верхнее платье, он почувствовал холод и вдруг задрожал крупной дрожью лихора-дочного озноба, от которой затряслись его ноги, живот и плечи, а челюсти громко застучали од-на о другую. Чтобы согреться, он послал Гришутку в буфет за коньяком. Коньяк несколько успокоил и согрел атлета, но после него, так же как и утром, по всему телу разлилась тихая, сонная усталость.

В уборную поминутно стучали и входили какие-то люди. Тут были кавалерийские офице-ры, с ногами, обтянутыми, точно трико, тесными рейтузами, рослые гимназисты в смешных узеньких шапках и все почему-то в пенсне и с папиросами в зубах, щеголеватые студенты, гово-рившие очень громко и называвшие друг друга уменьшительными именами. Все они трогали

²⁴ Быстро! — итал.

²⁵ Внимание! — итал.

²⁶ Вперед! — фр.

Арбузова за руки, за грудь и за шею, восхищались видом его напряженных мускулов. Некоторые ласково, одобрительно похлопывали его по спине, точно призовую лошадь, и давали ему советы, как вести борьбу. Их голоса то звучали для Арбузова откуда-то издали, снизу, из-под земли, то вдруг надвигались на него и невыносимо болезненно били его по голове. В то же время он одевался машинальными, привычными движениями, заботливо расправляя и натягивая на своем теле тонкое трико и крепко затягивая вокруг живота широкий кожаный пояс.

Заиграла музыка, и назойливые посетители один за другим вышли из уборной. Остался только доктор Луховицын. Он взял руку Арбузова, нащупал пульс и покачал головой:

– Вам теперь бороться – чистое безумие. Пульс как молоток, и руки совсем холодные. Поглядите в зеркало, как у вас расширены зрачки.

Арбузов взглянул в маленькое наклонное зеркало, стоявшее на столе, и увидел показавшееся ему незнакомым большое, бледное, равнодушное лицо.

– Ну, все равно, доктор, – сказал он лениво и, поставив ногу на свободный стул, стал тщательно обматывать вокруг икры тонкие ремни от туфли.

Кто-то, пробегая быстро по коридору, крикнул поочередно в двери обеих уборных:

– Monsieur Ребер, monsieur Арбузов, на манеж!

Непобедимая истома вдруг охватила тело Арбузова, и ему захотелось долго и сладко, как перед сном, тянуться руками и спиной. В углу уборной были навалены большой беспорядочной кучей черкесские костюмы для пантомимы третьего отделения. Глядя на этот хлам, Арбузов подумал, что нет ничего лучше в мире, как забраться туда, улечься поуютнее и зарыться с головой в теплые, мягкие одежды.

– Надо идти, – сказал он, подымаясь со вздохом. – Доктор, вы знаете, что такое бумеранг?

– Бумеранг? – с удивлением переспросил доктор. – Это, кажется, такой особенный инструмент, которым австралийцы бьют попугаев. А впрочем, может быть, вовсе и не попугаев... Так в чем же дело?

– Просто вспомнилось... Ну, пойдемте, доктор.

У занавеса в дощатом широком проходе теснились завсегдатаи цирка – артисты, служащие и конюхи; когда показался Арбузов, они зашептались и быстро очистили ему место перед занавесом. Следом за Арбузовым подходил Ребер. Избегая глядеть друг на друга, оба атлета стали рядом, и в эту минуту Арбузову с необыкновенной ясностью пришла в голову мысль о том, как дико, бесполезно, нелепо и жестоко то, что он собирается сейчас делать. Но он также знал и чувствовал, что его держит здесь и заставляет именно так поступать какая-то безыменная беспощадная сила. И он стоял неподвижно, глядя на тяжелые складки занавеса с тупой и печальной покорностью.

– Готово? – спросил сверху, с музыкантской эстрады, чей-то голос.

– Готово, давай! – отозвались внизу.

Послышался тревожный стук капельмейстерской палочки, и первые такты марша понеслись по цирку веселыми, возбуждающими, медными звуками. Кто-то быстро распахнул занавес, кто-то хлопнул Арбузова по плечу и отрывисто скомандовал ему: «*Allez!*» Плечо о плечо, ступая с тяжелой самоуверенной грацией, по-прежнему не глядя друг на друга, борцы прошли между двух рядов выстроившихся артистов и, дойдя до середины арены, разошлись в разные стороны.

Один из шталмейстеров также вышел на арену и, став между атлетами, начал читать по бумажке с сильным иностранным акцентом и со множеством ошибок объявление о борьбе.

– Сейчас состоится борьба, по римско-французским правилам, между знаменитыми атлетами и борцами, господином Джоном Ребером и господином Арбузовым. Правила борьбы заключаются в том, что борцы могут как угодно хватать друг друга от головы до пояса. Победенным считается тот, кто коснется двумя лопатками земли. Царапать друг друга, хватать за ноги и за волосы и душить за шею – запрещается. Борьба эта – третья, решительная и последняя. Поборовший своего противника получает приз в сто рублей... Перед началом состязания борцы подают друг другу руки, как бы в виде клятвенного обещания, что борьба будет вестись ими честно и по всем правилам.

Зрители слушали его в таком напряженном, внимательном молчании, что казалось, будто каждый из них удерживает дыхание. Вероятно, это был самый жгучий момент во всем вечере – момент нетерпеливого ожидания. Лица побледнели, рты полураскрылись, головы выдвинулись вперед, глаза с жадным любопытством приковались к фигурам атлетов, неподвижно стоявших на

брезенте, покрывавшем песок арены.

Оба борца были в черном трико, благодаря которому их туловища и ноги казались тоньше и стройнее, чем они были в самом деле, а обнаженные руки и голые шеи – массивнее и сильнее. Ребер стоял, слегка выдвинув вперед ногу, упиравшись одной рукой в бок, в небрежной и самоуверенной позе, и, закинув назад голову, обводил глазами верхние ряды. Он знал по опыту, что симпатии галереи будут на стороне его противника, как более молодого, красивого, изящного, а главное, носящего русскую фамилию борца, и этим небрежным, спокойным взглядом точно посылал вызов разглядывавшей его толпе. Он был среднего роста, широкий в плечах и еще более широкий к тазу, с короткими, толстыми и кривыми, как корни могучего дерева, ногами, длиннорукий и сгорбленный, как большая, сильная обезьяна. У него была маленькая лысая голова с бычачьим затылком, который, начиная от макушки, ровно и плоско, без всяких изгибов, переходил в шею, так же как и шея, расширяясь книзу, непосредственно сливалась с плечами. Этот страшный затылок невольно возбуждал в зрителях смутное и боязливое представление о жестокой, нечеловеческой силе.

Арбузов стоял в той обычной позе профессиональных атлетов, в которой они снимаются всегда на фотографиях, то есть со скрещенными на груди руками и со втянутым в грудь подбородком. Его тело было белее, чем у Ребера, а сложение почти безукоризненное: шея выступала из низкого выреза трико ровным, круглым, мощным стволом, и на ней держалась свободно и легко красивая, рыжеватая, коротко остриженная голова с низким лбом и равнодушными чертами лица. Грудные мышцы, стиснутые сложенными руками, обрисовывались под трико двумя выпуклыми шарами, круглые плечи отливали блеском розового атласа под голубым сиянием электрических фонарей.

Арбузов пристально глядел на читающего шталмейстера. Один только раз он отвел от него глаза и обернулся на зрителей. Весь цирк, сверху донизу наполненный людьми, был точно залит сплошной черной волной, на которой, громоздясь одно над другим, выделялись правильными рядами белые круглые пятна лиц. Каким-то беспощадным, роковым холодом повеяло на Арбузова от этой черной, безличной массы. Он всем существом понял, что ему уже нет возврата с этого ярко освещенного заколдованного круга, что чья-то чужая, огромная воля привела его сюда и нет силы, которая могла бы заставить его вернуться назад. И от этой мысли атлет вдруг почувствовал себя беспомощным, растерянным и слабым, как заблудившийся ребенок, и в его душе тяжело шевельнулся настоящий животный страх, темный, инстинктивный ужас, который, вероятно, овладевает молодым быком, когда его по залитому кровью асфальту вводят на бойню.

Шталмейстер кончил и отошел к выходу. Музыка опять заиграла отчетливо, весело и осторожно, и в резких звуках труб слышалось теперь лукавое, скрытое и жестокое торжество. Был один страшный момент, когда Арбузову представилось, что эти вкрадчивые звуки марша, и печальное шипение углей, и жуткое молчание зрителей служат продолжением его послеобеденного бреда, в котором он видел тянущуюся перед ним длинную, монотонную проволоку. И опять в его уме кто-то произнес причудливое название австралийского инструмента.

До сих пор, однако, Арбузов надеялся на то, что в самый последний момент перед борьбой в нем, как это всегда бывало раньше, вдруг вспыхнет злоба, а вместе с нею уверенность в победе и быстрый прилив физической силы. Но теперь, когда борцы повернулись друг к другу и Арбузов в первый раз встретил острый и холодный взгляд маленьких голубых глаз американца, он понял, что исход сегодняшней борьбы уже решен.

Атлеты пошли друг к другу навстречу. Ребер приближался быстрыми, мягкими и упругими шагами, наклонив вперед свой страшный затылок и слегка сгибаая ноги, похожий на хищное животное, собирающееся сделать скачок. Сойдясь на середине арены, они обменялись быстрым, сильным рукопожатием, разошлись и тотчас же одновременным прыжком повернулись друг к другу лицами. И в отрывистом прикосновении горячей, сильной, мозолистой руки Ребера Арбузов почувствовал такую же уверенность в победе, как и в его колючих глазах.

Сначала они пробовали захватить друг друга за кисти рук, за локти и за плечи, вывертываясь и уклоняясь в то же время от захватов противника. Движения их были медленны, мягки, осторожны и расчетливы, как движения двух больших кошек, начинающих играть. Упиравшись виском в висок и горячо дыша друг другу в плечи, они постоянно переменили место и обошли кругом всю арену. Пользуясь своим высоким ростом, Арбузов обхватил ладонью затылок Ребера и попробовал нагнуть его, но голова американца быстро, как голова прячущейся черепахи, ушла

в плечи, шея сделалась твердой, точно стальной, а широко расставленные ноги крепко уперлись в землю. В то же время Арбузов почувствовал, что Ребер изо всех сил мнет пальцами его бицепсы, стараясь причинить им боль и скорее обессилить их.

Так они ходили по арене, едва переступая ногами, не отрываясь друг от друга и делая медленные, точно ленивые и нерешительные движения. Вдруг Ребер, поймав обеими руками руку своего противника, с силой рванул ее на себя. Не предвидевший этого приема, Арбузов сделал вперед два шага и в ту же секунду почувствовал, что его сзади опоясали и поднимают от земли сильные, сплетшиеся у него на груди руки. Инстинктивно, для того чтобы увеличить свой вес, Арбузов перегнулся верхней частью туловища вперед и, на случай нападения, широко расставил руки и ноги. Ребер сделал несколько усилий притянуть к своей груди его спину, но, видя, что ему не удастся поднять тяжелого атлета, быстрым толчком заставил его опуститься на четвереньки и сам присел рядом с ним на колени, обхватив его за шею и за спину.

Некоторое время Ребер точно раздумывал и примеривался. Потом искусным движением он просунул свою руку сзади, под мышкой у Арбузова, изогнул ее вверх, обхватил жесткой и сильной ладонью его шею и стал нагибать ее вниз, между тем как другая рука, окружив снизу живот Арбузова, старалась перевернуть его тело по оси. Арбузов сопротивлялся, напрягая шею, шире расставляя руки и ближе пригибаясь к земле. Борцы не двигались с места, точно застыв в одном положении, и со стороны можно было подумать, что они забавляются или отдыхают, если бы не было заметно, как постепенно наливаются кровью их лица и шеи и как их напряженные мускулы все резче выпячиваются под трико. Они дышали тяжело и громко, и острый запах их пота был слышен в первых рядах партера.

И вдруг прежняя, знакомая физическая тоска разрослась у Арбузова около сердца, наполнила ему всю грудь, сжала судорожно за горло, и все тотчас же стало для него скучным, пустым и безразличным: и медные звуки музыки, и печальное пение фонарей, и цирк, и Ребер, и самая борьба. Что-то вроде давней привычки еще заставляло его сопротивляться, но он уже слышал в прерывистом, обдававшем его затылок дыхании Ребера хриплые звуки, похожие на торжествующее звериное рычание, и уже одна его рука, оторвавшись от земли, напрасно искала в воздухе опоры. Потом и все его тело потеряло равновесие, и он, неожиданно и крепко прижатый спиной к холодному брезенту, увидел над собой красное, потное лицо Ребера с растрепанными, свалывшимися усами, с оскаленными зубами, с глазами, искаженными безумием и злобой...

Поднявшись на ноги, Арбузов, точно в тумане, видел Ребера, который на все стороны кивал головой публике. Зрители, вскочив с мест, кричали как иступленные, двигались, махали платками, но все это казалось Арбузову давно знакомым сном – сном нелепым, фантастическим и в то же время мелким и скучным по сравнению с тоской, разрывавшей его грудь. Шатаясь, он добрался до уборной. Вид сваленного в кучу хлама напомнил ему что-то неясное, о чем он недавно думал, и он опустился на него, держась обеими руками за сердце и хватая воздух раскрытым ртом.

Внезапно, вместе с чувством тоски и потери дыхания, им овладели тошнота и слабость. Все позеленело в его глазах, потом стало темнеть и проваливаться в глубокую черную пропасть. В его мозгу резким, высоким звуком – точно там лопнула тонкая струна – кто-то явственно и раздельно крикнул: бу-ме-ранг! Потом все исчезло: и мысль, и сознание, и боль, и тоска. И это случилось так же просто и быстро, как если бы кто дунул на свечу, горевшую в темной комнате, и погасил ее...

<1901 >

На покое

I

Когда единственный сын купца 1-й гильдии Нила Овсянникова, после долгих беспутных скитаний из труппы в труппу, умер от чахотки и пьянства в нарвчатской городской больнице, то отец, не только отказывавший сыну при его жизни в помощи, но даже грозивший ему торжественным проклятием при отверстых царских вратах, основал в годовщину его смерти «Убежи-

ще для престарелых немощных артистов имени Алексея Ниловича Овсянникова». Оттого ли, что учреждение это находилось в глухом губернском городе, или по другим причинам, но жильцов в нем всегда бывало мало. Убежище помещалось в опустевшем барском особняке, все комнаты которого давным-давно пришли в ветхость, за исключением громадной залы с паркетным полом, венецианскими окнами и белыми, крашенными известкой, кривыми от времени колоннами. В этой зале и ютились осенью 1899 года пятеро старых, бездомных актеров, загнанных сюда нуждой и болезнями.

Посредине залы стоял овальный обеденный стол, обтянутый желтой, под мрамор, клеенкой, а у стен между колоннами размещались кровати, и около каждой по шкафчику, совершенно так же, как это заведено в больницах и пансионах. Венецианских окон никогда не отворяли из боязни сквозняка, от этого в комнате прочно установился запах нечистоплотной, холостой старости – запах застоявшегося табачного дыма, грязного белья и больницы. Вверху, между стенами и потолком, всегда висела серая, пыльная бахрома прошлогодней паутины.

Лучшим местом считался угол около большой голландской печи, старинные изразцы которой были разрисованы синими тюльпанами. Здесь зимой бывало очень тепло, а широкая печь, отгораживая с одной стороны кровать, придавала ей до некоторой степени вид отдельного жилья. В этом привилегированном месте устроился самый давний обитатель овсянниковского дома, бывший опереточный тенор Лидин-Байдаров, слабоумный, тупой и необыкновенно спесивый мужчина, с трудом носивший на тонких, изуродованных подагрой ногах свое грузное и немощное тело. Попав в убежище с самого дня его основания, он держал себя в нем хозяином и первый дал тон скверным анекдотам и циничным ругательствам, никогда не прекращавшимся в общих разговорах. Он же покрывал белые колонны залы и стенки уборной теми гнусными рисунками и омерзительными изречениями в стихах и прозе, на которые было неистощимо его болезненное воображение тайного эротомана.

По другую сторону печи, ближе к окнам, помещался бывший суфлер Иван Степанович – плешивый, беззубый, сморщенный старикашка. В былые времена весь театральный мир звал его фамильярно «Стаканычем»; это прозвище сохранилось за ним и в убежище. Стаканыч был человек кроткий, набожный, сильно глуховатый на оба уха и, как все глухие, застенчивый. Ежедневно, по нескольку раз, Лидин-Байдаров развлекался тем, что, сохраняя на лице озабоченное выражение, говорил старому суфлеру издали всякие сальности, на что Стаканыч улыбался ласковой смущенной улыбкой, торопливо кивал головой и отвечал невпопад, к великому удовольствию бывшего опереточного премьера, которому эта шутка никогда не надоедала.

С утра до вечера Стаканыч мастерил из разноцветных бумажек, тонкой проволоки и бисера какие-то удивительно хитрые коробочки. Раз или два в год он отсылал их партиями своему сыну Васе, служившему где-то в уездном театре, «на выходах». Если же он не клеил коробочек, то раскладывал на своей кровати пасьянсы, которых знал чрезвычайно много.

По ту же сторону, но совсем у окон, обитал старый трагик Славянов-Райский. Из всех пятерых он один пользовался некогда широкой и шумной известностью. В продолжение семи лет его имя, напечатанное в афишах аршинными буквами, гремело по всем провинциальным городам России. Но через год после его угарного заката публика и печать сразу и совершенно позабыли о нем. За кулисами, впрочем, старые актеры долго еще вспоминали о небывалых и безумных успехах его гастролей, о бешеных деньгах, которые он разбрасывал в своих легендарных кутежах, и о скандалах и драках, которые он устраивал в каждом городе.

С товарищами по общежитию Славянов-Райский держался надменно и был презрительно неразговорчив. По целым дням он лежал на кровати, молчал и без перерыва курил огромные самодельные папиросы. Иногда же, внезапно вскочив, он принимался ходить взад и вперед по зале, от окон к дверям и обратно, мелкими и быстрыми шагами. И во время этой лихорадочной беготни он делал руками перед лицом короткие негодующие движения и отрывисто бормотал непонятные фразы...

Напротив стояла кровать «дедушки», которого, так же как и Стаканыча, весь актерский мир знал больше по этому прозвищу, чем по фамилии. Уже целых три месяца дедушка не вставал с постели и, обросший белыми мягкими длинными волосами, лежал иссохший и благообразный, напоминая в своей белой рубашке иконописное изображение отходящего угодника. Он говорил мало, с передышками, глухим и тонким старческим голосом и с таким трудом, как будто бы стонал на каждом слове. У него болела грудь, но кашлять по-настоящему ему было трудно, и

он только кряхтел слабо и жалобно. Дедушка был очень стар, вероятно, старше всех современных русских актеров. В прежние же время он был известен во многих труппах как хороший актер на ампула резонеров и дельный, грамотный режиссер.

Пятым и последним обитателем убежища был комический актер Михаленко – раздутый водяной, задыхающийся от астмы циник. Хрипя, еле переводя дыхание, с трудом выжимая из своей оплывшей груди слова, он, едва проснувшись, принимался браниться с кем-нибудь из соседей и прекращал это занятие, только ложась вечером в постель. Язык у него был острый, злой и беспощадно, по-актерски, грубый. В нем вечно кипела завистливая, истерическая злоба, заставлявшая его интриговать, сплетничать и писать на своих товарищей нелепые анонимные доносы попечителям убежища. В сквернословии Михаленко состязался с Лидиным-Байдаровым, уступая опереточному тенору в изумительной способности изобретать и сплести между собою самые невероятные гнусности, но превосходя его злой и меткой язвительностью. Живая память сохранила ему неиссякаемый запас мерзостей закулисной жизни: любовных связей, скандалов, драк, неудач и преступлений. Ссорясь с соседями, он умел извлекать из их театрального прошлого наиболее постыдные, наиболее чувствительные страницы и так разрисовывал их своим беззастенчивым юмором, что за ним всегда оставалось последнее слово. Один глаз у него был вставной – тусклый, маленький и слезливый, зато здоровый огромным голубым шаром вылезал из своей орбиты и всегда носил разгневанное выражение.

Жизнь в убежище текла однообразно и скучно. Просыпались актеры очень рано, зимою задолго до света и тотчас же, в ожидании чая, еще не умывшись, принимались курить. Со сна все чувствовали себя злыми и обессиленными и кашляли утренним старческим, давящимся кашлем. И так как в этой убогой жизни неизменно повторялись не только дни, но и слова и жесты, то всякий заранее ждал, что Михаленко, задыхаясь и откашливаясь, непременно скажет старую остроту:

– Вот это настоящий акцизный кашель!..

А Дедушка, знавший когда-то иностранные языки и до сих пор не упускавший случая хвастнуть этим, прибавлял своим стонущим фальцетом:

– Bierhusten. Это у немцев называется Bierhusten. Пивной кашель...

Потом служивший при убежище отставной николаевский солдат Тихон приносил кипяток и неизменные сайки. Актеры заваривали чайники и уносили их к своим столикам. Пили чай очень долго и помногу, пили с кряхтением и вздохами, но молча. После чая рассказывали сны и толковали их: видеть реку означало близкую дорогу, вши и грязь предвещали неожиданные деньги, мертвец – дурную погоду. Сновидения Лидина-Байдарова всегда заключали в себе какую-нибудь сладострастную пакость. Затем шло на целый день лежанье на грязных включенных постелях с неприбранными, засаленными одеялами. От скуки и безделья курили страшно много. Иногда посылали Тихона за газетой, но читали ее только двое: Михаленко, ревниво следивший до сих пор за именами бывших товарищей по сцене, и Стаканыч, которого больше всего интересовали описания грабежей, столкновений поездов и военных парадов. Дедушка плохо видел и потому просил изредка почитать себе вслух. Но из этого мало выходило толку: беззубый суфлер шепелявил, брызгал слюной, и у него нельзя было разобрать ни слова, а Михаленко, читая, приделывал к каждой фразе такие непристойные окончания, что дедушка в конце концов махал рукою и говорил сердито:

– Ну, пошел врать, дурак. Эка мелет мелево!.. Уходи, не хочу слушать.

Разговаривали редко, но подолгу, и всегда кончали ссорой и уличали друг друга в лганье. В большом ходу были анекдоты, причем у каждого обозначалась своя область... Стаканыч, который происходил из духовного звания, умел рассказывать про семинаристов, попов и архиереев; Михаленко был неистощим в закулисных историях и помнил наизусть бесчисленное множество неприличных стихотворных эпиграмм, приписываемых Ленскому, Милославскому, Каратыгину и другим актерам; Байдаров говорил противоземные и совершенно нелепые гадости о женщинах. Впрочем, на последнюю тему все они, не исключая набожного Стаканыча и не встававшего с постели дедушки, любили поговорить, и их собственное бессилие, их физическая и душевная немощь придавали этим разговорам уродливый и страшный характер. Ни разу, хотя бы случайно, ни один из них не помянул приличным словом женщину, как мать, жену или сестру; женщина была в их представлении исключительно самкой, – красивым, лукавым и безобразно-похотливым животным.

Иногда актеры вспоминали и свои собственные театральные приключения. Михаленко называл это «кислыми рассказами из прежней жизни». И сами не замечая, они передавали один и тот же эпизод по несколько раз, в одних и тех же выражениях, с одинаковыми жестами и интонациями; даже цеплялись у них анекдоты и кислые рассказы один за другой все в том же порядке, по одним и тем же ассоциациям мыслей. От этого часто случалось, что, проговорив час или два подряд, актеры вдруг ощущали вместе с усталостью и скукой чувство нестерпимого отвращения к самим себе и к своим сожителям.

Для них не было ничего святого. Все они, не переставая, богохульствовали, и даже полумертвый дедушка любил рассказывать очень длинный и запутанный анекдот, где Авраам и три странника у дуба Мамврийского играли в карты и совершали разные неприличные вещи. Но по ночам, во время тоскливой старческой бессонницы, когда так назойливо лезли в голову мысли о бестолково прожитой жизни, о собственном немощем одиночестве, о близкой смерти, – актеры горячо и трусливо веровали в бога, и в ангелов-хранителей, и в святых чудотворцев, и крестились тайком под одеялом, и шептали дикие, импровизированные молитвы. Утром вместе с ночными страхами проходила и вера. Один только Стаканыч был сдержаннее и последовательнее других. Он даже пробовал кое-когда, вставши с постели, торопливо, украдкой, креститься на образ, но каждый раз ему мешал Михаленко, который, стоя за ним, шутовски кланялся, размахивал правой рукой, как будто в ней было кадило, и хриплым дьячковским басом вытягивал:

– Паки и паки, съели попа собаки, если бы не дьячки, разорвали бы в клочки...

В два часа актеры обедали и за обедом неизменно ругали непечатной бранью основателя убежища купца 1-й гильдии Овсянникова. Прислуживал им все тот же солдат Тихон; его огорчало, что господа говорят за столом гадости, и иногда он пробовал остановить Михаленку, который был на язык невоздержаннее прочих:

– Не выражались бы вы, господин Михаленко. Кажется, образованный человек, а такие последние слова за хлебом-солью... Совсем даже некрасиво.

После обеда актеры спали тяжелым, нездоровым сном, с храпением и стонами, спали очень долго, часа по четыре, и просыпались только к вечернему чаю, с налитыми кровью глазами, со скверным вкусом во рту, с шумом в ушах и с вялым телом. Во время сна они отлеживали себе руки, ноги и даже головы и, вставши с кроватей, шатались, как пьяные, и долго не могли сообразить, утро теперь или вечер. После чая опять лежали, курили и рассказывали анекдоты. Часто играли в карты, – в пикет и в шестьдесят шесть, – и непременно на деньги, а проигрыш приписывали к старым карточным долгам, которые иногда достигали десятков тысяч рублей. Удивительнее всего было то, что все они не переставали верить в свое будущее: пройдет сама собою болезнь, подвернется ангажемент, найдутся старые товарищи, и опять начнется веселая, пряная актерская жизнь. Поэтому-то они и хранили, как святыню, в глубине своих спальных шкафчиков старые афиши и газетные вырезки, на которых стояли их имена.

В восемь часов подавали ужин, состоявший из разогретых остатков от обеда. Тотчас же после ужина актеры раздевались и укладывались спать. Но засыпали не скоро. Долго все пятеро ворочались на своих кроватях, и это было самое мучительное время суток. Сильнее давали о себе знать старые, запущенные болезни, нельзя было отогнать печальных и ядовитых мыслей о прошлом, оскорбительнее чувствовалось убожество настоящей жизни. Но страшнее всего было думать о том, что, быть может, один из соседей тихо, незаметно ни для кого, уже умер среди этой ночи и будет лежать до самого утра, молчаливый, таинственный, ужасный. И актеры по несколько раз в ночь окликались друг друга, спрашивая дрожащими и кроткими голосами, который час, или прося одолжить спичку. И долго, долго, до раннего света, слышались в большой комнате, вместе с треском рассыхающегося паркета, старческие вздохи, невнятный бред, глухое покашливание и торопливый шепот...

И так тянулось изо дня в день серое, мелочное существование этих людей, когда-то жадно объедавшихся жизнью. Приятно разнообразилось оно хождением в город, но это удовольствие было сравнительно очень редким, потому что деньги почти никогда не водились в убежище, а без денег не стоило и выходить за ворота. Без денег нельзя было ни купить табаку, ни прокатиться на извозчике, ни зайти к дешевой раскрашенной проститутке, ни посидеть часок-другой в излюбленном ресторане, который более всего притягивает к себе бродяжнические вкусы старых актеров.

II

Четырнадцатого сентября, в праздник воздвижения, в убежище остались только двое жильцов: суфлер Стаканыч и дедушка. Остальные ушли с утра в город. Михаленко принимал участие в каком-то утреннем спектакле (он время от времени добивался для себя таких приглашений от бывших товарищей по сцене). Поэтому он еще за два дня начал низко и без всякой меры льстить Лидину-Байдарову, превознося его замечательный голос и поразительные успехи у женщин, и в конце концов выпросил у опереточного премьера бумажный воротничок и манжеты, бывшие всего раз в употреблении, а также красный заношенный до лоска галстук. Сам Байдаров по большим праздникам ходил обедать в знакомое купеческое семейство, где его снабжали кое-каким застиранным и перештопанным бельишком, папиросами, мелкими деньгами и кирпичным чаем. Впрочем, эти унижительные подробности своих праздничных визитов он скрывал от товарищей, отчасти из боязни насмешек, а отчасти из скупости, так как он очень не любил, если у него просили займы. Что касается Славянова-Райского, то он накануне получил субсидию из театрального фонда и теперь отправился в город с единственной целью – провести весь день в излюбленном трактирчике, носившем библейское название «Капернаум», и вернуться в убежище совершенно пьяным.

Дедушка лежал, сложив на животе и сцепив одну с другой большие исхудалые руки с коричневой кожей и резко выступающими наружу костяшками. Весь белый, с белыми волосами, неподвижный и благообразный, он теперь более чем когда-либо походил на святого старца, готовящегося к праведной кончине. Его бледно-серые, выцветшие глаза были упорно устремлены в широкое венецианское окно, где на густой осенней синеве неба медленно раскачивалась, вся озаренная солнцем, золотая круглая верхушка липы. Даже здесь, в душной, пропитанной тяжелым запахом комнате, чувствовалось, что там, за окном, стоит бодрый и холодный осенний день, сияет яркое, но негреющее солнце и тянет крепким ароматом увядающего листа.

Стаканыч, сидя на кровати по-турецки, раскладывал на одеяле старыми, почерневшими и распухшими от времени картами один из самых длинных своих пасьянсов – «двенадцать спящих дев», который он, из уважения к его сложности и числовому наименованию, раскладывал только по двенадцатым праздникам. Вид у Стаканыча был сосредоточенный. Он то подымал вверх брови, морща дряблую кожу на лбу в длинные, волнообразные складки, то опускал их вниз и сдвигал вместе, отчего над переносьем появлялась короткая, прямая, озабоченная морщинка. Когда же он муслил во рту палец, чтобы взять с колоды карту, от которой пахло стекольной замазкой, и в то же время задумчиво пробегал прищуренными глазами пасьянс, то его губы круглились, как будто он собирался свистать.

– Иван Степаныч, – поди-ка, братец, ко мне, – позвал вдруг дедушка своим тонким старческим голосом.

– А? Ты меня, что ли, дедушка? – обернулся суфлер.

– Поди, говорю, на минуточку. Поговорить хочу.

– Сейчас, сейчас, дедушка, дай только ряд докончу. Ну, вот и вся недолга.

Стаканыч перешел на кровать дедушки и уселся у него в ногах. Старик опять посмотрел в окно на густое, синее, спокойное небо, потом пошевелил сложенными на животе пальцами и длинно вздохнул.

– Ну что, дедушка, скажешь? – осторожно спросил Стаканыч, слегка похлопывая старика по большой ступне, которая горбом выпячивалась под одеялом.

– Вот что, Стаканыч... – дедушка перевел глаза на суфлера, но глядел на него так равнодушно, как будто бы разглядывал что-то сквозь него. – Вот какую я тебе историю скажу. Видел я сегодня во сне Машутку, свою внучку... Есть, брат, у меня такая внучка в Ростове-на-Дону, Марьей ее зовут. Она портниха...

– Портниха? – озабоченно спросил Стаканыч. – Портних видеть – не знаю, что значит. А вот иголку с ниткой или вообще шить что-нибудь – это непременно к дороге...

– К дороге так к дороге. Оно так, пожалуй, и выходит, что к дальней дороге... Но очень бы мне хотелось ее еще раз повидать, перед тем как закончу земные гастроли.

– Что кончу? – переспросил Стаканыч, приставив ладонь рупором к уху.

– Абер глупости... ничего. – У дедушки было любимое словцо «абер», которое он без нужды совал в свою речь. – Потом глядел я все на небо. Осень теперь, Стаканыч, и воздух на

дворе как вино... Прежде, бывало, в такие ядреные дни все куда-то тянуло... на месте не усидишь... Бывало, нюхаешь, нюхаешь воздух, да ни с того ни с сего и закатаешь из Ярославля в Одессу.

– Из Вологды в Керчь, – подсказал Стаканыч, вспомнив, по суфлерской привычке, слова из старой пьесы.

– Чушь! – с усилием поморщился дедушка. – Абер... я думал, что прошло уж это у меня. Но как сегодня с утра поглядел туда, – дедушка медленно перевел глаза на окно, – так и стал собираться. Выражаясь высоким штилем, вижу, что мое земное турне окончено. Но... все равно.

– Что за мысли, дедушка! – рассудительным баском перебил Стаканыч и развел руки с растопыренными пальцами. – Просто напустил ты на себя мехлюзию. Еще на наши могилки песком посыплешь.

– Не-ет, брат... Вижу, что довольно. Поиграл пятаком, да и за щеку, как говорили у нас в Орле уличные мальчишки. Абер ты постой, Стаканыч, не егози, – остановил он суфлера. – Мне, брат, это все равно...

– И не боишься, дедушка? – спросил вдруг неожиданно для самого себя с жадным любопытством Стаканыч.

– Ни чуточки. Наплевать!.. Гнусно мы с тобой, братец, нашу жизнь прошлепали! Это вот плохо... А бояться – чего же? «Таков наш жребий, всех живущих, – умирать». Ты не думай, Стаканыч, и тебе недолго ждать своей очереди.

Дедушка говорил эти страшные слова со своими обычными передышками, таким слабым и безучастным голосом, с таким равнодушным выражением усталых, запавших глаз, что казалось, будто внутри его говорила старая, испорченная машина.

– Так-то вот, Стаканыч. Рождение человека – случайность, а смерть – закон. Но ты был все-таки добрый малый и самый замечательный из суфлеров, каких я только встречал в своей большой и дурацкой жизни. Знакомы мы с тобой без малого лет сто, и никогда ты не был против меня жуликом. Поэтому я хочу тебе сделать презент. Возьми, брат, себе на память портсигар... вот он на столике... бери, бери, не стесняйся... Портсигар хороший, черепаховый... теперь таких больше не делают. Антик. Была на нем даже золотая монограмма, абер украли где-то, а то, может быть, я и сам ее потерял или того... как его... продал. Возьми, Стаканыч.

– Спасибо, дедушка... Только напрасно ты все это...

– Ну, ну, ну, чего там!.. В нем еще лежит мундштук пенковый. И мундштук возьми. Хороший мундштук, обкуренный...

Стаканыч вынул мундштук, повертел его и вздохнул.

– Спасибо, дедушка. Штучка великолепная. А у меня вот был тесть брандмейстер, знаешь, старого закала человек, из кантонистов. Так он давал пенки обкуривать своим пожарным. Со всем черные делались.

– Очень просто, – равнодушно согласился дедушка. – Так бери, Стаканыч, и мундштук. Все-таки когда-нибудь вспомнишь товарища. А вот только о чем я тебя попрошу. Тут останется после меня разная хурда-мурда... одеялишко, подушки и из платья кое-что... Конечно, рухлядь, абер на худой конец все рублей пятнадцать дадут.

– Да? – выжидательно произнес суфлер.

– Жду я, видишь, не придет ли внучка. Писала она мне письмо. Так отдашь ей. Путь не близкий, больших денег стоит.

Оба помолчали. Дедушка поиграл пальцами по одеялу и протянул суфлеру руку:

– Ну, а теперь того... прощай, Стаканыч. Полежу, подумаю...

– Священника бы? – нерешительно предложил Стаканыч.

– Абер... оставь. Был у нас в Крыжополе парикмахер Теофиль... из хохлов. Так он все говорил: обойдется цыганское веселье без марципанов. Чудак был человек. Смешно мне всегда это бывало, Стаканыч, что как ни парикмахер, так самый строгий театральный критик... Эх, Стаканыч, помнишь Тамбов? Конские ярмарки? Смольскую? Гусаров? Много, брат, мы с тобой пережили, абер все впустую, и все это мне теперь кажется, точно старая-престарая повесть... Ну, иди, иди, брат...

Стаканыч пожал его холодную, негнущуюся большую руку и, вернувшись на свою кровать, сел за прерванный пасьянс. И до самого обеда оба старика не произнесли больше ни слова, и в комнате стояла такая, по-осеннему ясная, задумчивая и грустная тишина, что обманутые ею

мышь, которых пропасть водилось в старом доме, много раз пугливо и нагло выбегали из своего подполья на середину комнаты и, блестя черными глазенками, суетливо подбирали рассыпанные вокруг стола хлебные крошки.

III

Перед обедом пришли столкнувшиеся на подъезде Михаленко и Лидин-Байдаров. У опереточного премьера торчал под мышкой красный платочек, в который были завязаны какие-то припасы. Михаленко же вернулся в убежище злой и усталый. Ему не заплатили обещанной за спектакль платы, а так как свои деньги он оставил в театральном буфете, то ему и пришлось возвращаться через весь город пешком. Войдя в залу, он с силою швырнул свою шляпу-котелок о пол, цинично и длинно выругался и повалился на кровать. Он задыхался; его жирное лицо было бледно, единственный глаз выкатился наружу с выражением ненависти, а отвисшие щеки блестели от пота. Беспредметная злоба, сдавливавшая ему горло и разливавшаяся горечью во рту, искала какого-нибудь выхода. Он увидел на шкапчике у Лидина-Байдарова свою медную машинку для папирос и тотчас же придрался к этому.

– Послушай, ты, старый павиан, надо раньше спрашиваться, когда берешь чужую собственность. Поддай сюда машинку, – сказал Михаленко.

– Какую там еще машинку? – надменно и в нос спросил Лидин-Байдаров. – Вот тебе твоя машинка, подавись!

– Прошу не швыряться чужими вещами, которые вы украли! – закричал Михаленко страшным голосом и быстро сел на кровати. Глаз его еще больше вылез из орбиты, а дряблые щеки запрыгали. – Вы мерзавец! Я знаю вас, вам не в первый раз присваивать чужое. Вы в Перми свели из гостиницы чужую собаку и сидели за это в тюрьме. Арестант вы!

От злости, болезни и усталости у него не хватало в груди воздуха, и концы фраз он выдавливал из груди хрипящим и кашляющим шепотом.

Байдаров обиделся. Обычная спесивая манера покинула его, и он визгливо закричал, брызгая от торопливости слюнями:

– А я вас попрошу, господин Михаленко, немедленно возратить мне взятые у меня манжеты и галстук. И десять штук папирос, которые вы мне должны. Х-ха! Нечего сказать, хорош драматический актер: никогда своего табаку не имеет. Потерянная личность!..

– Молчите, старый дурак. Я вам размозжу голову первым попавшимся предметом! – захрипел Михаленко, хватаясь за спинку стула и тряся им. – Я могу быть страшен, черт возьми!..

– Ак-тер! – язвил тоном театрального презрения Лидин-Байдаров. – Вы на ярмарках карликов представляли.

– А вы – вор! Вы в Иркутске свистнули из уборной у Вилламова серебряный венок и потом поднесли его сами себе в бенефис. Низкий, слюнявый субъект!

Они ругались долго и ожесточенно, ругались до тех пор, пока самые безобразные слова не потеряли своего смысла и перестали быть обидными. И самое нелепое в этой руготне было то, что они с обычного актерского «ты» перешли для большей язвительности на «вы», и это вежливое местоимение смешно и дико звучало рядом с бранными выражениями кабаков и базаров. Потом, уставши, они стали браниться ленивее, с большими перерывами, подобно тому как ворчат, постепенно затихая, но все-таки огрызаясь время от времени, окончившие драку собаки. Но из Михаленки не успело еще выкипеть бессильное, старческое раздражение. Когда принесли обед, он сначала привязался к Стаканычу за то, что тот взял стул, который Михаленко считал почему-то принадлежащим ему, а затем напал на Тихона, расставлявшего посуду.

– Ты, гарнизонная крыса, не мажь пальцами по тарелке. Ты думаешь, приятно есть после твоих поганых рук!

– Да разве я... Ах, господи! – обиделся Тихон. – Откуда же у меня руки будут поганые, когда я мыл их перед обедом с мылом?

– Знаю я тебя, кислая шерсть, – продолжал ворчать Михаленко. – Тоже подумаешь – сева-стополец. Герой с дырой... Севастополь-то вы свой за картошку продали... герои...

Тихон всегда довольно терпеливо сносил крупную соль актерских острот, но он никогда не прощал Михаленке Севастополя и легендарной картошки. И теперь, побагровев от негодования, с дрожащими руками, он закричал плачущим и угрожающим голосом:

– А вы вот что, господин Михаленко! Если вы про Севастополь еще одно слово, я завтра же пойду к зрителю. Так и скажу, что житья мне от вас нет. Только пьянствуете и ругаетесь. Небось как из богадельни вас попросят, куда вы сунетесь? Одно останется: руку горсточкой протягивать.

Перед обедом Стаканыч готовил себе салат из свеклы, огурцов и прованского масла. Все эти припасы принес ему Тихон, друживший со старым суфлером. Лидин-Байдаров жадно следил за стряпней Стаканыча и разговаривал о том, какой он замечательный салат изобрел в Екатеринбурге.

– Стоял я тогда в «Европейской», – говорил он, не отрывая глаз от рук суфлера. – Повар, понимаешь, француз, шесть тысяч жалованья в год. Там ведь на Урале, когда наедут золотопромышленники, такие кутежи идут... миллионами пахнет!..

– Все вы врете, актер Байдаров, – вставил, прожевывая говядину, Михаленко.

– Убирайтесь к черту! Можете спросить кого угодно в Екатеринбурге, вам всякий подтвердит... Вот я этого француза и научил. Потом весь город нарочно ездил в гостиницу пробовать. Так и в меню стояло: салат а-ля Лидин-Байдаров. Понимаешь: положить груздочков соленьких, нарезать тоненько крымское яблоко и один помидорчик и крошить туда головку лука, картофеля вареного, свеклы и огурчиков. Потом все это, понимаешь, смешать, посолить, поперчить и полить уксусом с прованским маслом, а сверху чуть-чуть посыпать мелким сахаром. И к этому еще подается в соуснике растопленное малороссийское сало, знаешь, чтобы в нем шкварки плавали и шипели... Уд-ди-вительная вещь! – прошептал Байдаров, даже зажмурясь от удовольствия. – А ну-ка, Стаканыч, дай-ка попробовать, что ты там накулинаруил?..

Дедушка отказался от обеда. Садясь за стол, Михаленко и его задел ядовитым словом:

– Что, дедушка, помирать собрался? Пора бы уж, старик, пора; землей пахнешь. Тебе, чай, на том свете давно провиант отпускают.

Дедушка спокойно, без всякого выражения скользнул взглядом по Михаленке, точно поглядывая мимоходом на неодушевленный предмет.

– Противный ты человек, Михаленко, – сказал он равнодушно.

Когда актеры кончили обед и Тихон принялся убирать со стола, дедушка поманил его к себе рукой и спросил:

– А что, Тихон, обо мне никто там не справлялся?

– Где-с, Николай Николаевич? – изумился Тихон.

– Говорю, не приходили ли ко мне?.. Дама одна...

– Никак нет, никто не приходил. Тихон от удивления даже развел руками, нагруженными посудой.

– Абер... ты вот что, Тихон... Если я засну или что, а там придут ко мне, так ты меня того... разбуди. Барыня одна придет... внучка моя... Так ты разбуди...

Дедушка слабо махнул рукой и отвернулся от Тихона. И до глубокой ночи он лежал молча, еле заметно двигая пальцами по одеялу и пристально, со строгой важностью глядя то в противоположную стену, то в широкое венецианское окно, за которым тихо и ярко горела вечерняя заря.

А Михаленко с Лидиным-Байдаровым после обеда, как ни в чем не бывало, сели играть в шестьдесят шесть. Но Михаленке не везло и в картах. Он проиграл два с полтиной, что вместе со старым долгом составило круглую сумму в две тысячи рублей. Это рассердило Михаленку. Он стал проверять записи партнера и кончил тем, что уличил его в нечестной игре. Актеры опять сцепились и в продолжение двух часов выдумывали друг о друге самые грязные и неправдоподобные истории.

IV

Славянов-Райский с утра не покидал «Капернаума». Стоя у прилавка, он держал рюмку двумя пальцами, оттопырив мизинец, и жирным актерским баритоном благосклонно и веско беседовал с хозяином о том, как идут дела ресторана, и о старых актерах, посещавших в былые времена из года в год «Капернаум». Ресторанный воздух точно воскресил в нем ту наигранную, преувеличенную и манерную любезность, которой отличаются актеры вне кулис, на глазах публики. Случалось, что кто-нибудь тянулся через него к стойке. Тогда он учтиво и предупредительно отодвигался вбок, делал свободной от рюмки рукой плавный, приглашающий жест и

произносил великолепным тоном театрального старого барина:

– Тысячу извинений... Пра-ашу вас.

Устав стоять, он сел за ближайший к прилавку столик, облюбованный, по старой привычке, завсегдатаями «Капернауа», и спросил газету. Ресторан быстро наполнялся. Сюда обыкновенно ходили, привлекаемые дешевизной и уютностью, студенты, мелкие чиновники и приказчики. Скоро не осталось ни одного свободного места. Два запоздавшие посетителя – один, постарше, хохластый, с крючковатым носом, похожий на степенного попугая, а другой маленький, подвижный, с длинными масляными волосами и в пенсне – не находили где присесть и, смеясь, озирались по сторонам. Райский перехватил взгляд длинноволосого. Слегка приподнявшись, он произнес с напыщенной вежливостью:

– Если вас только не стеснит... э-э... я позволю себе предложить вам место за своим столом...

Посетители рассыпались в благодарностях и пошли к буфету пить водку. Оба они считались в ресторане почетными гостями, «дававшими хорошо торговать». Они поздоровались с хозяином за руку и заговорили с ним вполголоса. Славянов-Райский понял, что речь шла о нем. Притворяясь углубленным в «Новое время», он ловил привычным ухом отрывки фраз, которые шепотом говорил хозяин, наклоняясь через стойку:

– Ну да, тот самый... Помилуйте, пятьсот за выход. Это в те-то времена! Талантище зам-мечательный... Только двое: он да Иванов-Козельский... Что?.. Ну, конечно, если бы не пил...

Гости, дававшие торговать, были польщены. Прежде чем сесть, тот, что был похож на попугая, сморщил лицо в заискивающую улыбку и, кланяясь и потирая руки, сказал:

– В таком случае... хе-хе-хе... нельзя ли уж нам всем познакомиться... Знаете ли, в тесноте, да не в обиде... Позвольте представиться...

Он оказался оценщиком земельного банка, а его товарищ – воскресным фельетонистом местного листка. Фельетонист встряхивал масляными волосами и бормотал:..

– Мы оба с вами представители искусства... Ваше громкое имя... Печать и сцена, как два полюса, всегда должны идти рука об руку.

Славянов-Райский, падкий на ресторанные знакомства, пожимал им руки, приветливо кивал головой и улыбался широкой, деланной актерской улыбкой, обнаруживавшей беззубый рот.

– Очень приятно встретиться... В теперешнее время забывают нас, старых артистов, и тем более отраднее... Нет, нет, благодарствуйте, от завтрака я откажусь... Но если вы уже так настаиваете, то разве одну только м-маленькую рюмочку водки... за компанию. Только уговор: расчет по-американски, каждый за себя... Мерси. Ваше здоровье!.. Пожалуйста, не беспокойтесь, мне отлично сидеть. Благодарю вас, коллега, благодарю, – говорил он покровительственным баском, пожимая с фамильярной лаской руку фельетониста выше локтя.

Славянов и вправду не хотел есть, потому что, как застарелый алкоголик, давно страдал отсутствием аппетита. Водку же и пиво он пил благосклонно, но опьянел от четырех рюмок и стал врать. Поклонники ели порционный завтрак, а он критиковал кушанья и объяснял подробно, как выкармливают в Тамбове поросят, как отпаивают телят в Суздале и какую уху он ел у рыбаков на Волге. Потом он рассказывал о баснословных кутежах, которые в его честь задавал в каком-то губернском городе директор банка, угодивший впоследствии под суд, и о торжественном обеде, устроенном ему в Москве печатью. При этом он без затруднения сыпал фамилиями, выхватывая их из старых пьес или просто сочиняя, и всех называл уменьшительными именами: «Сашка Путята... сверхъестественный мужчина... двадцать четыре тысячи в год, не считая сутокных!.. И с ним вместе Измаилка Александровский... Измаилушка! Вот это были люди! Измаил на вытянутой руке подымал восемнадцать пудов... Пойми ты, огарок, восемнадцать пудов!» Он уже обращался к своим новым знакомым на «ты» и, забыв американский расчет, бесцеремонно распорядился за столом.

Затем он начал читать монологи пьяным, хриплым голосом, с воплями, завываниями и неожиданной икотой в драматических местах. Иногда он забывал слова и, с трудом вспоминая их, делал вид, что длинной паузой усиливает смысл фразы; тогда он молча и бессильно раскачивался на стуле с рукой, застывшей в трагическом жесте, и со страшными, вращающимися глазами. Но так как оба его соседа начинали чувствовать себя неловко, а многие посетители, оставив свои места, собирались вокруг почетного столика, то сам хозяин подошел к пьяному актеру и

стал его уговаривать:

– Меркурий Иваныч, не разоряйтесь, пожалуйста. Знаете ли, безобразно... и другие гости обижаются. Ну разве нельзя честь честью? Тихо, мирно, благородно...

– Уйди от меня, буржуй! – закричал Славянов, отмахиваясь от хозяина локтем и меряя его грозным взглядом. – С кем говоришь!..

И он принялся скандалить, как скандалил после выпивки всю свою жизнь, во всех городах и во всех ресторанах. Сначала он обозвал скверными словами хозяина, потом своих собеседников, пытавшихся его образумить, и наконец обрушился на всю глазевшую на него публику.

– Все вы свиньи, ненавидимые мной! – кричал он, качаясь назад и вперед на стуле и стуча кулаками по столу. – Ненавижу вас и презираю!.. Публика! Есть ли на свете слово низменнее этого? А-а! Вы сбежались посмотреть на скандал? Ну, так вот вам, глядите! – Славянов с размаху хлопнул себя ладонью по груди. – Вот перед вами первый в России трагический актер, который влачит нищенское существование. Любопытно? И все-таки я презираю вас, хамы, всеми фибрами своей души! Вы, кажется, смеетесь, молодой идиот в розовом галстуке? – обратился он вдруг к кому-то за соседним столиком. – Кто вы такой? Вы приказчик? Камердинер? Бильярдный шулер? Парикмахер? Ага! Улыбка уже исчезла с вашего лошадиного лица. Вы – букашка, вы в жизни жалкий статист, и ваши полосатые панталоны переживут ваше ничтожное имя. Да, да, смотрите на меня, жвачные животные! Я был гордостью русской сцены, я оставил след в истории русского театра, и если я пал, то в этом трагедия, болваны! А вы, – Славянов обвел широким пьяным жестом всех глазевших на него встревоженных людей, – вы мелочь, сор, инфузории!..

– Позвольте!.. Это скандал!.. Мы этого не потерпим! – раздались негодующие восклицания. – Где хозяин? Выкинуть этого субъекта! Послать за полицией!..

Трактирный слуга бережно взял Славянова под мышки и повлек к выходу. Славянов не сопротивлялся, но и не переставал браниться. Когда же его просовывали в двери, он разбил кулаком оконное стекло и окровавил себе руку. Оценщик банка и фельетонист решили вдруг, что с их стороны будет постыдно бросить на произвол судьбы пьяного, больного старика. С большим трудом узнали они у первого трагического актера его адрес и при помощи дворника усадили его на пролетку. Но, отъехав два шага, Славянов вдруг остановил извозчика.

– Послушайте, как вас! – пьяным движением руки подозвал он к себе оценщика, – Это я с вами, кажется, сидел? Дайте рубль.

– Ах, пожалуйста, – любезно заторопился бухгалтер, вынимая из кармана портмоне.

– Давайте сюда... Отлично. Запишите этот день красными чернилами в своем гроссбухе. Сегодня вы подали милостыню артисту Славянову-Райскому. Черт вас побери!..

И всю дорогу, до самого убежища, он бранился скверными словами, раскачиваясь в разные стороны на пролетке.

V

В убежище он явился совершенно пьяный. Глаза у него остекленели, нижняя челюсть отвисла, из-под сидевшей на затылке шляпы спускались на лоб мокрыми сосульками волосы. Войдя в общую комнату, он скрестил руки, свесил низко на грудь голову и, глядя вперед из-под грозно нахмуренных бровей, так что вместо глаз виднелись одни только белки, начал неистовым голосом гамлетовский монолог:

...Для чего я по Полевому не могу.

Я по Кронебергу

Ты не растаешь, ты не распадешься прахом,

О, для чего ты крепко, тело человека!

– Н-да-а, хоро-ош! – сказал Стаканыч, качая головой.

– Тихон, – взвизгнул фистулой Михаленко, – уберите немедленно этого пьяного господина!

Но Славянов продолжал декламировать, не обращая на него внимания. И, несмотря на сильное опьянение, несмотря на хрипоту и бляение в голосе, он все-таки, по бессознательной

привычке, читал очень хорошо, в старинной благородной и утрированной манере:

И если бы всеильный нам не запретил
Самоубийства... Боже мой, великий боже!
Как гнусны, бесполезны, как ничтожны
Деянья человека на земле!

– Эй, суфлер, что же ты не подаешь? Заснул! – крикнул Славянов на Стаканыча, который смотрел на него, сидя на кровати и кривя рот в довольную усмешку.

– Меркурь Иваныч, вы же знаете, что я по Полевому не могу. Я по Кронебергу.

– Подавай, как тебе велят...

Жизнь! Что ты?
Сад, заглохший
Под дикими бесплодными травами!..
Едва лишь шесть недель прошло...

– Прошу вас, пьяный актер Райский, прекратить вашу дурацкую декламацию! – опять закричал Михаленко. – Вы не в кабаке, где вы привыкли кривляться за рюмку водки и бутерброд с килькой.

– Молчи, червяк! – бросил ему с трагическим жестом Славянов. – С кем говоришь?.. Подумай, с кем ты говоришь... Ты, считавший за честь подать калоши артисту Славянову-Райскому, когда он уходил с репетиции, ты, актер, игравший толпу и голоса за сценой! Раб! Неодушевленная вещь!..

– У! Дурак пьяный! – выдавил из себя вместе с припадком кашля Михаленко.

– А-а! Ты забыл разницу между нами? Негодный! Это целая бездна. Во мне каждый вершок – великий артист, вы же все – гниль и паразиты сцены.

– Однако вы потише, господин Райский, – гордым тоном вмешался Лидин-Байдаров. – Если вы будете продолжать ваши пьяные оскорбления людей, которые вас не трогают, то вы можете сильно за это поплатиться, черт возьми!..

– Ты... ты... ты!.. – захлебнулся Славянов от негодования. – Как у тебя повернулся язык? Этот вот, – он величественно указал на Михаленку, – этот хоть ходил по сцене, подавая стаканы, но он все-таки актер...

– Эфиоп вы! – более спокойным тоном огрызнулся Михаленко.

– А ты, кан-налья, ты вылез на сцену, не имея на это никаких прав, кроме толстых ляжек в розовом трико. Ты пел козлом и делал гнусные телодвижения. «О, сновиденье, о, наслажденье!» – передразнил Славянов, сделав непристойный жест. – Ты попал в храм искусства по недоразумению, случайно, как мог бы попасть в распорядители кафешантана или открыть публичный дом. Ты – медная голова, ты – бесстыдник! Вот именно, бес-стыдник! У тебя, как у мелкого, гаденького и похотливого зверюшки, никогда не было стыда за свой жест, за свою мимику, не было стыда, лица и тела. Тебе, с твоей развязностью продажного мужчины, ничего не стоило бы голым выскочить пред публику, если бы только на это дал позволение околоточный надзиратель, которого одного ты боялся и уважал во всю свою презренную жизнь.

– Я не понимаю, что меня удерживает от удовольствия вышвырнуть вас в окно! – воскликнул напыщенно Лидин-Байдаров.

– У-у, кретин! Ведь в каждом звуке твоего голоса слышна глупость, в каждом твоём движении видно разжижение мозга. Но у тебя никогда нельзя было разобрать, где у тебя кончается глупость и где начинается подлость. Даже от твоего театрального имени веет пошлостью и нахальством. «Лидин-Байдаров»! Скажите пожалуйста!.. А ты просто шкловский мещанин Мовша Розентул, сын старьевщика и сам в душе ростовщик.

– Пропойца, скандалист, дутая знаменитость!

– Пропойца! – презрительным басом и выпятив нижнюю губу, протянул Славянов. – Соглашаюсь, был Славянов-Райский пропойцей. Пил чрезмерно и много безобразничал, бил портных и реквизиторов, бил антрепренеров и рецензят, иудино племя. Но спроси, кто помнит зло на Славянове-Райском? Через мои руки прошли сотни тысяч денег, но спроси, где они? От меня ни

один бедняк, ни один маленький актеришка не вышел без помощи. Шарманщики, уличные акробаты, слепые музыканты были моими друзьями. А сколько пивок питалось около меня!.. И так я жил!.. Широко жил, с размахом. Вон Стаканыч знает меня пятнадцать лет, он скажет. Правду я говорю, Стаканыч?

– Вы мне, что ли, Меркурь Иваныч? – спросил суфлер, отрываясь от своих коробочек и держа руку над глазами щитком.

– Всегда первый номер в самой дорогой гостинице. Прислуге швырял золото, как индийский принц. Лучший экипаж, лошади – львы, кучер – страшилище, идолом сидит на козлах. Свой собственный лакей был – Мишка. Кто не знал моего Мишку? Антрепренеры в нем заискивали, чтобы узнать, в каком духе я проснулся сегодня... за руку с ним здоровались. А как я одевался! Всегда фрак и английское белье. Каждый день Мишка покупал для меня новую сорочку: стирального не носил, гнушался. Портные за честь считали шить для меня в долг. Городские франты нарочно ходили в театр поучиться у меня, как надо носить платье.

– Вот, брат, и проносился, – ехидно вставил Лидин-Байдаров.

– О тварь, ненавидимая мною! – завопил Славянов. – Да, я проносился, пропился и пал до того, что живу в одной грязной клетке с такой мерзкой обезьяной, как ты. Но я прожил огромную жизнь, я испытал сладость вдохновения, и за мною шла сказочная, царственная слава. Я заставлял людей плакать и радоваться. О, что я делал с толпой! Когда в «Макбете» в сцене с кинжалом я показывал рукой в пространство, то полторы тысячи зрителей вставали с своих мест, как один человек. А каким я был Коррадо! В Харькове полиция не дала мне доиграть последнего акта, потому что тогда разрыдались все – и мужчины и женщины, и даже на глазах у актеров, игравших со мною, я видел слезы. Пойми же, орангутанг, слезы!.. Ты, балаганный Петрушка, бесчестил швеек, обещая сделать из них опереточных примадонн, в тебя стреляли, как в бешеную собаку, когда ты убежал из опозоренных тобою спален, ты дрожал над каждой копейкой и отдавал тайком деньги в незаконный рост, и только потому не сделался под старость содержателем ссудной кассы, что тебя, когда ты стал скорбен главою, обобрала первая попавшаяся судомойка. Ты в каждом городе оставлял грязные хвосты, и есть тысячи людей, которым ты, при всей своей наглости, не посмеешь поглядеть в глаза. А я по всей России, от Архангельска до Ялты и от Варшавы до Томска, прошел с гордо поднятой головой, не чувствуя ни стыда, ни страха. Со мною губернаторы считались! Когда на Волге описали за долги мой театр и ко всем дверям приложили печати, что я сделал? Я не тронул печатей, но снял с петель все двери и все-таки дал спектакль. Кто бы мог это сделать, кроме Славянова-Райского?.. Стой, Тихон! – остановил он солдата, который в это время бережно нес к образу зажженную лампадку. – Дай закурить...

Славянов потянулся к огню, но Тихон сурово посмотрел на актера и отвел руку с лампадкой в сторону,

– Стыдитесь, господин Райский, – сказал он внушительно. – Пора бы уж и о смертном часе подумать, а вы святотатствуете. Где же это видано, чтобы от лампадки закуривали? Да еще в такой праздник?

– Ну, ну, гарниза-пуза, пошел разговаривать! – крикнул со своей кровати Михаленко. – Вот, постой, я перебью все твои лампадки. Только вонь разводишь. Идолопоклонник!..

– Эх, уж вы-ы! – безнадежно махнул рукой Тихон. – Одно слово, безбожники вы, господин Михаленко. Вот господин Райский... они хоть и выпивши, а я на них никак не надеюсь, чтобы они такое слово сказали.

Обличительная речь Тихона дала вдруг новое направление пьяным мыслям Славянова. Он умилился и со слезами полез целовать солдата.

– Тихон, душа моя!.. Добрый, старый, верный Тихон! Понимаешь ты Славянова-Райского? Жалеешь? Дай я поцелую твою честную седую голову.

– Господи, да как же нам не понимать! – расчувствовался, в свою очередь, Тихон. Он утерся рукавом и с готовностью подставил губы Славянову. Потом, с кряхтением установив лампадку и слезая с табурета, он сказал, добродушно и укоризненно покачивая головой: – А нет того чтобы отставному севастопольтцу пожертвовать на построение полдиковинки. Сами кушаете водочку, а свою верную слугу забываете.

– Тихон! Радость моя! Голуба! Все я растранижил, старый крокодил... Впрочем, постой... Там у меня, кажется, еще что-то осталось. – Он пошарил в кармане и вытащил оттуда вместе с

грязной ватой, обломками спичек, крошками табаку и другим сором несколько медных монет. – На, получай, старый воин. И знай, Тихон, – вдруг с пафосом воскликнул Славянов, ударив себя в грудь кулаком, – знай, что тебя одного дарит своей дружбой жалкая развалина того, что раньше называлось великим артистом Славяновым-Райским!

И он расплакался обильными, пьяными, истерическими слезами. Оплакивал он свою погибшую шумную жизнь, и свою сиротливую старость, и то, что его никто не понимает, и то, что его давеча так оскорбительно вывели из ресторана. Его сожители давно уже лежали под одеялами, а он все говорил и говорил, изредка обращаясь к своему соседу Стаканычу, который отвечал сонным, невнятным мычанием. И в этом неясном бреде безобразно сплетались экипажи, фраки, губернаторы, серебряные сервизы, отрывки ролей и грязная ругань. И когда он, наконец, заснул, то все еще продолжал бормотать в тяжелом, полном призраков, пьяном сне.

VI

К часу ночи на дворе поднялся упорный осенний ветер с мелким дождем. Липа под окном раскачивалась широко и шумно, а горевший на улице фонарь бросал сквозь ее ветви слабый, причудливый свет, который узорчатыми пятнами ходил взад и вперед по потолку. Лампадка перед образом теплилась розовым, кротко мерцающим сиянием, и каждый раз, когда длинный язычок огня с легким треском вспыхивал сильнее, то из угла вырисовывалось в золоченой ризе темное лицо спасителя и его благословляющая рука.

Все актеры, кроме Славянова, бредившего во сне, проснулись среди ночи и лежали молча, со страхом и тоскою в душе. Лидин-Байдаров, у которого от прежних привычек осталась только жадная любовь к сладкому, ел принесенную им днем ватрушку с вареньем и старался делать это как можно тише, чтобы не услышали соседи. Михаленко, покрывшись с головой одеялом, пугливо прислушивался к глухому и тревожному биению своего сердца. Каждый раз, когда ветер, напирая на стекла и потрясая ими, бросал в них с яростной силой брызги дождя, Михаленко глубже прятался головой в подушку и наивно, как это делают в темноте боязливые дети, закрепывал мелкими быстрыми крестами все щелочки между своим телом и одеялом. Стаканыч слез с кровати и стоял на коленях. В темноте слышались его глубокие вздохи, однообразный, непрерывный и торопливый шепот и глухой стук его лба о пол. Напротив его, все так же прямо и неподвижно вытянувшись, лежал дедушка. Глаза его медленно переходили с черного окна на нежно-розовый мерцающий свет лампадки и на тени, качавшиеся по потолку. Лицо у него было важное, спокойное и задумчивое.

Позднее других проснулся Славянов-Райский. Он был в тяжелом, грузном похмелье, с оцепеневшими руками и ногами, с отвратительным вкусом во рту. Сознание возвращалось к нему очень медленно, и каждое движение причиняло боль в голове и тошноту. Ему с трудом удалось вспомнить, где он был днем, как напился пьяным и как попал из ресторана в убежище.

Он вспомнил также, что у него в кармане пальто лежит полбутылки водки, которую он всегда, даже в самом пьяном состоянии, запасал себе на утро. Это у него была своеобразная, приобретенная долгим пьяным опытом и обратившаяся в инстинкт привычка старого алкоголика. Он встал и прошел босиком к шкапу, где висело верхнее платье. Через минуту оттуда слышалось, как задребезжало в его дрожащих руках, стуча о зубы, горлышко бутылки, как забулккала в ней жидкость и как сам Славянов закричал и зафыркал губами от отвращения.

– Райский, душечка, одолжи и мне, – молящим шепотом попросил Михаленко, – такая тоска... такая тоска...

Славянов поднял бутылку и нерешительно посмотрел сквозь нее на свет лампадки. Ему было жаль водки, но он никогда не умел отказать, если его о чем-нибудь просили.

– Эх, ну уж ладно, давай стакан, – сказал он, сморщившись.

В темноте опять заплескала жидкость и зазвенело стекло о стакан.

– Ну, вот спасибо, братик, спасибо, – говорил Михаленко. – Ффа-а-а, ожгло!.. Славный ты товарищ, Меркурий Иваныч...

– Ну ладно уж... чего уж там... Давеча я наговорил тебе неприятностей, так ты уж того... не очень сердись.

– Вот глупости. Чай, мы с тобой не чужие. Свой брат, Исакий. Ты мне, я тебе, без этого не обойдешься.

– Верно, верно, милый... именно не обойдешься, – со вздохом зашептал Славянов, усаживаясь на кровати Михаленки. – Трудно без этого. Живем мы кучей, тесно и все друг о друга тремся. Видал ты, в некоторых домах ставят такие стеклянные мухоловки с пивом? Наберется туда мух видимо-невидимо, и все они в собственном соку киснут да киснут, пока не подохнут. Так и мы, брат Саша, в своей мухоловке закисло и обозлились... А кроме того, и я особо сердит на этого идиота, Байдарова. Ну, скажи на милость, какой он нам товарищ? Какой он артист? Все равно что из грязи пуля. Другое дело, взять хоть бы нас с тобой, Сашуха... все-таки мы как-никак, а послужили театру.

– Что уж вы, Меркурий Иваныч, равняете меня с собой. Вы, можно сказать, – кит сцены, а я так... пескаришка маленький...

– Оставь, Саша. Оставь это, братец мой. У тебя тоже талантище был: теплота, юмор, свежести сколько. У теперешних механиков этого нет. Другой шерсти люди. Нутра им вовсе не дано от природы. А ты нутром играл.

– Где уж нам, Меркурий Иваныч! Наше дело маленькое. За вас вот обидно.

– Нет, нет, ты не гречи, Саша, ты этого не говори. Я ведь тебя хорошо помню в «Женитьбе Белугина». Весь театр ты тогда морил со смеху. Я стою за кулисами и злюсь: сейчас мой выход, сильное место, а ты публику в лоск уложил хохотом. «Эка, думаю, переигрывает, прохвост! Весь мой выход обгадил». А сам, понимаешь, не могу от смеха удержаться, трясусь, прыскаю – и шабаш. Вот ты как играл, Сашец! У нынешних этого не сыщешь. Шалишь!.. Но не везло тебе, Михаленко, судьбы не было.

– Что ж, Меркурий Иваныч, – согласился польщенный Михаленко, – это верно, что и меня публика хорошо принимала. Только голосу у меня нет настоящего, вот что скверно. Астма эта проклятая.

– Вот, вот, вот... я это самое и говорю. Астма или там, скажем, судьба – это все равно. Мне вот повезло, и я покатил в гору, а ты хоть и талантлив, и знаешь сцену, как никто, а тебе не поперло. Но это и не суть важно. Главное, что упали-то мы с тобой все равно в одно место, в одну и ту же отравленную мухоловку, и тут нам пришел и сундук и крышка.

– Не пили бы, так и не падали бы, Меркурий Иваныч, – с горькой насмешкой вставил Михаленко.

– Молчи, молчи, Саша, – испуганно и умоляюще зашептал Славянов, – не смейся над этим... Разве легко падать-то? Погляди на меня. Я ли не был вознесен, а теперь что? Живу на иждивении купчишки, хожу по трактирам, норовлю выпить на чужой счет, кривляюсь... Бывает ведь и мне стыдно, Саша... ох, как стыдно!.. Ведь мне, Саша, голубушка ты моя, шестьдесят пять лет в декабре стукнет. Шестьдесят пя-ать... Цифра!.. В детстве, я помню, начну, бывало, считать свои года и все радуюсь, какой я большой, сколько времени на один счет уходит. А ну-ка, посчитай теперь-то! – неудержимо зарыдал вдруг Славянов. – Дедушка ведь я, маститый старец, патриарх, а где мои внуки, где мои дети? Черт!

Темнота ночи все сильнее взвинчивала нервы Славянова, разбитые тяжелым похмельем. Он бил себя в грудь кулаками, плакал, сморкался в рубашку и, качаясь, точно от зубной боли, взад и вперед на кровати Михаленки, говорил всхлипывающим, тоскливым шепотом:

– Мира я хочу, тишины, простого мещанского счастья!.. Иду я иной раз вечером по улице и – привычка у меня такая – все в чужие окна гляжу. И вот, бывало, видишь: комнатка этакая мирная, лампа, круглый стол, самоварчик... тепло, должно быть, там... пахнет жильем, домовитостью, геранью. А кругом народ, молодой, бодрый, веселый, любящий... И старикашка тут же где-нибудь пристроился – седенький, опрятненький, благодушный. Сидит себе с черешневым чубуком, и все к нему так ласково, с почтением... А я, старый шут, стою на улице и мерзну, и плачу, и все смотрю... Слышал я и по пьесам знаю, что бывают милые, верные на всю жизнь женщины, сиделки в болезни, добрые друзья в старости. Где они, эти женщины, Михаленко? Любили, брат, и меня, – но какая это была любовь? После бенефиса поехали за город, тройки, галдеж, пьяное вранье, закулисные прибаутки, и тут же затрепанные, загаженные слова: «Люблю тебя свободною любовью! Возьми меня, я вся твоя!» Отдельный кабинет, грязь, пьяная, угарная любовь, скитание вместе по труппам, и вечно – старый, гнусный водевиль «Ревнивый муж и храбрый любовник». И вот жизнь прошла, и нет у меня во всем мире ни души. Н-ни души! Тоска, мерзость... Знаешь, Саша, – Славянов наклонился к самому уху Михаленки, и в его шепоте послышался ужас, – знаешь, вижу я теперь часто во сне, будто меня кто-то все догоняет. Бегу я

будто по комнате, и много, много этих комнат впереди, и все они заперты... И знаю я, что надо мне успеть открыть двери, вытащить ключ и запереться с другой стороны. И тороплюсь я, тороплюсь, и страшно мне до тошноты, до боли... Но ключи заржавели, не слушаются, и руки у меня, как деревянные. А «он» все ближе, все ближе... Едва успею я запереться, а «он» уж тут, рядом; напирает на двери и гремит ключом в замке... И знаю я, чувствую я, что не спастись мне от него, но бегу из комнаты в комнату, бегу, бегу, бегу...

– Эх, не скулил бы ты, Меркурий Иванович, – с безнадежным унынием перебил Михаленко.

– Но хуже всего, что гадок я себе самому, гадок! – страстным шепотом восклицал Славянов. – Отвратителен!.. Милостыней ведь живу, Христа ради... И все, все мы такие. Мертвецы ходячие, рухлядь! Старая бутафорская рухлядь! О-о-о, гнусно, гнусно мне!..

Он схватился обеими руками за ворот рубашки и разодрал ее сверху донизу. В груди у него что-то клокотало и взвизгивало, а плечи тряслись.

– Уйди ты, уйди, ради бога, Меркурий Иванович! – умолял Михаленко. – Не надо, родной... боюсь я... страшно мне...

Шлепая по полу босыми ногами, с мокрым лицом, шатаясь на ходу от рыданий, Славянов тяжело перевалился на свою кровать. Но он еще долго метался головой по подушке, и всхлипывал, и горячо шептал что-то, сморкаясь в простыню. Не спал и Лидин-Байдаров. Крошки от ватрушки набились ему под одеяло, прилипали к телу и царапались, а в голову лезли все такие скучные, ненужные и позорные мысли о прошлом. Стаканыч, намазавший на ночь грудь и поясницу бобковой мазью, кряхтел и ворочался с боку на бок. Его грыз застарелый ревматизм, который всегда с особенной силой разыгрывался в непогоду. И вместе со словами молитв и привычными мыслями о сыне в его памяти назойливо вставали отрывки из старых, забытых всем миром пьес.

Один дедушка лежал неподвижно. Его руки были сложены на груди, поверх одеяла, и не шевелились больше, а глаза были устремлены вперед с таким строгим и глубоким выражением, как будто дедушка думал о чем-то громадном и неизмеримо превышающем все человеческие помыслы. И в этих немигающих, полузакрытых глазах, не проникая в них, отражался стеклянным блеском розовый свет лампадки.

А ночь тянулась нестерпимо долго и тоскливо. Было еще темно, когда Михаленко, охваченный внезапным страхом, вдруг сел на кровати и спросил громким, дрожащим шепотом:

– Дедушка, ты спишь?

Но дедушка не ответил. В комнате была грозная, точно стерегущая кого-то тишина, а за черным окном бушевал ветер и бросал в стекла брызги дождя.

Болото

Летний вечер гаснет. В засыпающем лесу стоит гулкая тишина. Вершины огромных строевых сосен еще алеют нежным отблеском догоревшей зари, но внизу уже стало темно и сыро. Острый, жаркий, сухой аромат смолистых ветвей слабеет, зато сильнее чувствуется сквозь него приторный запах дыма, которым тянуло весь день с дальнего лесного пожарища. Неслышно и быстро опускается на землю мягкая северная ночь. Птицы замолчали с заходом солнца. Одни только дятлы еще выбивают лениво, точно сквозь сон, свою глухую, монотонную дробь.

Вольнопрактикующий землемер Жмакин и студент Николай Николаевич, сын небогатой вдовы-помещицы Сердюковой, возвращаются со съемки. Идти домой, в Сердюковку, им поздно и далеко: они заночуют сегодня в казенном лесу, у знакомого лесника – Степана. Узкая тропинка вьется между деревьями, исчезая в двух шагах впереди. Высокий и худой землемер идет, сгорбившись и опустив вниз голову, – идет тем редким, приседающим, но размашистым шагом, как ходят привычные к длинным дорогам люди: мужики, охотники и землемеры. Коротконогий, низенький и полный студент едва поспевает за ним. Он вспотел и тяжело дышит открытым ртом; белая фуражка сбита на затылок; рыжеватые спутанные волосы упали на лоб; пенсне сидит боком на мокром носу. Ноги его то скользят и разъезжаются по прошлогодней, плотно улежавшейся хвое, то с грохотом цепляются за узловатые корневища, протянувшиеся через дорогу. Землемер отлично видит это, но нарочно не убавляет шагу. Он устал, зол и голоден. Затруднения, испытываемые студентом, доставляют ему злорадное удовольствие.

Землемер Жмакин делает, по приглашению госпожи Сердюковой, упрощенный план хозяйства в ее жиденьких, потравленных скотом и вырубленных крестьянами лесных урочищах. Николай Николаевич добровольно вызвался помогать ему. Помощник он старательный и толковый, и характер у него самый удобный для компании: светлый, ровный, бесхитростный и ласковый, только в нем много еще осталось чего-то детского, что сказывается в некоторой наивной торопливости и восторженности. Землемер же, наоборот, человек старый, одинокий, подозрительный и черствый. Всему уезду известно, что он подвержен тяжелым, продолжительным запоям, и потому на работу его приглашают редко и платят скупо.

Днем у него еще кое-как ладятся отношения с молодым Сердюковым. Но к вечеру землемер обыкновенно устает от ходьбы и от крика, кашляет и становится мелочно-раздражительным. Тогда ему снова начинает казаться, что студент только притворяется, что его интересует съемка и болтовня с крестьянами на привалах, а что на самом деле он приставлен помещицей с тайным наказом наблюдать, не пьет ли землемер во время работы. И то обстоятельство, что студент так живо, в неделю, освоился со всеми тонкостями астролябической съемки, возбуждает ревнивую и оскорбительную зависть в Жмакине, который три раза проваливался, держа экзамен на частного землемера. Раздражает старика и неудержимая разговорчивость Николая Николаевича, и его свежая, здоровая молодость, и заботливая опрятность в одежде, и мягкая, вежливая уступчивость, но мучительнее всего для Жмакина сознание своей собственной жалкой старости, грубости, пришибленности и бессильной, несправедливой злости.

Чем ближе подходит дневная съемка к концу, тем ворчливее и бесцеремоннее делается землемер. Он желчно подчеркивает промахи Николая Николаевича и обрывает его на каждом шагу. Но в студенте такая бездна молодой, неисчерпаемой доброты, что он, по-видимому, совершенно не способен обижаться. В своих ошибках он извиняется с трогательной готовностью, а на угловатые выходки Жмакина отвечает оглушительным хохотом, который долго и раскатисто гуляет между деревьями. Точно не замечая мрачного настроения землемера, он засыпает его шутками и расспросами с тем же веселым, немного неуклюжим и немного назойливым добродушием, с каким жизнерадостный щенок теребит за ухо большого, старого, угрюмого пса.

Землемер шагает молча и понуро. Николай Николаевич старается идти рядом с ним, но так как он путается между деревьями и спотыкается, то ему часто приходится догонять своего спутника вприпрыжку. В то же время, несмотря на одышку, он говорит громко и горячо, с оживленными жестами и с неожиданными выкриками, от которых идет гул по заснувшему лесу.

– Я живу в деревне недолго, Егор Иваныч, – говорит он, стараясь сделать свой голос проникновенным, – и убедительно прижимает руку к груди. – И я согласен, я абсолютно согласен с вами в том, что я не знаю деревни. Но во всем, что я до сих пор видел, так много трогательного, и глубокого, и прекрасного... Ну да, вы, конечно, возразите, что я молод, что я увлекаюсь... Я и с этим готов согласиться, но, жестоковыйный практик, поглядите на народную жизнь с философской точки зрения...

Землемер презрительно пожал одним плечом, усмехнулся криво и язвительно, но продолжал молчать.

– Посмотрите, дорогой Егор Иваныч, какая страшная историческая древность во всем укладе деревенской жизни. Соха, борона, изба, телега – кто их выдумал? Никто. Весь народ скопом. Две тысячи лет тому назад эти предметы были точка в точку в таком же виде, как и теперь. Совсем так же люди тогда и сеяли, и пахали, и строились. Две тысячи лет тому назад!.. Но когда же, в какие чертовски отдаленные времена сложился этот циклопический обиход? Мы об этом не смеем даже думать, милый Егор Иваныч. Здесь мы с вами проваливаемся в бездонную пропасть веков. Мы ровно ничего не знаем. Как и когда додумался народ до своей первобытной телеги? Сколько сотен, может быть тысяч, лет ушло на эту творческую работу? Черт его знает! – вдруг крикнул во весь голос студент и торопливо передвинул фуражку с затылка на самые глаза. – Я не знаю, и никто ничего не знает... И так – все, чего только ни коснись: одежда, утварь, лапти, лопаты, прялка, решето!.. Ведь поколения за поколениями миллионы людей последовательно ломали голову над их изобретением. У народа своя медицина, своя поэзия, своя житейская мудрость, свой великолепный язык, и при этом – заметьте – ни одного имени, ни одного автора! И хотя все это жалко и скудно в сравнении с броненосцами и телескопами, но – простите – меня какие-нибудь вилы удивляют и умиляют несравненно больше!..

– Ту-ру-ру, ти-лю-лю, – запел фальшиво Жмакин и завертел рукой, подражая шарманщи-

ку. – Завели машину. Удивляюсь, как это вам не надоест: каждый день одно и то же?

– Нет, Егор Иваныч, ради бога! – заторопился студент. – Вы только послушайте, только послушайте меня. Мужик, куда он у себя ни оглянется, на что ни посмотрит, везде кругом него старая-престарая, седая и мудрая истина. Все освещено дедовским опытом, все просто, ясно и практично. А главное – абсолютно никаких сомнений в целесообразности труда. Возьмите вы доктора, судью, литератора. Сколько спорного, условного, скользкого в их профессиях! Возьмите педагога, генерала, чиновника, священника...

– Попросил бы не касаться религии, – внушительным басом заметил Жмакин.

– Ах, не в этом дело, Егор Иваныч, – нетерпеливо и досадливо замахал рукой Сердюков. – Возьмите, наконец, прокурора, художника, музыканта. Я ничего не говорю, все это лица почтенные. Но каждому из них, наверное, хоть раз приходила в голову мысль: а ведь, черт побери, так ли уж нужен человечеству мой труд, как это кажется? У мужика же все удивительно стройно и ясно. Если ты весной посеял, то зимою ты сыт. Корми лошадь, и она тебя прокормит. Что может быть вернее и проще? И вот этого самого практического мудреца извлекают за шиворот из недр его удобопонятной жизни и тычут лицом к лицу с цивилизацией. «В силу статьи такой-то и на основании кассационного решения за номером таким-то, крестьянин Иван Сидоров, нарушивший интересы чересполосного владения, приговаривается», и так далее. Иван Сидоров на это весьма резонно отвечает: «Ваше благородие, да ведь еще наши деды-прадеды пахали по эту вербу, вот и пень от нее остался». Но тогда является на сцену землемер Егор Иваныч Жмакин.

– Прошу без намеков по моему адресу, – обидчиво прервал Жмакин.

– Является... ну, скажем, землемер Сердюков, если это вам больше нравится, и изрекает: «Линия АВ, отграничивающая владения Ивана Сидорова, идет по румбу зюйд-ост, сорок градусов тридцать минут». Очевидно, что Иван Сидоров совместно с дедом и прадедом запахал чужую землю. И вот Иван Сидоров сидит в кутузке, сидит совершенно правильно, по всем статьям уложения о наказаниях, но все-таки он ровно ничего не понимает и хлопает глазами. Что значит для него ваш румб в сорок градусов, если он с молоком матери всосал убеждение, что чужой земли на свете не бывает, а что вся земля божья?..

– К чему вы все это выражаете? – угрюмо спросил Жмакин.

– Или вот еще: гонят Ивана Сидорова на военную службу, – горячо продолжал Сердюков, не слушая землемера. – И вот дядька учит его: «Доверни приклад, втяни живот, делай – рраз! Подавайся всем корпусом вперед...» Да позвольте же, господа! Я сам прослужил отечеству два месяца и охотно верю, что для военной службы эти кунштюки²⁷ необходимы. Но ведь это же для мужика чистая абракадабра, колокольня в уксусе, сапоги всмятку! Как хотите, но не может же взрослый человек, оторванный от простой, серьезной и понятной жизни, поверить вам на слово, что эти фокусы действительно необходимы и имеют разумное основание. И, конечно, он глядит на вас, как баран на новые ворота.

– Не довольно ли на сегодняшний раз, Николай Николаевич? – сказал землемер. – Мне, по правде говоря, надоела уже эта антимолия. Что-то вы такое из себя хотите изобразить, но толку у вас ничего не выходит. Какого-то донжуана из себя строите! И к чему весь этот разговор, не понимаю я.

Огибавший куст студент рысцой догнал мрачно шагавшего землемера.

– Вот вы сегодня утром говорили, что мужик глуп, что мужик ленив, мужика надо драть, мужик раздурачился. Говорили вы это с ненавистью и потому, конечно, были несправедливее, чем хотели бы. Но поймите же, дорогой Егор Иваныч, что у нас с мужиком разные измерения: он с трудом постигает третье, а мы уже начинаем предчувствовать четвертое. Сказать, что мужик глуп! Послушайте, как он говорит о погоде, о лошади, о сенокосе. Чудесно: просто, метко, выразительно, каждое слово взвешено и прилажено... Но послушайте вы того же мужика, когда он рассказывает о том, как он был в городе, как заходил в театр и как по-благородному провел время в трактире с машиной... Какие хамские выражения, какие дурацкие, исковерканные слова, что за подлый, лакейский язык. Господа, нельзя же так! – воскликнул студент, обращаясь в пространство и разводя руками с таким видом, как будто весь лес был наполнен слушателями. – Ну да, я знаю, мужик беден, невежествен, грязен... Но дайте же ему вздохнуть. У него от вечной

²⁷ Ловкие приемы, фокусы (от нем, Kunststück).

натуги грыжа, – историческая, социальная грыжа. Накормите его, вылечите, выучите грамоте, а не пришибайте его вашим четвертым измерением. Потому что я твердо уверен, что, пока вы не просветите народа, все ваши кассационные решения, румбы, нотариусы и сервитута будут для него мертвыми словами четвертого измерения!..

Жмакин вдруг резко остановился и повернулся к студенту.

– Николай Николаевич! Да прошу же я вас наконец! – воскликнул он плачущим, бабьим голосом. – Так вы много разговариваете, что терпение мое лопнуло. Не могу я больше, не желаю!.. Кажется, интеллигентный человек, а не понимаете такой простой вещи. Ну, говорили бы дома или с товарищем своим. А какой же я вам товарищ, спрашивается? Вы сами по себе, я сам по себе, и... и не желаю я этих разговоров. Имею полное право...

Николай Николаевич боком, поверх стекол пенсне, поглядел на Жмакина. У землемера было необыкновенное лицо: спереди узкое, длинное и острое до карикатурности, но широкое и плоское, если глядеть на него сбоку, – лицо без фаса, а с одним только профилем и с унылым висячим носом. И в мягком, отчетливом сумраке позднего вечера студент увидел на этом лице такое скучное, тяжелое и сердитое отвращение к жизни, что у него сердце заняло мучительной жалостью. Сразу с какой-то проникновенной, болезненной ясностью он вдруг понял и почувствовал в самом себе всю ту мелочность, ограниченность и бесцельное недоброжелательство, которые наполняли скудную и одинокую душу этого неудачника.

– Да вы не сердитесь, Егор Иваныч, – сказал он примирительно и смущенно. – Я не хотел вас обидеть. Какой вы раздражительный!

– Раздражительный, раздражительный, – с бестолковой злостью подхватил Жмакин. – Вполне станешь раздражительным. Не люблю я этих разговоров... вот что... Да и вообще, какая я вам компания? Вы человек образованный, аристократ, а я что? Серое существо – и ничего больше.

Студент разочарованно замолчал. Ему всегда становилось грустно, когда он в жизни наткнулся на грубость и несправедливость. Он отстал от землемера и молча шел за ним, глядя ему в спину. И даже эта согнутая, узкая, жесткая спина, казалось, без слов, но с мрачно выразительностью говорила о нелепо и жалко проволочившейся жизни, о нескончаемом ряде пошлых обид судьбы, об упрямом и озлобленном самолюбии...

В лесу совсем стемнело, но глаз, привыкший к постепенному переходу от света к темноте, различал вокруг неясные, призрачные силуэты деревьев. Был тихий, дремотный час между вечером и ночью. Ни звука, ни шороха не раздавалось в лесу, и в воздухе чувствовался тягучий, медвяный травяной запах, плывший с далеких полей.

Дорога шла вниз. На повороте в лицо студента вдруг пахнуло, точно из глубокого погреба, сырым холодком.

– Осторожнее, здесь болото, – отрывисто и не оборачиваясь сказал Жмакин.

Николай Николаевич только теперь заметил, что ноги его ступали неслышно и мягко, как по ковру. Вправо и влево от тропинки шел невысокий, путаный кустарник, и вокруг него, цепляясь за ветки, колеблясь и вытягиваясь, бродили разорванные неясно-белые клочья тумана. Станный звук неожиданно пронесся по лесу. Он был протяжен, низок и гармонично-печален и, казалось, выходил из-под земли. Студент сразу остановился и затрясся на месте от испуга.

– Что это, что? – спросил он дрожащим голосом.

– Выпь, – коротко и угрюмо ответил землемер. – Идемте, идемте. Это плотина.

Теперь ничего нельзя было разобрать. И справа и слева туман стоял сплошными белыми мягкими пеленами. Студент у себя на лице чувствовал его влажное и липкое прикосновение. Впереди равномерно колыхалось темное расплывающееся пятно: это была спина шедшего впереди землемера. Дороги не было видно, но по сторонам от нее чувствовалось болото. Из него подымался тяжелый запах гнилых водорослей и сырых грибов. Почва плотины пружинилась и дрожала под ногами, и при каждом шаге где-то сбоку и внизу раздавалось жирное хлопанье просачивающейся тины.

Землемер вдруг остановился. Сердюков с размаху уткнулся лицом ему в спину.

– Тише. Эк вас несет! – сердито огрызнулся Жмакин. – Подождите, я покричу лесника. Еще ухнешь, пожалуй, в эту чертову трясины.

Он приложил ладони трубой ко рту и закричал протяжно:

– Степ-а-ан!

Уходя в мягкую бездну тумана, голос его звучал слабо и бесцветно, точно он отсырел в мокрых болотных испарениях.

– А, черт его знает, куда тут идти! – злобно проворчал, стиснув зубы, землемер. – Впору хоть на четвереньках ползти. Степ-а-ан! – крикнул он еще раз раздраженным и плачущим голосом.

– Степан! – поддержал отрывистым и глухим басом студент.

Они долго кричали, по очереди, кричали до тех пор, пока в страшном отдалении от них туман не засветился в одном месте большим, желтым, бесформенным сиянием. Но это светящееся мутное пятно, казалось, не приближалось к ним, а медленно раскачивалось влево и вправо.

– Степан, ты, что ли? – крикнул в эту сторону землемер.

– Гоп-гоп! – отозвался из бесконечной дали задущенный голос. – Никак Егор Иваныч?

Мутное пятно в одно мгновение приблизилось, разрослось, весь туман вокруг сразу засиял золотым дымным светом, чья-то огромная тень заметалась в освещенном пространстве, и из темноты вдруг вынырнул маленький человек с жестяным фонарем в руках.

– Так и есть, он самый, – сказал лесник, подымая фонарь на высоту лица. – А это кто с вами? Никак сердюковский барчук? Здравия желаем, Миколай Миколаич. Должно, ночевать будете? Милости просим. А я-то думаю себе: кто такой кричит? Ружье захватил на всякий случай.

В желтом свете фонаря лицо Степана резко и выпукло выделялось из мрака. Все оно сплошь заросло русыми, курчавыми, мягкими волосами бороды, усов и бровей. Из этого леса выглядывали только маленькие голубые глаза, вокруг которых лучами расходились тонкие морщинки, придававшие им всегдашнее выражение ласковой, усталой и в то же время детской улыбки.

– Так пойдемте, – сказал Степан и, повернувшись, вдруг исчез, как будто растаял в тумане. Большое желтое пятно его фонаря закачалось низко над землей, освещая кусочек узкой тропинки.

– Ну, что, Степан, все еще трясет тебя? – спросил Жмакин, идя вслед за лесником.

– Все трясет, батюшка Егор Иваныч, – ответил издали голос невидимого Степана. – Днем еще крепимся понемногу, а как вечер, так и пошло трясти. Да ведь, Егор Иваныч, ничего не поделаешь... Привыкли мы к этому.

– А Марье не лучше?

– Где уж там лучше. И жена и ребятишки все извелись, просто беда. Грудной еще ничего покуда, да к ним, конечно, не пристанет... А мальчонку, вашего крестника, на прошлой неделе свезли в Никольское. Это уж мы третьего по счету схоронили... Позвольте-ка, Егор Иваныч, я вам посвечу. Поосторожнее тут.

Сторожка лесника, как успел заметить Николай Николаевич, была поставлена на сваях, так что между ее полом и землею оставалось свободное пространство, аршина в два высоту. Раскосая, крутая лестница вела на крыльцо, Степан светил, подняв фонарь над головой, и, проходя мимо него, студент заметил, что лесник весь дрожит мелкой, ознобной дрожью, ежась в своем сером форменном кафтане и пряча голову в плечи.

Из отворенной двери пахло теплым, прелым воздухом мужичьего жилья вместе с кислым запахом дубленых полушубков и печеного хлеба. Землемер первый шагнул через порог, низко согнувшись под притолкой.

– Здравствуй, хозяйюшка! – сказал он приветливо и развязно.

Высокая, худая женщина, стоявшая у открытого устья печи, слегка повернулась в сторону Жмакина, сурово и безмолвно поклонилась, не глядя на него, и опять закопошилась у шестка. Изба у Степана была большая, но закопченная, пустая и холодная и потому производила впечатление заброшенного, нежилого места. Вдоль двух темных бревенчатых стен, сходясь к переднему углу, шли узкие и высокие дубовые скамейки, неудобные ни для лежания, ни для сиденья. Передний угол был занят множеством совершенно черных образов, а вправо и влево висели, приклеенные к стенам хлебным мякишем, известные лубочные картины: страшный суд со множеством зеленых чертей и белых ангелов с овечьими лицами, притча о богатом я Лазаре, ступени человеческой жизни, русский хоровод. Весь противоположный угол, тот, что был сейчас же влево от входа, занимала большая печь, разъехавшаяся на треть избы. С нее глядели, свесившись вниз, две детские головки, с такими белыми, выгоревшими на солнце волосами, какие бывают только у деревенских ребятишек. Наконец у задней стены стояла широкая, двухспальная кровать

с красным ситцевым пологом. На ней, далеко не доставая ногами до пола, сидела девочка лет десяти. Она качала скрипучую детскую люльку и с испугом в огромных светлых глазах глядела на вошедших.

В углу, перед образом, стоял пустой стол, и над ним на металлическом пруте спускалась с потолка висячая убогая лампа с черным от копоти стеклом. Студент присел около стола, и тотчас же ему стало так скучно и тяжело, как будто бы он уже пробыл здесь много-много часов в томительном и вынужденном бездействии. От лампы шел керосиновый чад, и запах его вызвал в уме Сердюкова какое-то далекое, смутное, как сон, воспоминание. Где и когда это было? Он сидел один в пустой, сводчатой, гулкой комнате, похожей на коридор; пахло едким чадом керосиновой лампы; за стеной с усыпляющим звоном, капля по капле падала вода на чугунную плиту, а в душе Сердюкова была такая длительная, серая, терпеливая скука.

– Поставь нам самоварчик, Степан, и взбодри яишенку, – приказал Жмакин.

– Сейчас, батюшка Егор Иванович, сейчас, – засуетился Степан. – Марья, – неуверенно обратился он к жене, – как бы ты там постаралась самовар? Господа будут чай пить.

– Да уж ладно. Не толкись, толкач, – с неудовольствием отозвалась Марья.

Она вышла в сени. Землемер покрестился на образа и сел за стол. Степан поместился поодаль от господ, на самом краю скамейки, там, где стояли ведра с водой.

– А я думаю себе, кто такой кричит? – начал добродушно Степан. – Уж не лесничий ли наш? Да нет, думаю, куда ему ночью, – он ночью и дороги сюда не найдет. Чудной он у нас барин. Непременно чтобы ему лесники ружьем на-караул делали, по-солдатски. Первое для него удовольствие. Выйдешь с ружьем и, конечно, рапортуешь: «Ваше-скородие, во вверенном мне обходе чернятинской лесной дачи все обстоит благополучно...» Ну, а, впрочем, барин ничего, справедливый. А что касается, что девок он портит, ну это, конечно, не наше дело...

Он замолчал. Слышно было, как рядом, в сенях, Марья со звоном накладывала угли в самовар, как на печке громко дышали дети. Люлька продолжала скрипеть монотонно и жалобно. Сердюков вгляделся внимательнее в лицо девочки, сидевшей на кровати, и оно поразило его своею болезненною красотой и необычайным, непередаваемым выражением. Черты этого лица, несмотря на некоторую одутловатость щек, были так нежны и тонки, что казались нарисованными без теней и без красок на прозрачном фарфоре, и тем ярче выступали среди них неестественно большие, светлые, прекрасные глаза, которые глядели с задумчивым и наивным удивлением, как глаза у святых девственниц на картинах прерафаэлитов.

– Как тебя зовут, красавица? – спросил ласково студент.

Большеглазая девочка закрыла лицо руками и быстро спряталась за полог.

– Боится. Ну чего ты, глупая? – сказал Степан, точно извиняясь за дочь. Он неловко и добродушно улыбнулся, отчего все его лицо ушло в бороду и стало похоже на свернувшегося клубком ежа. – Варей ее звать. Да ты не бойся, дурочка, барин добрый, – успокаивал он девочку.

– И она тоже больна? – спросил Николай Николаевич.

– Что-с? – переспросил Степан. Густая щетина на его лице разошлась, и опять из нее выглянули добрые усталые глаза. – Больная, вы спрашиваете? Все мы тут больные. И жена, и эта вот, и те, что на печке. Все. Во вторник третье дитя хоронили. Конечно, местность у нас сырая, эта главное. Трясемся вот, и шабаш!..

– Лечились бы, – сказал, покачав головой, студент. – Зайди как-нибудь ко мне в Сердюковку, я хины дам.

– Спасибо, Миколай Миколаевич, дай вам бог здоровья. Пробовали мы лечиться, да что-то ничего не выходит, – безнадежно развел руками Степан. – Трое вот, конечно, умерли у меня... Главная сила, мокреть здесь, болото, ну и дух от него тяжелый, ржавый.

– Отчего же вы не переведетесь куда-нибудь в другое место?

– Чего-с? Да, в другое место, вы сказываете? – опять переспросил Степан. Казалось, он не сразу понимал то, что ему говорят, и с видимым усилием, точно стряхивая с себя дремоту, направлял на слова Сердюкова свое внимание. – Оно бы, барин, чего лучше перевестись. Да ведь все равно кому-нибудь и здесь жить надо. Дача, конечно, аграпатная, и без лесника никак невозможно. Не мы – так другие. До меня в этой самой сторожке жил лесник Галактион, трезвый был такой человек, самостоятельный... Ну, конечно, похоронил сначала двоих ребят, потом жену, а потом и сам помер. Я так полагаю, Миколай Миколаич, что это все равно, где жить. Уж батюшка, царь небесный, он лучше знает, кому где надлежит жить и что делать.

Марья вошла с самоваром, отворив и затворив за собою дверь локтем.

– Уселся, трутень безмедовый! – накинулась она на Степана. – Подай хоть чашки-то!..

Она с такою силой поставила на стол самовар, точно хотела бросить его. Лицо у нее было не по летам старое, изможденное, землистого цвета; на щеках сквозь кору мелких, частых морщин горел нездоровый кирпичный румянец, а глаза неестественно сильно блестели. С таким же сердитым видом она швырнула на стол чашки, блюдечки и каравай хлеба.

Сердюков отказался от чая. Он сидел расстроенный, недоумевающий, удрученный всем, что он видел и слышал сегодня. Мелочное, бессильно-язвительное недоброжелательство землемера, тихая покорность Степана перед таинственной и жестокой судьбой, молчаливое раздражение его жены, вид детей, медленно, один за другим, умирающих от болотной лихорадки, – все это сливалось в одно гнетущее впечатление, похожее на болезненную, колючую, виноватую жалость, которую мы чувствуем, глядя пристально в глаза умной больной собаки или в печальные глаза идиота, которая овладевает нами, когда мы слышим или читаем про добрых, ограниченных и обманутых людей. И здесь, казалось Сердюкову, в этой бедной, узкой и скучной жизни, был чей-то злой и несправедливый обман.

Землемер молча пил чашку за чашкой и жадно ел хлеб, откусывая прямо от ломтя большими полукруглыми кусками. Во время еды связки сухожилий ходили у него под скулами, точно пучки струн, обтянутых тонкою кожей, а глаза глядели равнодушно и тускло, как глаза жующего животного. Из всей семьи только один Степан согласился, после долгих уговоров, выпить чашку чаю. Он пил ее долго и шумно, дуя на блюдечко, вздыхая и с треском грызя сахар. Окончив чай, он перекрестился, перевернул чашку вверх дном, а оставшийся у него в руках крошечный кусочек сахара бережливо положил обратно в засиженную мухами жестяную коробочку.

Вяло и тоскливо тянулось время, и Сердюков думал о том, как много еще будет впереди скучных и длинных вечеров в этой душной избе, затерявшейся одиноким островком в море сырого, ядовитого тумана. Потухавший самовар вдруг запел тонким воющим голосом, в котором слышалось привычное безысходное отчаяние. Люлька не скрипела больше, но в углу за печкой однообразно, через правильные промежутки, кричал, навевая дремоту, сверчок. Девочка, сидевшая на кровати, уронила руки между колен и задумчиво, как очарованная, глядела на огонь лампы. Ее громадные, с неземным выражением глаза еще больше расширились, а голова склонилась набок с бессознательной и покорной грацией. О чем думала она, что чувствовала, глядя так пристально на огонь? Временами ее худенькие ручки тянулись в Долгой, ленивой истоме, и тогда в ее глазах мелькала на мгновение странная, едва уловимая улыбка, в которой было что-то лукавое, нежное и ожидающее: точно она знала, тайком от остальных людей, о чем-то сладком, болезненно-блаженном, что ожидало ее в тишине и в темноте ночи. И в голову студента пришла странная, тревожная, почти суеверная мысль о таинственной власти болезни над этой семьей. Глядя в необыкновенные глаза девочки, он думал о том, что, может быть, для нее не существует обыкновенной, будничной жизни. Медленно и равнодушно проходит для нее длинный день, с его однообразными заботами, с его беспокойным шумом и суетой, с его назойливым светом. Но наступает вечер, и вот, вперив глаза в огонь, девочка томится нетерпеливым ожиданием ночи. А ночью дух неизлечимой болезни, измозживший слабое детское тело, овладевает ее маленьким мозгом и окутывает его дикими, мучительно-блаженными грезами...

Где-то давным-давно Сердюков видел сепию известного художника. Картина эта так и называлась «Малярия». На краю болота, около воды, в которой распустились белые кувшинки, лежит девочка, широко разметав во сне руки. А из болота вместе с туманом, теряясь в нем легкими складками одежды, подымается тонкий, неясный призрак женской фигуры с огромными дикими глазами и медленно, страшно медленно тянется к ребенку. Сердюков вспомнил вдруг эту забытую картину и тотчас же почувствовал, как мистический страх холодною щеткой прополз у него по спине от затылка до поясицы.

– Ну-с, в Америке такой обычай: посидят, посидят, да и спать, – сказал землемер, вставая со стула. – Стели-ка нам, Марья.

Все поднялись с своих мест. Девочка заложила за голову сцепленные пальцы рук и сильно потянулась всем телом. Она зажмурила глаза, но губы ее улыбались радостно и мечтательно. Зевая и потягиваясь, Марья принесла две больших охапки сена. С лица ее сошло сердитое выражение, блестящие глаза смотрели мягче, и в них было то же странное выражение нетерпеливого и томного ожидания.

Покуда она сдвигала лавки и стелила на них сено, Николай Николаевич вышел на крыльцо. Ни впереди, ни по сторонам ничего не было видно, кроме плотного, серого, влажного тумана, и высокое крыльцо, казалось, плавало в нем, как лодка в море. И когда он вернулся обратно в избу, то его лицо, волосы и одежда были холодны и мокры, точно они насквозь пропитались едким болотным туманом.

Студент и землемер легли на лавки, головами под образа и ногами врозь. Степан устроился на полу, около печки. Он потушил лампу, и долго было слышно, как он шептал молитвы и, кряхтя, укладывался. Потом откуда-то прошмыгнула на кровать Марья, бесшумно ступая босыми ногами. В избе было тихо. Только сверчок однообразно, через каждые пять секунд, издавал свое монотонное, усыпляющее цыркание, да муха билась об оконное стекло и настойчиво жужжала, точно повторяя все одну и ту же докучную, бесконечную жалобу.

Несмотря на усталость, Сердюков не мог заснуть. Он лежал на спине с открытыми глазами и прислушивался к осторожным ночным звукам, которые в темноте, во время бессонницы, приобретают такую странную отчетливость. Землемер заснул почти мгновенно. Он дышал открытым ртом, и казалось, что при каждом вздохе у него в горле лопалась тоненькая перепонка, сквозь которую быстро и сразу прорывался задержанный воздух. Девочка, лежавшая на кровати рядом с матерью, вдруг проговорила торопливо и неясно длинную фразу... Двое детей на печке дышали часто и усиленно, точно стараясь сдунуть со своих губ палящий лихорадочный зной... Степан тихо, протяжно стонал при каждом вздохе.

– М-а-а-мка, пи-и-ить! – капризно и сонно запросил детский голос.

Марья послушно вскочила с кровати и зашлепала босыми ногами к ведру. Студент слышал, как заплескалась вода в железном ковше и как ребенок долго и жадно пил большими, громкими глотками, останавливаясь, чтобы перевести дух. И опять все стихло. Размеренно лопалась в груди землемера тонкая перепонка, жалобно билась о стекло муха, и часто, часто, как маленькие паровозики, дышали детские грудки. Старшая девочка вдруг проснулась и села на кровати. Она долго силилась что-то выговорить, но не могла и только стучала зубами в страшном ознобе. «Хо-о-ло-дно!» – расслышал, наконец, Сердюков прерывистые, заикающиеся звуки. Марья со вздохами и нежным шепотом укутала девочку тулупом, но студент долго еще слышал в темноте сухое и частое шелканье ее зубов.

Сердюков напрасно употреблял все знакомые ему средства, чтобы уснуть. Считал он до ста и далее, повторял знакомые стихи и *ju's'y*²⁸ из пандектов, старался представить себе блестящую точку и волнующуюся поверхность моря. Но испытанные средства не помогали. Кругом часто и жарко дышали больные груди, и в душной темноте чудилось таинственное присутствие кровожадного и незримого духа, который, как проклятие, поселился в избе лесника.

Около кровати заплакал ребенок. Мать спросонья толкнула люльку и, сама борясь с дремотой, запела под жалобный скрип веревок старинную колыбельную песню:

Аа-аа-аа-а!
И все лю-ю-ди-и спят,
И все зве-е-ри-и спят...

Лениво и зловеще раздавалась в тишине, переходя из полутона в полутон, эта печальная, усыпляющая песня, и чем-то древним, чудовищно далеким веяло от ее наивной, грубой мелодии. Казалось, что именно так, хотя и без слов, должны были петь загадочные и жалкие полулюди на заре человеческой жизни, глубоко за пределами истории. Вымирающие, подавленные ужасами ночи и своею беспомощностью, сидели они голые в прибрежных пещерах, у первобытного огня, глядели на таинственное пламя и, обхватив руками острые колени, качались взад и вперед под звуки унылого, бесконечно долгого, воющего мотива.

Кто-то постучал снаружи в окно, над самой головой студента, который вздрогнул от неожиданности. Степан поднялся с полу. Он долго стоял на одном месте, чмокал губами и, точно жалея расстаться с дремотой, лениво чесал грудь и голову. Потом, сразу очнувшись, он подошел к окну, прильнул к нему лицом и крикнул в темноту:

²⁸ Здесь: законы (*лат.*).

– Кто там?

– Гу-у-у, – глухо, через стекло, загудел чей-то голос.

– В Кислинской? – спросил вдруг Степан невидимого человека. – Ага, слышу. Поезжай с богом, я сейчас.

– Что? Что такое, Степан? – тревожно спросил студент.

Степан шарил наугад рукой в печке, ища спичек.

– Эх... идтить надо-ть, – сказал он с сожалением. – Ну, да ничего не поделаешь... Пожар, видишь, перекинулся к нам в Кислинскую дачу, так вот лесничий велел всех лесников согнать... Сейчас объездчик приезжал верхом.

Вздыхая, кряхтя и позевывая, Степан зажег лампу и оделся. Когда он вышел в сени, Марья быстро и легко скользнула с кровати и пошла затворить за ним двери. Из сеней вдруг ворвался в нагретую комнату вместе с холодом, точно чье-то ядовитое дыхание, гнилой, приторный запах тумана.

– Взял бы фонарь-то с собою, – сказала за дверями Марья.

– Чего там! С фонарем еще хуже дорогу потеряешь, – ответил глухо, точно из-под полу, спокойный голос Степана.

Опершись подбородком о подоконник, Сердюков прижался лицом к стеклу. На дворе было темно от ночи и серо от тумана. Из отверстий, которые оставались между рамой и плохо пригнанными стеклами, дул острыми, тонкими струйками холодный воздух. Под окном слышались тяжелые торопливые шаги Степана, но его самого не было видно, – туман и ночь поглотили его. Без рассуждений, без жалоб, разбитый лихорадкой, он встал среди ночи и пошел в эту сырую тьму, в это ужасное, таинственное безмолвие. Здесь было что-то совершенно непонятное для студента. Он вспомнил сегодняшнюю вечернюю дорогу, мутно-белые завесы тумана по сторонам плотины, мягкое колебание почвы под ногами, низкий протяжный крик выпи, – и ему стало нестерпимо, по-детски жутко. Какая загадочная, невероятная жизнь копошилась по ночам в этом огромном, густом, местами бездонном болоте? Какие уродливые гады извивались и ползали в нем между мокрым камышом и корявыми кустами вербы? А Степан шел теперь через это болото совсем один, тихо повинувшись судьбе, без страха в сердце, но дрожа от холода, от сырости и от пожиравшей его лихорадки, от той самой лихорадки, которая унесла в могилу трех его детей и, наверное, унесет остальных. И этот простосердечный человек, с его наеженной бородой и короткими, усталыми глазами, был теперь непостижим, почти жуток для Сердюкова.

На студента нашло тяжелое, чуткое забытье. Он видел бледные, неясные образы лиц и предметов и в то же время сознавал, что спит, и говорил себе: «Ведь это сон, это мне только кажется...» В смутных и печальных грезах мешались все те же самые впечатления, которые он переживал днем: съемка в пахучем сосновом лесу, под солнечным припеком, узкая лесная тропинка, туман по бокам плотины, изба Степана и он сам с его женой и детьми. Снилось также Сердюкову, что он горячо, до боли в сердце, спорит с землемером. «К чему эта жизнь? – говорит он со страстными слезами на глазах. – Кому нужно это жалкое, нечеловеческое прозябание? Какой смысл в болезнях и в смерти милых, ни в чем не повинных детей, у которых высасывает кровь уродливый болотный вампир? Какой ответ, какое оправдание может дать судьба в их страданиях?» Но землемер досадливо морщился и отворачивал лицо. Ему давно надоели философские разговоры. А Степан стоял тут же и улыбался ласково и снисходительно. Он тихо покачивал головой, как будто жалея этого нервного и доброго юношу, который не понимает, что человеческая жизнь скучна, бедна и противна и что не все ли равно, где умереть – на войне или в путешествии, дома или в гнилой болотной трясине?

И когда Сердюков очнулся, то ему показалось, что он не спал, а только думал упорно и беспорядочно об этих вещах. На дворе уже начиналось утро. В тумане по-прежнему нельзя было ничего разобрать, но он был уже белого, молочного цвета и медленно колебался, как тяжелая, готовая подняться занавесь.

Сердюкову вдруг жадно, до страдания, захотелось увидеть солнце и вздохнуть ясным, чистым воздухом летнего утра. Он быстро оделся и вышел на крыльцо. Влажная волна густого едкого тумана, хлынув ему в рот, заставила его раскашляться. Низко нагибаясь, чтобы различить дорогу, Сердюков перебежал плотину и быстрыми шагами пошел вверх. Туман садился ему на лицо, смачивал усы и ресницы, чувствовался на губах, но с каждым шагом дышать становилось легче и легче. Точно карабкаясь из глубокой и сырой пропасти, взбежал, наконец, Сердюков на

высокий песчаный бугор и задохнулся от прилива невыразимой радости. Туман лежал белой колыхающейся, бесконечною гладью у его ног, но над ним сияло голубое небо, шептались душистые зеленые ветви, а золотые лучи солнца звенели ликующим торжеством победы.

Трус

I

Шабаш только что окончился, но в винном погребе Айзика Рубинштейна было уже так тесно, что запоздалые посетители не находили, где присесть, и пили, стоя около чужих столиков. Сквозь туман испарений, выдыхаемых толпою, сквозь синие слоистые облака табачного дыма огни висячих ламп казались желтыми, расплывчатыми пятнами, а на каменных ноздреватых сводах погреба блестела каплями сырость. Двое прислужников, в черных передниках и кожаных нарукавниках, едва успевали разносить по столам мутное бессарабское вино, которое сам Рубинштейн, стоя за прилавком, цедил из двух больших бочек в графины. Это вино приятно было пить, особенно после острого козьего сыра, подававшегося к каждому графину, но, выпитое в большом количестве, оно кидалось в голову, делало человека крикливым и вспыльчивым и толкало к ссорам. Посетители говорили между собою, что Айзик настаивает это вино на табаке пополам с беленою, но все-таки продолжали ходить в его погреб, который был биржей и клубом для еврейского населения маленького пограничного городишки.

Жаргонный говор, то стремительный и раскатистый в середине фраз, то завывающий на окончаниях, несся отовсюду, сопровождаемый яркой мимикой и оживленными, преувеличенными жестами. Со стороны можно было подумать, что в погребе разгорелась общая ссора и что все посетители говорят одновременно, не слушая и стараясь перекричать друг друга. Но этот гвалт был в заведении Айзика самым обычным явлением.

Кто-то застучал ладонью по столу, как это часто делают в синагоге, чтобы прекратить шум.

– Ша! – выкрикнул резко и требовательно чей-то голос.

И десятки рук также застучали по столам, и со всех сторон нетерпеливые голоса подхватили это восклицание:

– Ша!..

На середину погреба вышло двое бродячих актеров. Один из них был небрежно и грубо загримирован стариком: куски ваты, приклеенные под носом, изображали усы, такие же белые комки спускались от щек и подбородка длинными закрученными висюльками. И все-таки, несмотря на свое убожество, этот наивный грим придавал голове актера странное и трогательное сходство с лицами ветхозаветных пророков. Длинный лапсердак старика, умышленно разорванный и заплатанный во многих местах, был в талии обмотан красным кушаком. Другой актер, рослый мужчина с короткой бородой и равнодушно-наглыми, влажными, большими глазами, был без грима и держался несколько позади старика.

– Ша!.. Тихо!.. – крикнул из-за прилавка Айзик Рубинштейн и звонко шлепнул ладонью по бочке. Шум сразу упал, перейдя в густое, протяжное гуденье.

– Это Цирельман!.. Старый Герш Цирельман, – передавали от стола к столу. – Цирельман будет давать представление.

Черные курчавые головы, в картузах и ушастых меховых шапках, повернулись назад, туловища жадно вытянулись, черные пламенные глаза с напряженным ожиданием впились в актеров.

Цирельман поднял кверху руки, отчего рукава лапсердака сползли вниз и обнажили худые, костлявые, красные кисти, закинул назад голову и возвел глаза к закопченному потолку. Из груди его вылетел сиплый, но высокий и дрожащий звук, который долго и жалобно вибрировал под низкими сводами, и когда он, постепенно слабея, замер, то слышно было, как в погребе быстро затихали, подобно убегающей волне, последние разговоры. И тотчас же в сыром, тяжелом воздухе наступила чуткая тишина. Старик медленно и громко вздохнул, уронил голову набок и беспомощно, с усталым видом, бросил руки вдоль тела. Постояв так несколько секунд и точно собравшись с силами, он горестно замотал головой и запел тихим, стонущим речитативом, с долгими паузами, во время которых было слышно, как шипел керосин в лампах:

– Благословен бог наш, бог сильный, приведший меня к порогу этого дома... О, как труден был мой путь! Какие знойные дни, какие страшные ночи!.. Острые камни ранили мои ноги, колючие шипы рвали мои одежды... Но вот наконец эта мирная кровля, под которой живет мой сын, мой возлюбленный, прекрасный первенец Абрам. Его сердце нежнее, чем цветок яблони... Он омоет горящие ноги старого отца, он оденет его в лучшие одежды... Вот я стучу в твои двери, сын мой. Слышит ли твоя душа, кто стоит у порога? Спешите же, отвори скорее, любимейший из моих сынов! Стоявший сзади чернобородый мужчина засунул руки в карманы панталон и, безучастно закрывши глаза, пропел заученные слова:

– Кто там стучит у ворот? Ночь холодна, я лежу в постели и не выйду наружу.

– О сын мой, разве твоя душа не дрожит и не рвется мне навстречу? Это я – тот, кто дал тебе жизнь и свет. Это я, твой несчастный, больной, старый отец. Отвори же, отвори скорее: на улицах голодные псы воют на луну, а мои слабые ноги подкашиваются от усталости...

Он замолчал, тихо и скорбно покачивая головой. После первых же фраз слушатели привыкли к глухому и сиплому тембру его голоса и теперь глядели на Цирельмана не отрываясь, захваченные словами старой национальной мелодрамы. Убогая обстановка не мешала этим страстным подвижным натурам, жадным до всяких театральным зрелищ, видеть в своем пылком восточном воображении: и пустынную улицу, озаренную луной, и белый домик с каменной оградой, и резкие, черные тени деревьев на земле и на стенах.

Сын наконец узнал отца и отворил двери своего жилища. Ветхозаветный пророк весь дрожал от волнения, и вместе с ним тряслись и прыгали белые, закрученные космы его бороды.

– О, мое сокровище!.. Тот час, когда я впервые увидел тебя слабым и беспомощным на руках твоей матери, не был для меня так сладок, как этот, когда я снова прижимаю твою прекрасную голову к своей груди, – говорил Цирельман нараспев, рыдающим голосом.

Но чернобородый мужчина оставался непоколебимым. Он не вынимал рук из карманов и, пропев без всякого выражения свою реплику, отворачивался в сторону, сплевывая и со скучающим видом обводил зрителей наглыми, воловьими глазами. Впрочем, и по пьесе, представлявшей собою нечто вроде еврейского «Короля Лира», следовало, что сын вовсе уже не так был рад свиданию с отцом. Дом его переполнен уважаемыми, богатыми гостями, сон которых нельзя тревожить ради пришельца. Кроме того, Абрам недавно женился на красивой, знатной, изнеженной женщине: ее, наверно, стеснит неожиданное посещение оборванного, больного старика. Пусть отец уходит назад, в свой родной город. Там его знают, там его должна поддержать община.

Между отцом и сыном происходит драматическое объяснение. Сын – человек нового поколения, он беззаботно относится к строгой вере предков, не исполняет священных обрядов старины, в его черствой, коммерческой душе нет уже места для нежных и благодарных сыновних чувств. Он с утра и до вечера трудится, промышляя кусок хлеба для себя и для семьи, и не может делиться с лишним человеком. Нет! Пускай отец возвращается назад, в свой родной город: здесь для него не найдется угла!..

Обо всем этом второй актер сообщал с полным равнодушием, медленно покачивая туловище налево и направо. Но Цирельман уже не нуждался в его поддержке. С каждой фразой его голос крепнул и в нем все сильнее, как рокот металлических струн, трепетала древняя, многовековая библейская скорбь, которая, точно плач по утерянном Иерусалиме, рыдает с такой неутолимой и горестной силой во всех еврейских молитвах и песнях.

– О, горе, горе мне! – стонал Цирельман, и его протянутые вперед руки тряслись, и длинная белая борода вздрагивала. – Плюнь в мои седые волосы, брось грязью в мое старое лицо!.. Зачем я родил тебя!.. Кто на свете испытал горе, равное моему?.. Глаза его широко раскрылись и выкатились наружу из орбит, а белки их налились кровью и слезами, побледневшие губы искривились, голос то опускался до хриплого, трагического шепота, то переходил в срывающиеся вопли, похожие и на завыванье и на кашель. Конечно, эта декламация была преувеличена и, пожалуй, даже нелепа, но зрители были так увлечены и очарованы драматической сценой, что незаметно для самих себя повторяли все исступленные движения Цирельмана. Они сжимали кулаки, когда актер бил себя в грудь, и нервно потряхивали головами, когда он в отчаянии размахивал своей ватной бородой. Их одинаково волновали и страстная игра Цирельмана, и трогательность старого, давно знакомого сюжета, и отголоски священного плача, звучавшего в речитативах.

Старик понял наконец, что, найдя сына, он в то же время потерял его.

– Я уйду навсегда из твоего дома! – выкрикивал Цирельман, задыхаясь, и его тонкие, длинные пальцы судорожно рвали ворот лапсердака. – Я уйду и не призову на твою голову отцовского проклятия, которому внимает сам Иегова; но знай, что со мною уходит твое счастье и твой спокойный сон. Прощай, Абрам, но запомни навсегда мои последние слова: в тот день, когда твой сын прогонит тебя от порога, ты вспомнишь о своем отце и заплачешь о нем...

Цирельман давно уже кончил, но зрители все так же молча, неподвижно и напряженно, затаив дыхание и полуоткрыв рты, глядели на него. И так велико было очарование этих бедных, простых и горячих сердец, что они с трудом опомнились только тогда, когда Цирельман, спокойно и заботливо сняв усы и бороду, спрятал их в карман и медленно стал стаскивать с плеч заплатанный лапсердак. Говор, смех, восклицания и стук сразу хлынули со всех сторон и наполнили погреб. В эту минуту каждый зритель позабыл о том, что Герш Цирельман – пустой, ни к чему не способный человек, представитель презираемой профессии, старый пьяница, которого из-за его порока не держали ни в одной труппе. В черных глазах, устремленных на него отовсюду, блестел искренний, еще не успевший простыть, признательный восторг.

Без костюма и грима Цирельман оказался невысоким, коренастым человеком, с бритым, старым и желтым, точно изжеванным, актерским лицом и курчавыми волосами, на которых седина лежала сверху, как будто они были припудрены. Глаза под взъерошенными, неровными бровями были почти без ресниц и носили суровый, беспокойный и печальный оттенок, присущий взгляду привычных пьяниц. Айзик Рубинштейн, хозяин погреба, толстый, веселый и чувствительный плут, был растроган больше других. Со смеющимися, но еще мокрыми от слез глазами, он похлопал Цирельмана по плечу и сказал:

– Очень хорошо, прекрасно исполнено! Вы, Герш, имеете получить с меня двадцать грошей за представление. Но я знаю, что вам будет приятнее иметь полквартиры белого вина, которое вы всегда требуете. Считайте его за мною!

С тарелкой в руках Цирельман обошел все столики, и каждый зритель бросал ему копейку или две, добровольно оплачивая только что пережитые сильные ощущения. Те, у кого не было мелочи, клали дешевые папиросы. Даже известный своей скупостью Меер Ковалев, богатый шумклер²⁹, положил на тарелку пятак.

– Видите, Герш, я ложу вам десять грошей, – сказал он торжественно, – и беру сдачи... одна... три... четыре... Смотрите, я беру назад восемь грошей... А одну копейку вы можете оставить себе. Вы отличный актер, Цирельман!

Все дружелюбно улыбались Гершу, обнимали его за спину и трепали по плечам; многие звали его присесть к своим столикам. Глаза Герша были еще красны, а на висках и на конце носа стояли мелкие и круглые, как бисер, капли пота; но нахмуренное лицо его хранило отчужденное и высокомерное выражение, свойственное настоящему художнику, только что пережившему сладкую и тяжелую минуту вдохновения.

II

Отсчитав своему помощнику (который в обыкновенное время состоял подмастерьем резника) четвертую часть сбора, Цирельман сел в углу, около входа, за освободившийся столик и спросил вина. Первый стакан он выпил с зажмуренными глазами, не отнимая рта, и такими жадными, большими глотками, что у него даже сделалось больно внутри горла. Потом он налил второй стакан, но отставил его от себя и, сгорбившись на стуле и положив ногу на ногу, закурил папиросу. Цирельман ждал. Вытирая вспотевшее лицо красным дырявым платком, он часто оглядывался на дверь, которая то и дело хлопала на блоке и дребезжала своими стеклами, впуская, вместе с новыми гостями, стремительные клубы белого морозного пара. Простосердечные зрители, только что наивно волновавшиеся вместе с Цирельманом, теперь совсем забыли о нем, и он сидел раскисший, усталый, охваченный знакомой ему тоскливой и рассеянной пустотой, которая в былые дни наполняла его душу, когда он оставался один после спектаклей. Он глядел мутными, неподвижными глазами на блестящий край стакана, между тем как углы его набряк-

²⁹ Шнуровой мастер. (Примеч. А. И. Куприна.)

ших век опустились, а от концов больших изогнутых губ легли вниз две брезгливые складки.

Шум в погребе рос. Уже не было слышно отдельных голосов, а, казалось, гудело все: и стены, и столы, и люди, и синий от табачного дыма воздух. Этот однообразно-пестрый гул, то падавший, то опять плавно подымавшийся, был похож на движение больших качающихся волн. Иногда же неясные и разбросанные звуки вдруг стекались вместе, в одну согласную музыкальную реку, и размеренно плыли под потолком, как внезапный отрывок неведомой и сложной мелодии. И сухое щелканье костяшек домино сопровождало их, точно треск кастаньет.

Вдруг Цирельман оживился и нервно задвигался на стуле. В подвал спускался, бережно и грузно ставя на ступеньки толстые кривые ноги, местный балагула³⁰ – Мойше Файбиш. Небольшого роста, но широкий, тяжеловесный и могучий, он был похож на старый дубовый пенёк и весь казался налитым густой апоплексической кровью: лицо у него было страшного сизого цвета, белки маленьких глаз – кровавые, а на лбу, на висках и особенно на конце мясистого носа раздувшиеся вены вились синими упругими змейками. Короткая, жесткая, спутанная борода начиналась у него из-под самых глаз, а на концах, вокруг всего лица, была такая седая и пышная, как будто Файбиш только что опустил ее в мыльную пену.

Файбиш издали увидел Цирельмана и сделал ему бровями быстрый предостерегающий знак. Балагула боком, с неловкой и смешной осторожностью очень сильного человека, пробираясь между столиками, задевая за стулья, улыбаясь и тыкая небрежно налево и направо для пожатия свою руку. Файбиш пользовался в местечке, несмотря на свой не особенно высокий балагульный промысел, значительным и довольно веским почетом. Он был известен – хотя этого и не говорили открыто – за смелого, предприимчивого контрабандиста. Передавали шепотом, что много лет тому назад, спасаясь от преследования конных пограничных стражников, он застрелил солдата, и хотя потом судился по подозрению в убийстве, но был отпущен на свободу за неимением настоящих улик. Кроме того, Файбиш был знаменит – и даже далеко за пределами уезда, – своей необычайной физической силой, принимавшей в пылких умах местной молодежи преувеличенные библейские размеры. Провозгласители тостов на свадьбах неизменно сравнивали его с сокрушителем зданий – Самсоном.

– Добрый вечер, Герш! – сказал Файбиш, подойдя к столику Цирельмана и протягивая актеру маленькую, негнушующуюся, холодную и мозолистую руку.

– Добрый вечер, – ответил Цирельман. Он почтительно привскакнул на стуле и даже шаркнул под столом ногами. – Садитесь, будьте любезны, – я спрошу еще вина. Как шабашевали? Этот графинчик не в счет; его мне зафундовал Рубинштейн за представление; но я велю принести другой, – хорошо?

– Очень вам благодарен. Так вы давали представление?

– Ну, а почему же нет, господин Файбиш?

– Жаль, жаль, что я не успел. И что же, порядочно собрали?

– Пес!., паскудство... Но все-таки дали немного торговать... тридцать четыре копейки... За ваше здоровье, господин Файбиш!..

– За ваше!..

Файбиш выпил стакан вина, но тотчас же закашлялся, потому что давно уже страдал одышкой. Во время кашля вся кровь, переполнявшая его массивное тело, кинулась ему в голову; лицо его еще больше посинело, шея распухла, а жилы на лбу и на носу вздулись, как у удушенника. Откашлявшись, он долго, с хрипением и со свистом в горле, отдувался, потом обсосал намокшие в вине усы, вытер их ребром ладони в одну и в другую сторону и, наконец, отрывисто спросил:

– Ну, что же? Не раздумали?

Цирельман вдруг со страшной ясностью почувствовал, что наступил момент, когда он вот-вот должен перешагнуть за какую-то невидимую нить, после которой начнется совсем иная, темная и жуткая жизнь. Он побледнел, наклонился близко к Файбишу и беззвучно зашевелил похолодевшими губами.

– Что за черт! Ничего не слышу. Говорите же громче! – захрипел Файбиш и нетерпеливо

³⁰ Балагула — экипаж для дальних переездов. Балагулой также называют и хозяина такого экипажа или ямщика. (Примеч. А. И. Куприна.)

ударил кулаком по столу.

– Я ничего... я как вы, господин Файбиш... Что же... Я от своих слов не откажусь...

Говоря эти растерянные слова, Цирельман поглядел на маленькую волосатую руку, которая лежала ладонью вниз на столе, и неожиданно для себя со страхом подумал, что этой самой рукой Файбиш убил пограничного солдата. И, с чувством раздражающей, обморочной слабости в груди и в животе, он залепетал едва слышно:

– Я... я... я не боюсь... Вы меня еще не знаете, господин Файбиш!

– Положим, это вы врете, что не боитесь, – презрительно усмехнулся в свою опененную бороду Файбиш. – Все вы – трусы и сволочь. Вот двадцать лет тому назад, а может быть, и больше, – тогда я был еще молодым и сильным человеком, – тогда был у меня товарищ, Иосель Бакаляр... – Файбиш вздохнул и налил себе вина. – Это был человек! О! мы с ним много сделали хороших гешефтов... Но бросим это! Да. Так, если вы согласны, приготовляйтесь! Сегодня ночью...

– Сегодня ночью... – повторил за ним однозвучно и бессмысленно Цирельман.

– Ну да, сегодня. Я заеду за вами. Но если вам страшно, скажите сейчас! Потом будет поздно. Понимаете?

– Я не боюсь, Файбиш, я не боюсь! – повторил умоляющим шепотом Цирельман, крепко прижимая руки к груди.

Он уже перешагнул загадочную грань и теперь вступал – одинокий, беспомощный и слабый – в таинственный мир, полный ночных ужасов, крови и опасностей. И в этом чудовищном мире была только одна власть – власть сидевшего с ним рядом странного, непонятного, ничего не боящегося человека.

Невольно он оглянулся вокруг себя. На них обоих были со всех сторон устремлены живые, черные глаза, горевшие напряженным любопытством. Но, встречаясь с испуганным, помертвевшим взглядом Цирельмана, любопытные глаза бегло отворачивались и опускались, отчасти от страха перед Файбишем, отчасти из деловой скромности. Это ободрило Цирельмана, и он выпрямил свою согнутую спину. Все эти изворотливые, пронизательные люди, без сомнения, знали, о чем он разговаривал, нагнувшись голова к голове, с Файбишем. И мысль, что на него, всегда несколько презираемого, наконец-то глядят с любопытством, ожиданием и боязливым почтением, что ужасная слава Файбиша окутывает и его, Цирельмана, необычайным, героическим светом, – эта мысль приятно и льстиво ударила ему в голову и изгнала оттуда последние колебания трусости. И он в первый раз взглянул прямо и твердо в маленькие, кровавые глаза балагулы, наблюдавшие за ним с острой насмешкой из-под косматых черных бровей.

– Я не лягу спать, Файбиш, – сказал он решительно. – Постучите мне только в окно, и я сейчас же выйду.

И когда Цирельман поднялся, чтобы уйти, и почувствовал на своей спине десяток жадных, удивленных взглядов, то он вспомнил старое актерское время и прошел вдоль погребца театральной походкой, с выпяченной грудью и гордо закинутой назад головой, большими шагами, совершенно так, как уходил, бывало, со сцены в ролях иноземных герцогов и предводителей разбойничьих шаек.

III

Цирельман и его жена Этля – старая не по летам женщина, изможденная горем и голодной, бродячей жизнью – были бездетны. Они жили на краю местечка, снимая угол у вдовы сапожника, которая, в свою очередь, нанимала за два рубля целую комнату, переделанную из яичного склада. В огромной и пустой, как сарай, комнате, вымазанной голубой известкой, стояли прямо на земляном полу не отгороженные никакими занавесками две кровати: у одной стены помещалась вдова с четырехлетней девочкой, а у другой – Цирельман с женой.

Вдова давно уже спала. Слышно было, как она ровно, громко и свободно дышала открытым ртом. Было темно; только кривые подоконники слабо серебрились от лучей молодого месяца. Цирельман лежал под старым, замасленным пуховым бебехом, рядом со своей женой, и пугливо прислушивался к ночному безмолвию. Этля спала или притворялась спящей; она лежала, повернувшись к мужу спиной, беззвучно и неподвижно, как мертвая.

В сонной тишине, которую равномерное дыхание вдовы делало еще глубже и однообраз-

нее, все ночные звуки приобретали странную, тревожную отчетливость. Потрескивал рассыхающийся комод; возились мыши рядом, в деревянном чуланчике; что-то шуршало в углах по стенам, и все эти стуки и шорохи будили чутко дремлющую тишину и горячими, пугливыми толчками отзывались в сердце у Герша. Время тянулось скучно, напряженно и томительно-долго. Цирельман не спал, но на него находили какие-то темные полосы, в которые он утрачивал понятие о времени. Он даже не мог уловить, когда начинался момент такого оцепенения; но, внезапно очнувшись, находил себя бодрствующим и недоумевал, что с ним случилось, – спал ли он только что или думал о чем-то, неожиданно ускользнувшем из головы, и сколько времени прошло в этом удивительном состоянии: секунда, пять минут или полчаса?

Зато временами его слух и зрение приобретали необычайную, болезненную остроту. Тогда ему чудилось, что он слышит за окном крадущиеся шаги. Он приподымался на локтях и, чувствуя в груди холод испуга, глядел в окно, и сердце его наполняло всю комнату оглушительными ударами. И он ясно видел, как снаружи, с улицы, большое темное лицо настойчиво заглядывало в комнату, и проходило много мучительных минут, пока он не убеждался, что его обманывают возбужденные нервы. «Но ведь *это* кончится. *Это* должно же когда-нибудь кончиться, – лихорадочно думал Цирельман. – Придет Файбиш, и окончится это жуткое ожидание... А потом окончится и вся эта ночь, таящая в себе так много неизвестного и ужасного, и я скажу самому себе: «*Это было вчера*». Неужели я скажу когда-нибудь: «*Это было вчера*») Надо быть спокойнее. Ведь что бы там ни было, но все на свете проходит, и когда-нибудь я скажу самому себе: «*Это было месяц, это было год тому назад...*» И страха больше не будет, и все опять станет таким простым, легким, обыкновенным». И вдруг, в один из моментов необъяснимой потери сознания, в окно на самом деле постучали. Стук был осторожен и тих, потому что его производили мякотью пальца о стекло; но он отозвался громом во всех углах, разорвал сонную тишину, и от него сразу посветлело в комнате. Сердце Цирельмана перестало биться, и все тело его похолодело, стало мягким и бессильным. «*Это неправда, это мне только кажется*», – пробовал он себя успокоить. Но стук опять повторился, такой же тихий и настойчивый; и сердце затрепыхалось так беспорядочно, с такой болью и силой, что, казалось, от его ударов готова была лопнуть грудь.

Цирельман сел на кровати и тут только заметил, что его жена тоже сидит и смотрит в окно. Она была без парика, который носят все правверные замужние еврейки, – коротковолосая и растрепанная, с голыми руками и шеей, и лицо ее в темноте показалось Гершу чужим, незнакомым и поразительно белым. И он слышал, как рядом с ним зубы у его жены колотились друг о друга мелкой и частой дробью.

– Стучат! – шепнула Этля. – Одевайся, Гершко, это Файбиш.

Стук повторился в третий раз, и весь дом точно содрогнулся от него. Но Цирельман сидел на кровати, чувствуя, как у него мерзнут и двигаются на голове волосы, и, раздавленный страхом, не мог пошевелиться.

– Что ты себе думаешь, Цирельман? – с испугом и с гневом зашептала Этля, наклоняясь вплотную к мужу и щекоча его ухо горячим дыханием. – Ты безумный или что? Если ты трусишь, то и не нужно было браться. Файбиш найдет другого, а тебе он этого никогда не простит.

Цирельмана в эту минуту нестерпимого страха совсем не удивило, что жене известно то, о чем он условливался с глазу на глаз с Файбишем; но слова Этли подтолкнули его. В одних чулках он подошел к окну и прильнул лицом к стеклу, обгородившись ладонями от мутного света, который шел от снега. С другой стороны окна на него близко и пристально глядело темное, широкое, бородатое лицо Файбиша, с приставленными к вискам так же, как и у Цирельмана, ладонями. Герш торопливо закивал головой и, хотя его нельзя было расслышать через двойные рамы, залепетал с заискивающей боязливостью:

– Я сейчас, сейчас, господин Файбиш!.. Я сейчас... Он суетливо, ощупью стал одеваться. Но ноги его не попадали в сапоги, руки не могли сразу найти пуговиц и петель, и все это было мучительно похоже на бред, в котором совершенно забылось имя Файбиша, а было что-то грозное, неумолимое, не знающее ни страха, ни жалости, что стояло вот тут, рядом, и гнало вперед, и сковывало движения.

Он хотел зажечь лампу, но Этля услышала тарактенье спичек и впотьмах вырвала у него из рук коробку.

– Ша, дурной! – закричала Этля. – Или ты хочешь, чтобы весь базар узнал, что у нас дела-

ется?..

Когда Цирельман вышел, наконец, на крыльцо, он не узнал ни своего дома, ни безлюдной, пустынной улицы. Бледный молодой месяц стоял над местечком, освещая занесенные снегом крыши и белые, казавшиеся нежно-синими стены. Его тихие лучи мертвым, дробящимся блеском отражались в черных стеклах окон, точно в открытых, но слепых глазах. Где-то на краю местечка монотонно и гулко скрипел снег под ногами ночного прохожего. Все стало иным, новым, все точно притаилось и выжидательно подглядывало за дрожащим от холода и от страха человеком. И опять Цирельман почувствовал себя вырванным из границ обычной, прочной и спокойной жизни и обреченным на неведомое, полное ужаса существование.

– Что так долго? – спросил сурово Файбиш. – Ну, не торчи же на лестнице, как осел! Садись вот тут, на рогажи! Да смотри: под тобой веревки, не запугайся!

У калитки стояли легкие сани, узкие и высокие спереди, но широкие и низкие к заднему концу. Запряженные в них две лошади порывисто мотали головами, косились назад и озабоченно двигали острыми ушами: должно быть, и они чувствовали необычайное настроение этой ночи. Файбиш сел впереди, боком, свесив наружу ноги; а Цирельман поместился сзади в неудобной позе, держась широко расставленными руками за поручни.

«Все пройдет, все окончится», – думал актер; но эта мысль скользила где-то поверху, не проникала глубоко в сознание и не успокаивала.

– Ну, час добрый! – сказал сердито Файбиш, разбирая вожжи.

Полозья пронзительно и жалобно заплакали под санями, и лошади тронулись так осторожно, медленно и беззвучно, как будто бы они боязливо и внимательно прислушивались к каждому своему шагу.

IV

Навстречу саням потянулись белые домики местечка, соломенные крыши и низкие плетни, из-за которых свешивались на улицу белые, облепленные снегом деревья. В тонком свете месяца, в отзывчивой морозной тишине, в безмолвии спящих домов была все та же новая для Цирельмана, грозная, стерегущая жизнь. Скоро окончились последние лачуги местечка, и Файбиш пустил озябших лошадей рысью. Мелькнула в стороне стройная церковь с зеленой, тускло блестящей крышей, показалась вдали низкая кирпичная ограда католического кладбища, пробежали мимо жердяные изгороди выгона. Сани выехали на широкую почтовую дорогу, на которой старые следы от полозьев блестели далеко впереди лошадей, точно металлические полосы.

Файбиш поправился на своем сиденье, подбил под себя полы войлочного балахона и повернулся к Цирельману. На лице балагулы, в пространстве между лисьей шапкой и заиндевевшей бородой, только и виднелись два маленьких глаза, и в каждом из них острой, блестящей точкой светилось отражение месяца.

– Вижу я, Цирельман, что с вас плохой помощник, – заговорил Файбиш по-русски. – Эх, был у меня товарищ Йосель Бакаляр!.. Впрочем, что толковать! Слушайте же: когда мы передем через Збруч и остановимся, вы будете ждать около лошадей. А потом я вернусь, и вы можете мне увязать товар в рогажи.

– Так. Я понимаю, господин Файбиш. Так, так, – кивал головой Цирельман.

– Смотрите хорошо за лошадьми! Лошади молодые и пугливые, особенно правая. Не выпускайте из рук вожжей! Если будет гармидер (шум), держите крепче!.. Стрелять умеете?.. Цирельман глядел на две яркие, колючие точки в глазах Файбиша и не мог от них оторваться, точно из них исходила какая-то сковывающая власть. Он слышал слова балагулы и держал их в памяти, но не понимал их смысла.

– Я спрашиваю вас, умеете ли вы стрелять из револьвера? Верно, нет?

Цирельман хотел ответить утвердительно. Ему приходилось стрелять раньше на сцене, убивая себя и других актеров холостыми зарядами. Но тотчас же ему вспомнились слухи о том, как Файбиш убил солдата, и в нем шевельнулся ужас, вместе со свойственным всему еврейскому народу наследственным отвращением к крови.

– Нет, господин Файбиш, я не могу стрелять. Я не умею и... и боюсь, – ответил он робко. Файбиш укоризненно покачал головой.

– Це-це-це! – с упреком и с сожалением зачмокал он языком. – Какой вы! Ну, да все рав-

но... Когда мы поедem назад, следите, чтобы веревки не развязались. Если все кончится хорошо, имеете получить с меня пятнадцать кербеле.

– Вы обещали, кажется, двадцать пять... – попробовал несмело возразить Цирельман.

– Эге, двадцать пять! А десять не хотите? Спрашивается, какая мне с вас помощь? Но, ша!.. молчите только! Потом мы будем видеть.

Узкая дорога свернула с почтового шляха налево. Навстречу саням ровной, высокой стеной спокойно приближался помещичий лес, черный снизу, а сверху обремененный снежными шапками. В узком и мрачном коридоре, между двумя рядами толстых сосновых стволов, было темней, тише и теплее. Бледное сияние месяца тонкими, неправильными узорами прорезывалось сквозь густые тени деревьев и местами слабо и нежно серебрило чешую коры. Иногда через дорогу протягивалась, точно огромная рука с растопыренными белыми пальцами, отягченная снегом ветка. Она задевала лошадей по головам и, сделав широкий, упругий размах, осыпала обоих седоков мягким, холодным пухом. По обеим сторонам дорожки, справа и слева, в нескольких шагах от саней, деревья смыкались в черную, непроницаемую массу, в которую страшно было смотреть.

Цирельман лег на спину. Вверху, между зубчатыми ветками, извивался прихотливым путем просвет далекого темно-синего неба с большими дрожащими звездами. Вершины сосен тихо и разнообразно шатались, как будто деревья покачивали головами с различным выражением: одни задумчиво и неодобрительно, другие с угрозой, третьи медленно и важно кланялись. Порою Цирельман закрывал глаза, и тогда ему через несколько минут начинало мерещиться, что сани замедляют ход, потом только вздрагивают на одном месте, и затем он начинал двигаться назад, в противоположную сторону. И хотя Цирельману был с детства знаком этот физический обман, но ему приятно было мечтать, что, по какому-то волшебству, он и в самом деле едет назад, к местечку, и что неожиданно окончится и эта жуткая поездка, и эта бесконечная, тревожная ночь.

Файбиш придержал лошадей, осмотрелся кругом, привстал на санях и вдруг круто, без дороги свернул направо. Лошади увязли по брюхо в снегу, мотая головами и фыркая, и Цирельман услышал теплый, едкий запах конского пота. Старый актер совсем не мог теперь представить себе места, по которому ехал. Он чувствовал себя бессильным и покорным, во власти сидевшего впереди, знакомого и в то же время чужого, непонятного, страшного человека.

Лес окончился. Впереди ровным белым скатом спускался вниз пологий берег реки, которая широко и пустынно простиралась вплоть до противоположного, австрийского берега. На той стороне еле заметно чернели разбросанные здания, и в двух-трех местах красными точками светился огонь. Луны не было видно, – ее закрывал лес, бросавший через всю реку сплошную, глубокую тень. Далеко влево, вся в свету, виднелась плотина, отделенная от снега резкой, тонкой чертой тени. Она тянулась через всю реку, соединяя два государства, и Цирельман знал, что по ней всегда, днем и ночью, ходят солдаты – австрийский и наш.

Лошади глубоко провалились в снег, но быстро и испуганно выкарабкались из него, усиленно мотая головами и храпя. Тотчас же копыта их застучали тверже. По легкому ходу полозьев Цирельман догадался, что сани въехали на лед. Он не сводил глаз со светлой, черневшей своим откосом на снегу плотины и все крепче впивался пальцами в поручни. Файбиш стоял в санях и тоже глядел на плотину. Его короткие руки дрожали от усилия, с которым он сдерживал рвавшихся вперед лошадей.

– А-а-а-а! – пронесся вдруг над рекой высокий, точно стонущий человеческий крик. В нем одновременно слышался и испуг одинокого, затерявшегося среди ночи человека, и угроза. Файбиш, весь перегнувшись назад, натянул вожжи. Лошади заскользили и заскребли по льду задними ногами и стали.

– А-а-а! – повторился стонущий крик. Цирельман увидел, как в одном месте над плотиной голубоватый воздух разорвался в узкую огненную трещину. Что-то страшное, никогда им не слышанное, жалобно пропело у него над головой, и сейчас же вслед за этим звуком глухой грохот выстрела тяжело прокатился по реке.

Файбиш яростно, с необыкновенной силой заскрежетал зубами.

– Все к черту! – захрипел он сквозь стиснутые челюсти.

И вдруг, подняв кверху кулак, балагула выкрикнул во всю мочь легких бешеное, циничное, бессмысленное ругательство...

От сильного и неожиданного толчка Цирельман упал на спину и опять увидел над собой темное, спокойное небо с дрожащими звездами. Лошади летели нестройным галопом, высоко подбрасывая задами; а Файбиш стоял в санях и, наклонившись вперед, без остановки, со всего размаха стегал кнутом. Цирельман обезумел от ужаса. Он вскочил на колени, судорожно оплел руками ноги Файбиша и вдруг, сам не узнавая своего голоса, закричал пронзительно и отчаянно.

– Ой, не бейте меня! Ой, ратуйте! – кричал он, захлебываясь и давясь от плача. – Ой, ой, ой, господин Файбиш! Милый, дорогой, драгоценный Файбиш! Ой, убивают, ратуйте! Файбиш, вы сильный, как бог, вы храбрый, как лев! Ой, ой, спасите меня!

– Пусти меня, черт!.. Оставь! – хрипел Файбиш. Его сильная, жесткая рука комкала губы и нос Цирельмана; но актер мочил слюнями и кусал его пальцы и, вырывая из них на мгновение рот, кричал все громче и безумнее и крепче прижимался лицом к шершавому балахону и к сапогам Файбиша. А лошади все неслись, заложив назад уши, и торчавший из-под снега прошлогодний камыш хлестал по бокам саней.

– Молчи, собака!.. Убью! – рычал, задыхаясь от борьбы, Файбиш.

Ему удалось свободной рукой вытащить из кармана балахона револьвер. Он взвел курок и ткнул дулом в лоб Цирельмана.

– Слушай, подлец... я выстрелю! – гневно пригрозил балагула. – Замолчи, или я выстрелю, черт бы тебя побрал!

Но актер не переставал кричать и цепляться за ноги Файбиша. Ужас, овладевший им, совершенно помрачил его рассудок и сковал память. Он не помнил, как Файбиш колотил его стволом револьвера по голове, не слышал его угроз и очнулся только тогда, когда после жестокого удара ногой в спину он покатился боком по льду, сметая своим телом снег.

Он сел и тотчас же замолчал. Возле него возвышалась густая стена камыша; сухие высокие стебли, волнуясь и шелестя, то наклонялись все разом к нему с участливым любопытством, то отшатывались в испуге назад. Сидя на льду и упираясь в него ладонями, Цирельман оглянулся вокруг себя. Дикого, звериного ужаса уже не было в его душе, – его увозил с собою Файбиш, лошади которого глухо и вразброд стучали вдали копытами, – но было удивление, грусть и чувство беспомощного одиночества. Цирельман упал как раз у берега, вдоль которого шла широкая, избитая подковами дорога. Река делала в этом месте излучину, а стена леса заворачивала назад. За пологим, ровным берегом видно было отсюда огромное белое поле; в конце его, на самом горизонте, тянулась темная полоса дальнего леса. Луна, готовая уже закатиться, стояла над этой низкой, неровной чертой, бледная, точно утомленная, и было что-то невыразимо-печальное и безнадежное в этом пустом, белом поле, в дальнем лесе и в золотистом сумраке, окружавшем усталую луну. И скорбь и сознание своего одиночества все сильнее наполняли душу Цирельмана. Он не сводил глаз с узкого, нежного серпа, прижимал руки к груди и шептал давно забытые слова великой молитвы:

– Шма, Исроэль, Адонаи элегейну, Адонаи хот! Слушай, Израиль, бог наш, бог сильный!

Что-то теплое капнуло ему на руку. Он поднял ее к глазам и увидел черное пятно. Только теперь он услышал боль в переносице, в темени и в подбородке и вспомнил, как его бил по голове револьвером Файбиш. Он взял в руку горсть снега, потер им лицо, и снег стал темным. И долго сидел таким образом Цирельман, унимая кровь. Глаза его, полные слез, были устремлены на луну, готовую сесть, а в груди разливалась большая скорбь. Почему-то вспомнилась ему вся его бестолковая жизнь, скитанье из города в город, пьянство, кривлянье в погребах и трактирах, и эта жизнь представилась ему такой же темной и долгой, как и вся сегодняшняя страшная ночь... Вдруг его ухо уловило далекие, дробные и частые звуки копыт; несколько лошадей тяжело скакали по прибрежной дороге. Машинально, почти не сознавая, что он делает, Цирельман на животе прополз в камыши и растянулся ничком, уйдя лицом в холодный мягкий снег. И тотчас же над самой его головой пронесся, сотрясая лед и бряцая оружием, отряд верховых солдат. Они говорили между собою все разом, резкими, отрывистыми, сердитыми голосами; но слов их Герш не разобрал. Он лежал лицом в снегу и, чувствуя его талый запах, шептал про себя молитву. Солдаты быстро промчались. Когда топот их лошадей, постепенно теряясь вдали, стал еле слышным, Цирельман поднялся на колени. Но то, что он увидел, заставило его оцепенеть от ужаса. Прямо на него скакал одиночный всадник, вероятно отставший от товарищей. Его огромная худая лошадь неслась тяжелым галопом, вытянув вперед длинную шею с острой мордой и прижатými назад ушами. Она так близко пролетела возле Цирельмана, что тот ясно увидал ее

раздувшиеся ноздри и большие глаза, блестящие диким испугом, и ветер от ее быстрого бега пахнул актеру в лицо. Солдат сидел, нагнувшись вперед, почти лежа на шее лошади. Его сабля равномерно, с металлическим дребезжанием, билась о седло. Но он не заметил еврея, стоявшего на коленях среди густого камыша, и промчался мимо, крича что-то вслед своим товарищам...

Только часа через три, иззябший и обессиленный, добрался Цирельман до местечка. Ночь была теперь так темна, что даже белых стен домов нельзя было различить в ее мраке. Цирельман уже повернул в свою улицу, как сзади него закричали полозя.

Одним прыжком очутился актер в глубокой, занесенной снегом канаве и прижался к плетню.

Это возвращался избегнувший погони Файбиш. Лошади его были покрыты пеной и дышали часто и прерывисто. Острые глаза старого контрабандиста различили съезжившуюся в темноте фигуру. Он придержал лошадей и окликнул вполголоса:

– Эй! Кто здесь прячется у забора? Это ты, Цирельман?

Герш затаил дыхание и еще плотнее прижался к изгороди.

– О, свинья! Трус! Предатель! – злобно зашипел Файбиш. – На же, на!.. Получи!..

Кнут резко свистнул в воздухе. Файбиш бил широко и размашисто, тем движением, каким он обыкновенно стегал собак. Но Герш быстро повернулся к балагуле задом, сгорбил, спрятал шею в плечи, и жестокие удары пришлось ему по спине и по рукам.

– Будь ты проклят, трус, гадина! – бросил ему напоследок Файбиш, трогая лошадей. – Если бы не осечка, ты бы теперь валялся на реке, как дохлая собака!..

Через четверть часа Цирельман уже лежал под теплым бебехом рядом с Этлей, которая спала или притворялась спящей. Но холод долго не выходил из его назябшегося за много часов тела, а ноги были ледяными и точно деревянными. Когда же тепло окончательно проникло в его грудь и живот и он вспомнил сегодняшнюю дорогу, и острый блеск в глазах Файбиша, и выстрел с плотины, и печальную луну над лесом, и солдата, мчавшегося, точно библейское видение, на огромной лошади с вытянутой шеей, – то ему показалось невероятным, что это именно он, а не кто-то другой, посторонний ему, испытал все ужасы этой ночи. Вспомнилось ему также, как он убеждал самого себя, что должна когда-нибудь окончиться и эта ночь, и эта поездка... и, с удовольствием ощущая живую теплоту, шедшую от тела Этли, он сжался в комочек и засмеялся под бебехом тихим, радостным смехом.

Конокрады

I

Вечером, в середине июля, на берегу полесской речонки Зульни лежали в густом лозняке два человека: нищий из села Казимирки Онисим Козел и его внук, Василь, мальчишка лет тринадцати. Старик дремал, прикрыв лицо от мух рваной бараньей шапкой, а Василь, подперев подбородок ладонями и сощутив глаза, рассеянно смотрел на реку, на теплое, безоблачное небо, на дальний сосновый лес, резко черневший среди пожара зари.

Тихая река, неподвижная, как болото, вся была скрыта под сплошной твердой зеленью кувшинок, которые томно выставляли наружу свои прелестные, белые, непорочные венчики. Лишь на той стороне, у берега, оставалась чистая, гладкая, не застланная листьями полоса воды, и в ней мальчик видел отраженные с необыкновенной отчетливостью: и прибрежную осоку, и черный зубчатый лес, и горевшее за ним зарево. А на этом берегу, у самой реки, в равном расстоянии друг от друга стояли древние, дуплистые ветлы. Короткие прямые ветки топорщились у них кверху, и сами они – низкие, корявые, толстые – походили на приземистых старцев, воздевших к небу тощие руки.

Тонким, печальным свистом перекликались кулички. Изредка в воде тяжело бултыхалась крупная рыба. Мошкара дрожала над водой прозрачным, тонким столбом.

Козел вдруг приподнял голову с земли и уставился на Василя оторопелым, бессмысленным взглядом.

– Ты что́ сказал? – спросил он невнятно, хриплым голосом.

Мальчик ничего не ответил. Он даже не обернулся на старика, а только медленно, с упря-

мым, скучающим выражением опустил и поднял свои длинные ресницы.

– Скоро придут, – продолжал старик, точно разговаривая сам с собой. Треба, пока что, покурить.

Он вяло перевалился на бок и сел на корточки, по-турецки. На обеих руках у него были отрублены все пальцы, за исключением большого на левой руке, но этим единственным пальцем он ловко и быстро набил трубку, придерживая ее культишкой правой руки о колено, достал из шапки спички и закурил. Сладковатый, похожий сначала запахом на резеду, дымок махорки поплыл синими струйками в воздухе.

– Что же, ты сам видел Бузыгу? – как будто нехотя спросил Василь, не отводя глаз от заречной дали.

Козел вынул трубку из рта и, нагнувшись на сторону, звучно сплюнул.

– А как же? Известно, сам... Ух, отчаянный человеря. Совсем как я в старые годы. Гуляет по целому селу, пья-а-ный-распьяный... как ночь!.. Жидков-музыкантов нанял, те попереди его зажаривают, а он себе никаких. В правой руке платок, сапоги в новых калошах, на жилетке серебряная чепка. Пришел до Грипы Ковалевой: «Гей, курва, горилки!» В стакан бросил серебряного рубля, горилку выпил, а деньги музыкантам кинул. Хлопцы за ним так чередой и ходят, так и ходят... Косятся, как те собаки на волка, но а ни-ни! Ничего не могут, только зубами на него клямкают.

– О? – воскликнул с восторженным недоверием мальчик.

– Обыкновенно... А ему что? О-го-го!.. Ему плевать на них. Я твоих коней не крал? – значит, и ты до меня не цепляйся. От, если бы я твои кони украл да ты бы словил меня, – ну, тогда твой верх: имеешь полное право бить. А то – не-ет, шалишь... Это не проходит.

Мальчик молча глядел на реку. На ней уже начали покрикивать, сперва изредка, точно лениво, звонкие лягушечьи голоса. Вечерний туман дымился в камыше и легким, как кисея, паром вился над водой. Небо потемнело и позеленело, и на нем яснее выступил незаметный до сих пор полукруг молодого месяца.

– Козел, а правду говорят, что у Бузыги ребра двойные? – спросил задумчиво Василь. – Что будто его никогда убить нельзя? Правда тому?

– Истинная правда. Как же иначе? У него все ребра срослись, до самого пупа. Такого, как Бузыга, хоть чем хочешь бей, а уж печенку ты ему, брат, не-ет... не отобьешь. Потому что у него печенки к ребрам приросли. А у человека печенки – это первая штука. Если у человека отбиты печенки, то тому человеку больше не жить. Заслабнет, начнет харкать кровью: ни есть, ни пить не может, а там и дуба даст...

Мальчик пощупал свою грудь, тонкие бока, впалый живот и протяжно вздохнул.

– А то еще вот, говорят, что двойная спина бывает... как у лошадей, сказал он печально. – Правда это, Козел?

– Это тоже правда. Бывает.

– А у Бузыги?

– Что у Бузыги?

– У него тоже двойная спина?

– Ну, уж этого я не знаю. Не могу сказать.

– Я думаю, у него тоже двойная...

– Все может быть, – покачал головой старик. – Все может быть... Главное, Бузыга – он хитрый на голову. О-го-го! Это такой человек! В Шепелевке он раз попался... Хотя, скажем, и не попался, а выдал его один хлопец. Из-за бабы у них зашло. Накрыли его с конями в поле... Было это вечером. Ну, обыкновенно, привезли в хату, зажгли огня и стали бить. Всю ночь били насмерть, чем попало. Мужики, если бьют, так уж у них, известно, такой закон, чтобы каждый бил. Детей, баб приводят, чтобы били. Чтобы, значит, потом всей громаде зараз отвечать. Вот, бьют они его, бьют, устанут, давай горилку возле него пить, отдышутся трошки – опять бьют. А Митро Гундосый видит, что Бузыга уже ледве дышает, и говорит: «Почекайте, хлопцы, как бы злодий у нас не кончился. Заждите, я ему воды дам». Но Бузыга – он хитрый – он знает, что если человеку после такого боя дать воды напиться, то тут ему и смерть. Справился он как-то и просит: «Православные хрестьяне, господа громада, как бы вы мне поднесли одну кляшечку горилки, а там хоть снова бейте. Чую я, что конец мой подходит, и мне хочется перед смертью в опушный раз попробовать вина». Те засмеялись, дали ему склянку. Потом уже больше не мучи-

ли – все равно, видят, человек и сам помирает, – а отвезли его в Басов Кут и бросили, как то стерво. Думали, там и кончится. Однако ничего: не поддался Левонтий, выдыхал... Через два месяца у Митро Гундосого пара коней сгинула. Хорошие были кони...

– О! Это Бузыга? – радостно вскрикнул мальчик.

– Кто бы ни был, не наше дело, – значительно и злобно возразил Козел. Приходил после того Гундосый до Бузыги, в ногах у него валялся, ноги ему целовал. «Возьми гроши, только укажи, где кони. Ты знаешь!» А тот ему отвечает: «Ты бы, Митро, воды пошел напился». Вот он какой, Бузыга!..

Старый нищий замолчал и стал с ожесточением насасывать трубку. Она сочно хрипела, но не давала уже больше дыму. Козел вздохнул, выколотил трубку о свою босую подошву и спрятал ее за пазуху.

Лягушки заливались теперь со всех сторон. Казалось, что весь воздух дрожал от их страстных, звенящих криков, которым вторили глухие, более редкие, протяжные стоны больших жаб. Небо из зеленого сделалось темно-синим, и луна сияла на нем, как кривое лезвие серебряной алебарды. Заря погасла. Только у того берега, в чистой речной заводи, рдели длинные кровавые полосы.

– Козел, я, когда вырасту, тоже буду коней красть! – произнес вдруг тихим, горячим шепотом мальчик. – Не хочу милостыню собирать. Я буду как Бузыга.

– Тес... постой... – встрепнулся старик. Он поднял кверху свой страшный палец и, наклонив голову набок, внимательно прислушался. – Идут!

Василь быстро вскочил на ноги. В густой заросли ивняка чуть слышно шлепала вода под чьими-то шагами. Мужские голоса говорили глухо и монотонно.

– Гукни, Василь, – приказал старик. – Только не швидко.

– Гоп-гоп! – крикнул мальчик сдавленным от волнения голосом.

– Гоп! – коротко отозвался издали сдержанный спокойный бас.

II

Кудрявые верхушки лозняка закачались, раздвигаемые осторожной рукой. Из кустов на притоптанное, сухое местечко, где дожидались нищий и мальчик, бесшумно вынырнул, согнувшись вдвое, коротконогий, бородатый, неуклюжий с виду мужичонка в рваной коричневой свитке. Прямые, жесткие волосы падали у него из-под капелюха на брови, почти закрывая черные косые глаза, глядевшие мрачно и недоверчиво исподлобья. Голову он держал наклоненной вниз и немного набок, по-медвежьи, и когда ему приходилось посмотреть в сторону, то он не повертывал туда шею, а медленно и неловко поворачивался всем телом, как это делают люди-кривошеи или больные горлом. Это был Аким Шпак, известный пристанодержатель и укрыватель краденого. Он же указывал верные места для дела и «подводил» конокрадам лошадей.

Шпак пристально, с враждебным видом оглядел старика и мальчика и, затоптавшись на месте, повернул назад свое несуразное тело с неподвижной шеей.

– Бузыга, сюда! – сказал он сипло.

– Здесь! – весело, по-солдатски, ответил низкий, самоуверенный голос. Бывайте здоровенькие, панове злѳдїи.

На прогалину вышел рослый рыжий человек в городском платье и высоких щегольских сапогах. Он протянул было руку Козлу, но, заметив свою ошибку, тотчас же спохватился.

– А, черт... Я забыл, что тебе нечем здороваться, – сказал он небрежно. – Ну здравствуй так. А это тот самый хлопец, про которого говорили? – показал он на Василя.

– Тот, тот, – поспешно закивал головой старый нищий. – О, это такой проворный хлопец... все равно как пуля. Что ж, седай, Левонтий?

– Сяду – гостем буду; угощу горилкой – хозяином буду, – равнодушно пошутил Бузыга, опускаясь на землю. – Аким, достань там, что есть.

Аким вынул из холщовой торбы полштоф водки, несколько каленых темных яиц, половину большого хлеба и положил все это на траву, подле Бузыги. Козел жадно следил за каждым движением и своим единственным пальцем нервно теребил седой подстриженный ус.

– А я уж думал, что не придешь ты, – сказал старый нищий, обратив лицо к Бузыге, но не отрывая глаз от рук Акима. – Видел я тебя днем в Березной... пьяней вина... Ну, думаю, не при-

дет вечером Бузыга. Куда ему... Х-ха! А по тебе и не видно.

– Меня горилка не берет, – вяло уронил Бузыга. – Прикидывался я. Да и спал до вечера.

– У Грипы спал?

– А тебе что? Ну, у Грипы.

– Нет, я так, ничего... Любят тебя бабы.

– А черт их дерит. Пускай любят, – равнодушно пожал плечами Бузыга. Или тебе завидно?

– Где уж мне! Я забыл, как и думают про это... Небось не пускала она тебя?

– Еще бы! Меня не пустишь!.. – Бузыга прищурился и самоуверенно мотнул подбородком вверх. – Пей лучше горилку, старый. Ты, я вижу, все около чего-то крутишься. Спросил бы прямо.

– Чего мне спрашивать? Мне нечего спрашивать. Я просто так... Пью до вас, пане Бузыга. Бывайте здоровенькие, пошли вам бог успеха во всех делах ваших,

Старик ухватил своим пальцем, как подвижным крючком, горлышко бутылки и дрожащей рукой поднес его ко рту. Долго цедил он по каплям сквозь зубы водку, потом передал бутылку Бузыге, утерся рукавом и спросил с деланной развязностью:

– Пытала она тебя, куда собрался?

– Кто?

– Да Грипа же.

Бузыга внимательно и серьезно поглядел старику в лоб.

– Спрашивала. Ну? – протяжно произнес он, сдвигая брови.

– Да я же... Да господи... я просто так себе... Я же знаю, что ты все равно не скажешь...

– Вы бы заткнулись лучше, дядько Козел, – веско посоветовал, глядя куда-то вбок, молчаливый Аким.

– Ой, хитришь ты, старая собака, – сказал Бузыга, и в его сильном голосе дрогнули, неожиданно прорвавшись, какие-то звериные звуки. – Смотри, брат, – тебе Бузыгу не учить. Когда Бузыга сказал, что он в Крешеве, то, значит, его будут шукать в Филипповичах, а Бузыга тем часом в Степани на ярмарке коней продает. Тебе Шпак правду говорит: лучше молчи.

Во все время, пока Бузыга говорил, Василь не сводил с него пристального и тревожного взгляда. В наружности конокрада не было ничего необыкновенного. Его большое, изрытое оспой лицо, с крутыми рыжими солдатскими усами, было неподвижно и казалось скучающим. Маленькие голубые глаза, окруженные белыми ресницами, смотрели сонно, и только в самую последнюю минуту в них зажглось странное – острое и жестокое выражение. Движения у него были медленные, ленивые и как будто рассчитанные на то, чтобы тратить на них наименьшие усилия, но его могучая, круглая шея, выступавшая из косого ворота рубашки, длинные руки с огромными рыжеволосыми кистями, наконец, широкая, свободно согнувшаяся спина говорили о телесной силе необычайных размеров.

Под влиянием упорного взгляда мальчика Бузыга невольно повернул к нему голову. Глаза его сразу погасли, и лицо сделалось равнодушным.

– Ты что на меня задивился, хлопчик? – спросил он спокойно. – Как тебя зовут?

– Василь, – ответил мальчик и тотчас же откашлялся: таким слабым и свистящим показался ему собственный голос.

Козел угодливо хихикнул.

– Хе-хе-е! Ты его, Бузыга, спроси, что он будет делать, когда подрастет? Перед тобой мы с ним балакали. Не хочу, говорит, Христа ради просить, как ты. А я, говорит, буду как Бузыга... Я уж с него смеялся, аж боки рвал! – соврал для чего-то Козел.

Мальчик быстро повернулся к деду. Его большие серые глаза потемнели, расширились и загорелись гневом.

– Ладно. Молчи уж, – сказал он грубо, срывающимся детским басом.

– Ах ты, подсвинок! – воскликнул с удивлением и с неожиданной лаской в голосе Бузыга. – А ну-ка, ходи ко мне. Горилку пьешь?

Он поставил Василя между своими коленами и большими, сильными руками плотно обнял его тонкое тело.

– Пью! – храбро ответил мальчик.

– Эге, с тебя добрый воряга будет. Ну-ка, тяпни.

– Как бы не завредило? – с лицемерной заботливостью заметил Козел, жадно глядя на бу-

тылку.

– Молчи, старый лис. Останется и тебе, – успокоил его Бузыга.

Василь сделал большой глоток и закашлялся. Что-то отвратительное на вкус, горячее, как огонь, обожгло ему горло ихватило дыхание. Несколько минут он, как рыба, вытщенная из воды, ловил открытым ртом воздух и страшно хрипел. Из глаз у него покатались слезы.

– От так. Теперь садись, казак, промеж казаками, – сказал Бузыга и легонько оттолкнул от себя Василя. И, точно сразу забыв о мальчике, он равнодушно заговорил с Козлом.

– Давно я собираюсь тебя спросить, где ты свои пальцы загубил? медленно ронял Бузыга низкие, ленивые звуки.

– Случай был такой, – с притворной неохотой ответил нищий. – Вышла гистория из-за коней.

– Слышал, что из-за коней... Ну?

– Ну, вот... Да тут нема ничего интересного, – мямлил Козел, протягивая слова. Ему чрезвычайно хотелось подробно и долго поговорить об этом страшном случае, разрезавшем пополам всю его жизнь, и он нарочно настраивал внимание слушателей. – Тридцать лет назад это было. Может быть, теперь нема и на свете того человека, который мне это сделал. Был он немец. Колонист...

Василь лежал на спине. Всему его телу становилось тепло и как-то необыкновенно, до смешного легко, а перед глазами зареяло бесчисленное множество крошечных светлых точек. Около него что-то говорили, двигались чьи-то руки и головы, над ним тихо колебались низкие черные ветви каких-то кустов и простиралось темное небо, но он видел и слышал все это, не понимая, как будто не он, а кто-то чужой ему лежал здесь, на траве, в густом лозняке. Потом он вдруг с удивительной ясностью услышал голос старого нищего, и сознание вернулось к нему с новой обостренной силой и с неожиданным глубоким вниманием к окружающему. И рассказ, который он слышал от Козла, по крайней мере, раз тридцать, снова наполнил его душу любопытством, волнением и ужасом.

III

–...Гляжу, у корчмы привязана до столба пара коней, – рассказывал Козел певучим, жалобным голосом. – Сразу я по хургону признал, что копи немецкие: колонисты завсегда в таких хургонах ездют. Ну ж, и кони были! Сердце у меня в грудях заходило... О-го-го! Я толк понимаю в конях. Стоят оба-два, как те лялечки, ножки в землю вросли, ушки маленькие, торчком, глазом косят на меня, как зверюки... И не то чтобы очень из себя видные, нет – не панские кони, но уж мне-то от разу видно, что они за два. Такие кони тебе пробегут хоть сто верст – и ничего им не станет. Вытри им только морду сеном, дай воды по корцу и езжай опять дальше. Ну, что там толковать! Я скажу одно: вот нехай сейчас придет ко мне господь бог альбо сам святой Юрко, и нехай он скажет мне: «Слухай, Онисиме, на тебе назад твои пальцы, по чтобы ты больше никогда не смел коней красть»... Так что ты думаешь, Бузыга? Ведь я бы тех коней опять увел. Накажи меня бог, увел бы...

– Что же дальше? – перебил его Бузыга.

– Сейчас будет дальше. Аким, сверни-ка мне покурить. Да... Ходил я, ходил округ того хургона, мабуть, целую половину часа ходил. Главное, я тебе скажу – что? Главное, что человек никогда своего времени не знает. Коли бы я их сразу отвязал да поехал – все бы у меня сошлось ладно. Дорога все время лесом, ночь темная, грязюка, ветер... чего бы лучше. А я заробел. Толкусь возле коней, как дурень, а сам все думаю: «Эх, упустил я свой час! Выйдет немец из корчмы, и всему конец». Потом снова похожу, похожу и снова думаю: «Эх, и опять потерял я время задаром! – и теперь уж и совсем нельзя». И все чего-то я робею, и сам не знаю, с чего...

– Надо сразу, – решительно молвил Бузыга.

– Ах, Левонтий, Левонтий, отчего тебя тогда со мной не было? – со страстной укоризной воскликнул Козел. – Ну, да что там!.. Тебя еще и на свете тогда не было... Да. Так я, значит, и ходил округ тех лошадей и того хургона и все боялся. Может быть, оттого это так вышло, что был я тогда трезвый и голодный... разве я знаю? Сначала все марудился без толку, а потом – точно меня по потылице ударили сзади – кинулся я до коней, распутал вожжи, стал колокольцы подвязывать... Только вдруг – хлоп! выходит из корчмы той самый немец, в шапке, с кнутом.

Увидел меня и кричит с лестницы: «Эй, ты, сукин кот, что ты там около коней околачиваешься? Украсть хочешь?» Я ему отвечаю: «Зачем же мне твою удобу красть? Своей у меня, что ли, нет? Ты меня поблагодари, говорю, что я твоих коней до столба привязал, а то утекли бы». – «Ладно, говорит, знаем мы, как вы привязываете. Пошел вон, свинья!» Ну, я, конечно, отошел в сторону, спрятался по-за корчму и стою. Зло меня взяло, аж трясусь весь. «Нет, думаю, этого я тебе так не оставлю».

– Понятно. Разве же можно простить? – уверенно подтвердил Бузыга. – Я бы хоть через год, а увел у него коней.

– Нет, Бузыга, не увел бы! – с глубоким убеждением возразил Козел. – У этого немца и ты бы не увел. Ты постой, не сердись... Ты послушай, что дальше было. Сховался я за корчмой и смотрю. Вот немец покрутился возле хургона и кричит: «Лейба, неси сюда овес!» Лейба, корчмарь, вынес ему четверть и спрашивает: «А отчего бы вам у меня в корчме не заночевать? Коней бы покормили». А тот говорит: «Нет, спасибо вам, мне нема часу, дуже далеко ехать. А коней, говорит, я в лесу покормлю, у Волчьего Разлога. До свиданья вам». – «До свиданья». Сел колониист в хургон и поехал. Я за ним. До Мысловой он шибко гнал рысью, но я дорогу знал добре, пустился тропкой через казенный лес напрямки. Вышел на шлях, сел в канаву, гляжу – едет немец шагом. Дал я ему проехать вперед – пошел за ним следом. Он коней в бег пустит – и я бегу, он шагом – и я шагом. О-го-го! Двадцать пять лет тогда мне было. Был я хлопец крепкий, не хуже тебя, Бузыга. Что ты думаешь: тридцать верстов я за ним отодрал – до самого Волчьего Разлога. По правде сказать, не надеялся я, что он станет на ночь в лесу, как говорил. Думал: нарочно это он мне баки забивает, чтоб сбить меня. Но гляжу – нет, – и всамделе свергает со шляха в лес, на поляну. Разнуздал коней, все как следует быть, оглобли у хургона кверху поднял. А я пролез на животе, как та гадюка, лег за кустом и все вижу. Потому что ночью, если с горы смотреть, то ничего не увидишь, а в гору все видно...

– Знаем, – нетерпеливо сказал Бузыга. – Ну?..

– Потом, гляжу, он надел коням на ноги путы. Путы железные, я уж издали слышу, как ляскают. «Эге-ге, думаю, значит, ты тут и вправду заночуешь». Лежу... А холодно! А ветер!.. Зубы у меня так и стучат. Но ничего, скрепился я, жду. Вижу, полз немец в хургон, поворошился там трошки и затих. Много времени пошло, может час, а может два, разве я знаю? Стал я понемногу подниматься. Думаю, спит немец или только так, дурака валяет? Взял грудку земли, бросил вперед. Немец – а ни мур-мур. А у меня на него злоба так и кипит. Вспомню, как он меня обругал, – аж зубами заскриплю. Поднялся я, сел на корячки, гляжу, а оба кони прямо на меня шкандыбают, один попереди, другой сзади. Остановятся, пощиплют траву, скубнут с куста сухой листик, и снова – трюх-трюх – и все на меня. А меня, я тебе скажу, Бузыга, никакой конь ночью не испугается. Потому что есть такое слово...

– Знаю. Враки! – сердито возразил конокрад. – Говори дальше.

– Ну, все равно, как хочешь... Подошли ко мне кони так близко, что до морды только руку протянуть. Я им сейчас: шш... о-о! милый!.. Огладил одного конька – ничего... дается... Стал я ему железку распиливать. Напилок всегда при мне был. Пилю, пилю, а сам все поглядываю: что немец? Решил я тогда второго коня не брать: дуже тяжко пилить приходилось, железки были новые, толстые, да и думаю: все равно – он меня на одном коне не догонит. Перепилил я один прут до середины. Стал пробовать, могу ли разломать. Напружился я, стараюсь со всех сил... вдруг кто-то меня сзади торк в плечо. Обернулся я, а около меня немец. Как он ко мне подобрался? черт его ведает. Стоит и зубы оскалил, точно смеется. «А ну-ка, говорит, пойдём со мной. Я тебя научу, как коней воруют». У меня от страха ноги отнялись и язык в роте как присох. А он взял меня под мышку, поднял с земли.

– А ты что же? – со злобой крикнул Бузыга.

Старик скорбно развел своими изуродованными руками.

– Не знаю, – сказал он тихо. – Вот пускай меня бог покарает, – до сего часу не знаю, что он со мной сделал. Маленький был такой немчик, ледащий, всего мне по плечо, а взял меня, как дитину малую, и ведет. И я, брат, иду. Чую, что не только утечь от него, – куда там утечь! – поворохнутья не могу. Зажал он меня, как коваль в тиски, и тащит. Почем я знаю, может, это совсем и не человек был?

Дошли мы до хургона. Одной рукой он меня держит, а сам нагнулся над хургоном и что-то лапает. Думаю я: «Что он будет делать?» А он поискал и говорит: «Нет, должно быть, не здесь».

Опять за руку повел меня вокруг хургона. Зашел с другой стороны, полапал-полапал и вытаскивает топор. «Вот он, говорит. Нашел. Ну, теперь, говорит, ложи руку на драбину». Тихо так говорит, без гнева. Понял я тогда, что он хочет мне руку рубить. Затрясся я весь, заплакал... А он мне говорит: «Не плачь, это недолго»...

Стою я, как тот бык под обухом, сказать ничего не могу, а только дрожу. Взял он мою руку, положил на полудрабок – хрясь! «Не воруй, говорит, коней, коли не умеешь». Три пальца сразу отсек. Один отскочил, в лицо мне ударился. А он опять – хрясь! хрясь! – и сам все приговаривает: «Не воруй, коли не умеешь, не воруй чужих коней»... Потом велит он мне дать другую руку. Я его, как малое дитя, слушаюсь, ложу и левую руку. И снова он мне говорит: «Не воруй коней», и хрясь топором!.. Отсек он мне все пальцы, оставил только один, вот этот. – Козел протянул вперед свою изуродованную руку с торчащим вверх большим пальцем. – Посмотрел на него, посмотрел и говорит: «Ну, говорит, все равно ты этим пальцем лошадей красть не будешь, разве что другому вору поможешь. Дарю его тебе, чтобы ты им пил, ел, трубку закуривал и чтобы обо мне всегда помнил».

– Кровь так и хлестала из меня... жжжи!.. в девять ручьев бегла. Не выдержал я. Стало мне так тошно, так скверно... А он взял меня, как котенка, за ворот, сгрел и понес. Стояла тут большая калюжа. Ночь была холодная – страсть! Аж воду сверх затянуло льдом. Притащил меня немец к той калюже, разбил сапогом лед и велит мне сунуть руки в воду. Послушался его – сразу мне стало легче. А он мне говорит: «Так и сиди, говорит, до утра. Вынешь руки – тебе же хуже будет». С этими словами отошел от меня, словил коней, запряг и уехал. Тогда я себе думаю: «Дойду до фершала...» Вынул руки – да как закричу на весь лес! Больно в Пальцах, будто их огнем пекут, а руки так и сводит в суставах... Я опять их в воду – ничего, отпускает, полегче стало... Так я – правду немец сказал – и просидел до утра. Выну руки – ну, просто гвалт, вытерпеть невозможно, опущу в воду проходит боль. К утру я совсем заоченел, а вода стала в калюжке красная, как кровь. Ехал мимо посessor из Нагорной, так он забрал меня в шарабан и привез в больницу. Перевязали меня там, вылечили, подкормили, а через месяц и на волю пустили. И на кой черт! – воскликнул он со страстной горечью. – В сто раз лучше было бы для меня там и околеть в Волчьем Разлоге!..

Он замолчал и весь согнулся, низко опустив голову. Несколько минут конокрады сидели, не говоря ни слова, не двигаясь. Вдруг Бузыга содрогнулся всем телом, точно просыпаясь от каких-то страшных грез, и шумно вздохнул.

– Что же ты сделал потом с этим немцем? – спросил он сдержанным, но вздрагивающим от злобы голосом.

– А что бы я мог сделать с ним? – печально спросил в свою очередь Козел. – Что бы ты на моем месте сделал?

– Я бы!.. Я бы!.. У-у-у!.. – зарычал Бузыга, яростно царапая пальцами землю. Он задыхался от гнева, и глаза его светились в темноте, как у дикого зверя. – Я бы его сонного зарезал... Я бы ему зубами глотку перервал!.. Я бы...

– Ты-ы бы! – с горькой усмешкой перебил его Козел. – А как бы ты его нашел? Кто он? Где он живет? Как его звать? Может, это и не человек совсем был...

– Брехня! – медленно произнес молчавший до сих пор Аким Шпак. – На свете нема никого – ни бога, ни черта...

– Все одно! – воскликнул Бузыга, стукнув кулаком о землю. – Все одно: я бы тогда стал без разбору всех колонистов подпаливать. Скот бы ихний портил, детей бы ихних калечил... И до самой смерти бы так!..

Козел тихо засмеялся и еще ниже опустил голову.

– Эх, бра-ат, – протянул он с ядовитой укоризной. – Хорошо подпаливать с десятью пальцами... А когда у тебя всего один остался, – старик опять ткнул вперед свои ужасные обрубки, – тогда тебе и дорога одна – на церковную паперть, со слепцами и калеками...

И он вдруг запел старческим, дребезжащим голосом мрачные слова древней нищенской песни:

Ой, лыхо мини, лыхо, уб-о-о-гому...

Сотворите милостыню, Христа ра-а-а-ди...

Благодетели вы иа-а-ши...

Ой, сидим мы, безногие, безру-у-у-кие,
Калики злосчастные, край доро-о-ози-и...

Он мучительным криком, фальшиво оборвал песню, уткнул голову между поднятыми вверх коленями и глухо зарыдал.

Никто не произнес больше ни слова. На реке, в траве и в кустах, точно силясь перегнать и заглушить друг друга, неумолчно кричали лягушки. Полукруглый месяц стоял среди неба – ясный, одинокий и печальный. Старые ветлы, зловеще темневшие на ночном небе, с молчаливой скорбью подымали вверх свои узловатые, иссохшие руки...

IV

Тяжелые, частые шаги послышались в лозняке, с той стороны, откуда недавно пришли Бузыга с Акимом. Кто-то торопливо бежал через чащу, шлепая без разбора по воде и ломая на своем пути сухие ветки. Конокрады насторожились. Аким Шпак стал на колени. Бузыга оперся руками о землю, готовый каждую секунду вскочить и броситься вперед.

– Кто это? – шепотом спросил Василь.

Никто ему не ответил. Грузные шаги раздавались все ближе. Среди всплесков воды и треска ветвей уже слышалось чье-то сильное, хриплое и свистящее дыхание. Бузыга быстро сунул руку за голенище, и перед глазами Василя блеснула сталь ножа.

Шум шагов внезапно прекратился. Наступил момент удивительной, глубокой тишины. Даже исполощенные лягушки перестали кричать. Что-то огромное, тяжеловесное затопталось в кустах, свирепо фыркнуло и засопело.

– Эге, да это кабан, – сказал Бузыга, и все вздрогнули от его громкого голоса. – До воды пришел.

– И то правда, – согласился Шпак, спокойно валясь на землю.

Кабан еще раз негодуяще фыркнул и кинулся назад. Долго было слышно, как хрустел он кустами в своем могучем беге. Потом все стихло. Лягушки, точно раздраженные минутной помехой, закричали с удвоенной силой.

– Когда пойдешь, Бузыга? – спросил старик.

Бузыга поднял голову и внимательно посмотрел на небо.

– Рано еще, – сказал он, зевая. – Пойду перед утром. К заре мужики спят, как куры...

Сон понемногу охватывал Василя. Земля заколыхалась под ним вверх и вниз и медленно поплыла куда-то в сторону. На мгновение мальчик увидел, с трудом открывая глаза, темные фигуры трех людей, безмолвно сидевших друг возле друга, но он уже не знал, кто они и зачем они сидят так близко около него. Из кустов, где теснились, гневно сопя и фыркая, дикие кабаны, вдруг вышел сын церковного старосты – Зинька, засмеялся и сказал: «Василько, вот лошади, поедем». И они сели вдвоем на маленькие санки и понеслись с приятной быстротой в темноте, по узкой, белой, беззвучной дорожке, между высокими соснами. Сзади бежал дедушка, он махал своими обрубленными руками и не мог их догнать, и это было необыкновенно смешно и радостно. В гривы и в хвосты лошадей были вплетены бубенчики, и на ветках темных сосен висели бубенчики – со всех сторон доносился их однообразный, торопливый и веселый звон... Потом Василь с размаху быстро въехал в какую-то темную, мягкую стену – и все исчезло...

Он проснулся от холодной сырости, которая забралась ему под одежду и трясла его тело. Стало темнее, и поднялся ветер. Все странно изменилось за это время. По небу быстро и низко мчались большие, пухлые, черные тучи, с растрепанными и расщипанными белыми краями. Верхушки лозняка, спутанные ветром, суетливо гнулись и вздрагивали, а старые ветлы, вздевшие кверху тощие руки, тревожно наклонялись в разные стороны, точно они старались и не могли передать друг другу какую-то страшную весть.

Конокрады неподвижно лежали, головами внутрь, слабо и плоско чернея своими телами в темноте. У кого-то из них рдела во рту трубка. Она то погасала, то опять вспыхивала на секунду, и красный свет, вперемежку с длинными косыми тенями, бегал по бронзовым лицам. От холода и прерванного сна мальчиком овладела усталость и длительная равнодушная скука. Он без интереса вслушивался в тихий разговор конокрадов и с тупой обидой чувствовал, что им нет до него никакого дела, как не было до него дела этим огромным, быстро несущимся молчаливым

тучам и этим встревоженным ветлам. И то, к чему он готовился в эту ночь и что прежде наполняло его душу волнением и гордостью, показалось ему вдруг ненужной, мелкой и скучной выдумкой.

– Ты все свое. Истинный ты Козел! – с досадой говорил Бузыга. – Куда мне твой соловый жеребенок, к черту? Его же в каждом селе знают, как облупленного. В позапрошлом году угнал я верхового коня у бухгалтера с сахарного завода. Весь гнедой, сукин сын, без отметины, а левая передняя нога, шут ее дери, белая. Я с ним туда, я с ним сюда – все с меня смеются, как с дурня. «Мы, говорят, с глузду еще не съехали. Такого коня и в Ровном не продашь, он по всей губернии известен». Ты не знаешь, Козел, за что я его продал? За кувшин кислого молока. Что свистишь? Верно тебе говорю. Волька Фишкин купил. Увидел, шибенник, что я от жары язык высунул, и зовет меня: «Слушайте, Бузыга, а ну, зайдите трошки до меня, кислого молока выпить». Зашел я, а он мне потом говорит: «Послушайте, Бузыга, мне с вами всегда приятно иметь дело, но этого коня у вас купит только дурень. Все равно вы его вечером бросите куда попало. Лучше бы вы его отдали мне, а я его отведу назад, на завод. Может быть, заработаю сколько-нибудь грошей на чай?» Я ему и отдал лошадь, а он ее потом в Подольской губернии, на Ярмолинецкой ярмарке, продал за сто тридцать карбованцев. Так вот что значит, Козел, таких коней уводить.

– Н-на... это так, – в раздумье протянул старик и почавкал беззубым ртом. – А вот тоже хороши караковые коньки у Викентия Сироты... И подвести легко...

– У Викентия... да, оно, конечно... – нерешительно согласился Бузыга. Викентий, это верно... Только, знаешь, Козел, жалко мне Викентия обижать. Небогатый он мужик и всегда такой ласковый... Сколько раз, бывало, голова трещит, как котел, – скажешь ему: «Опохмели, Викентий», – сейчас постарается. Нет, жаль мне Викентия...

– Ерунда! Никого не жаль, – злобно сказал Аким Шпак.

– Нет, Викентия ты оставь, – твердо приказал Бузыга. – Говори других.

– Кто же еще? Микола Грач разве?

– Микола Грач, это – другой табак. Только хитрый, дьявол. Ну, да все одно – Грача будем помнить на всякий случай.

– Можно еще Андрееву кобылу подвести, белую. Ничего кобылка...

– К черту белую! – сердито воскликнул Бузыга. – И стара, и волосы везде налезут. Первая примета... Помнишь, как Жгун с белой лошадейю вляпался?.. Тес... Помолчи-ка, Козел, – махнул он рукой на старика. – Что это с нашим хлопчиком?

Василь корчился на земле, изо всех сил стараясь съежиться таким образом, чтобы в него как можно меньше проникала холодная болотная сырость. Зубы его громко стучали друг о друга.

– Что, хлопец, проняло тебя? – услышал он вдруг над своей головой густой голос, звучащий с непривычной мягкостью.

Мальчик открыл глаза и увидел склонившееся над ним большое лицо Бузыги.

– Постой-ка, я тебя укрою, – говорил конокрад, снимая с себя пиджак. Что же ты раньше-то не сказал, дурной, что тебе холодно? Повернись трошки... Вот так...

Бузыга заботливо подтыкал полы пиджака под бока мальчику, а сам сел подле него и положил ему на плечо свою широкую, тяжелую руку. Чувство невыразимого удовольствия и благодарности задрожало у Василя в груди, волной подкатилось к горлу и защипало глаза. Пиджак был большой и очень толстый, еще теплый от тела Бузыги и пахнувший запахом здорового пота и махорки. Мальчик быстро стал согреваться под ним. Съежившись в комочек и плотно зажмурив глаза, он ощупью отыскал большую, приятно тяжелую руку Бузыги и ласково прикоснулся к ней кончиками пальцев. И уже опять в его затуманившемся сознании побежала через темный лес белая длинная дорога.

Он заснул так крепко, что ему показалось, будто он только на миг закрыл глаза и тотчас же открыл их. Но когда открыл их, то повсюду уже был разлит тонкий, неверный полусвет, в котором кусты и деревья выделялись серыми, холодными пятнами. Ветер усилился. По-прежнему нагибались верхушки лозняка и раскачивались старые ветлы, но в этом уже не было ничего тревожного и страшного. Над рекой поднялся туман. Разорванными косыми клочьями, наклоненными в одну и ту же сторону, он быстро несся по воде, дыша сыростью.

Бузыга с посиневшим от холода, но веселым лицом легонько толкал Василя в плечо и говорил нараспев, подражая колокольному звону:

По-оп Ма-а-ртын,
Спи-ишь ли-и ты?
Звонят в колокольню...

– Вставай, хлопчик, – сказал он, встретив улыбающийся взгляд Василя. Время идти.

Козел глухо кашлял старческим, утренним, затяжным кашлем, закрывая рот рукавом и так давясь горлом, как будто его рвало. Лицо у него было серо-зеленое, точно у трупа. Он долго и беспомощно махал своими культяпками по направлению Василя, но кашель мешал ему заговорить. Наконец, справившись и тяжело переводя дух, он сказал.

– Так ты, Василь, проводишь Бузыгу через Маринкино болото до Переброта...

– Знаю я, – нетерпеливо прервал его мальчик.

– А ты, щенок, помолчи! – сердито крикнул старик и опять надолго закашлялся. – Смотри, чтобы вам в казенном лесу в окно не провалиться. Там трясина...

– Да знаю же я... Говорил ты...

– Дай досказать... Помни, мимо млина не идите, лучше попод горой пройти – на млине работники рано встают. Возле панских прясел человек будет держать четырех лошадей. Так двух Бузыга возьмет в повод, а на одну ты садись и ездай за ним до Крешева. Ты слушай, что тебе Бузыга будет говорить. Ничего не бойся. Пойдешь назад, – если тебя спросят, куда ходил? – говори: ходили с дедом в казенный лес лыки драть... Ты только не бойся, Василь...

– Ну тебя к черту! Ничего я не боюсь, – небрежно огрызнулся Василь, отворачиваясь от старика. – Бузыга, пойдём, что ли...

– Ах ты, капшук. Какой сердитый! – радостно засмеялся Бузыга. – Так его, так, старого пса... Ну, айда. Иди вперед.

Аким Шпак вдруг засопел и затоптался на одном месте. Его хмурое лицо было измято бессонной ночью и казалось еще больше свороченным набок: белки черных глаз были желтые, с кровавыми жилками и точно налитые какой-то грязной слизью.

– Деньги пополам, Бузыга, – сказал он мрачно. – Мы тебя не обижаем. Половина тебе, а половина нам троим: мне, Козлу и Кубику... Так чтобы без обмана. Мы все равно потом узнаем...

– Ладно! – крикнул беспечно Бузыга. – Прощайте!

– С богом! – сказал Козел.

Аким Шпак неуклюже, всем туловищем повернулся к старику, поглядел на него с ненавистью и крепко сплюнул.

– Тьфу, нищ-щий, – прошипел он сквозь стиснутые зубы.

V

Онисим Козел жил со своим внуком на краю села, около моста, в покосившейся набок и глубоко вросшей в землю хатенке, у которой давным-давно развалилась труба, белая наружная обмазка отпала извилистыми кусками, оголив внутренний слой желтой глины, а стекла, кое-где замененные толстыми тряпками, стали от времени зелено-матовыми и отливали радужными цветами. Кроме их двоих, здесь жила еще Прохоровна – глухая, столетняя, выжившая из ума одинокая старуха. Все трое пользовались жильем бесплатно, из милости односельчан, тем более что в эту же вымороченную хату, по распоряжению начальства, свозили со всей волости, для вскрытия, удавленников, утопленников, скоропостижно умерших и убитых в драке крестьян. Тот самый стол, на котором обыкновенно обедали трое отщепенцев деревенской жизни, служил в этих случаях для помещения трупов.

Василь вернулся домой усталый и встревоженный (Козел пришел раньше и уже лежал на печке, прикрывшись с головой рваным зимним кожухом). Мальчику удалось благополучно проводить Бузыгу до Переброта. С мельницы их, кажется, не заметили, хотя там уже копошились люди и стояли телеги. Они нашли в указанном месте, у панских прясел, четырех привязанных лошадей, но Кубика при них не было. Это обстоятельство так сильно обеспокоило Бузыгу, что он взял с собой только двух коней, какие были получше, остальных же бросил привязанными, а мальчику велел немедля бежать домой, и бежать не по дороге, а напрямик через Маринкино болото и через казенный лес.

– Испугался Бузыга? – торопливо спросил Козел.

– Испугался – нет, – ответил Василь, тяжело переводя дыхание. – А рассердился крепко. Кубика грозился зарезать... И на меня рассердился... Я ему говорю: «Все равно, Бузыга, я не боюсь, возьмем всех коней и поедем»... Как он закричит и на меня! Я думал, прибьет... Побежал я от него...

– А мне? Мне он ничего не велел сказать?

– Велел. Скажи, говорит, старику, чтобы весь день сидел дома и никуда чтобы не рыпался. А если будут тебя спрашивать про Бузыгу и про коней, то чтобы ты отвечал, что ничего не знаешь и ничего не слышал...

– Господи, царица небесная, что же это такое... – плаксиво и беспомощно воскликнул Козел.

Василь жадно, большими глотками, пил из деревянного ковша воду.

– Должно быть, за Бузыгой погнались, – сказал он, отрывая на минуту от ковша вспотевшее лицо. – Я, когда болотом бежал, слышал: много народу по шляху поскакало. Верхом и на телегах...

Старик растерянно моргал своими красными, точно вывороченными, слезящимися веками. Лицо у него от страха перекошилось, и один угол рта задержался.

– Ложись, Василь, ложись скорей на лавку! – лепетал он срывающимся голосом. – Ложись скорей. Ой, горе наше, господи, господи!.. Чьих лошадей он увел? Ты не видал? Ох, да ложись же ты!..

– Одну я не знаю, а другая наша, Кузьмы Сотника чалая кобылка...

– Кузьмы? О, господи!.. Что же теперь будет? Как ведь просил я Бузыгу: не трогай из нашего села коней – на тебе! – вздыхал Козел, возясь у себя на печке. – Василь, ты помни, если будут спрашивать, куда ходили, – говори – в казенный лес за лыками. А лыки, скажи, лесник отнял. Слышишь?

– Ну тебя, слышу! – сурово отозвался мальчик.

– Святители и чудотворцы наши, угодники божий! – продолжал причитать Козел. – Не может же это быть, чтобы Кубик донес: не такой он хлопец. А все Бузыга – чугунная голова!.. На кой ему черт было двух коней угонять? Ты говоришь, много народу скакало? Господи, господи!.. И всегда он так: своей головы ему не жаль, так и на чужую наплевать. Ведь сам видит, подлец, что дело дрянь, ну, и утекал бы скорей, – нет, ему надо гусара доказать, перед мальчишкой ему стыдно... Господи, господи!.. Василь, ты спишь?

Мальчик сердито промолчал. Старик долго еще копошился на печке, кряхтя, и охая, и разговаривая сам с собой быстрым, испуганным шепотом. Он хотел уверить себя, что никакой опасности нет, что отсутствие Кубика объяснится со временем какой-нибудь пустой случайностью, что верховые по дороге просто померещились мальчику от страха, и хотя ему удавалось на короткие минуты обмануть свой ум, но в глубине души он ясно и безошибочно видел, как на него надвигалась грозная, неотвратимая смерть. Порою он прерывал свой бессмысленный шепот и напряженно прислушивался. Каждый шорох, каждый отдаленный стук или голос заставляли его вздрагивать и замирать. Один раз, когда под самым окном оглушительно заорал и захлопал крыльями чей-то соседский петух, – старый нищий почувствовал, как вся кровь отхлынула у него от головы к затрепетавшему сердцу и мгновенно ослабевшее тело покрылось горячей, колючей испариной.

Так прошло около часа. Из-за желтых полей, по ту сторону моста, поднялось солнце. В темную закопченную хату, пропитанную запахом овчины и вчерашних щей, хлынули через два окна два воздушные столба веселого золотого света, в которых радостно заплясали бесчисленные пылинки. Козел вдруг быстро сбросил с себя кожух и сел на печке. Его старческие бесцветные глаза широко раскрылись с выражением безумного ужаса. Посиневшие губы криво шевелились, не произнося ни звука.

– Ид...дут! – наконец проговорил он, заикаясь и тряся головой. В-васи-иль, идут... Смерть наша... Василь...

Мальчик уже давно слышал неясный, глухой и низкий гул, который, как раскачавшиеся волны, то подымался, то падал, становясь с каждой минутой все страшнее и понятнее. Но, казалось, какая-то отдаленная твердая преграда еще сдерживала его. И вот эта невидимая стена внезапно раздвинулась, и долго сдерживаемые звуки хлынули из-за нее с ужасающей силой.

– К нам повернули. Убьют нас, Василь! – дико вскрикнул Козел.

Теперь стало слышно, как по улице бежала, тяжело гроыхая подкованными сапогами и яростно рыча, огромная толпа, обезумевшая и ослепшая от жестокого, не знающего пределов, беспощадного мужицкого гнева.

– Тащи их сюда! Ломай двери! – заревел под окном чей-то голос, в котором не было ничего человеческого.

Незапертая дверь, сорванная с клямки, распахнулась, оглушительно хлопнув о стену, и в яркий просвет, образованный ею, ворвалась черная кричащая толпа. С исковерканными злобою лицами, давя и толкая друг друга и сами не замечая этого, в хату стремительно ввергались, теснимые сзади, десятки потерявших рассудок людей. Растрепанные, волосатые, озверелые лица нагромоздились снаружи по окнам, загородив собою золотые пыльные столбы света и затемнив комнату.

Василь сидел, не шевелясь, плотно прижавшись спиной к стене, бледный и дрожащий, но не испуганный. Он видел, как сначала слетел с печки дедушкин козух и как потом свалился оттуда, беспомощно мелькнув над головами толпы, и сам Козел. Старый нищий что-то кричал, широко разевая беззубый рот, с бесстыдными гримасами ужаса и подобострастия, отвратительными на его старом, изъеденном морщинами лице, потрясал своими поднятыми кверху обрубками, показывал ими на образ, торопливо крестился и с размаху бил себя ими в грудь. А на него лезли со всех сторон налившиеся кровью, остеклевшие от гнева глаза, искривленные бешеным криком губы, его сжимали жаркие, потные тела, под натиском которых старик вертелся, как щепка, попавшая в водоворот.

– Бей его, бей, злодия!.. Чтó? Врешь, сук-кин сын! Цыпенюк, дай ему раза!.. На улицу его, хлопцы, волоките на улицу! Ты у нас давно, как чирей, сидишь. В землю живого закопаем... Бей! – вырывались из общего рева отдельные восклицания.

– Господа громада!.. Ей-богу!.. Вот как перед богом! – выкрикивал визгливо Козел. – Нехай меня бог убьет на этом месте, нехай меня болячка задавит!.. Чтób мне, как той собаке, подохнуть без святого причастия!..

Вдруг, покрывая сразу эту бурю проклятий, божбы и ругани, раздался громадный голос Кузьмы Сотника, который, возвышаясь но плечи над толпою, кричал, побагровев от напряжения:

– Стой, братцы!.. Надо это дело обследовать. Тащите его до Бузыги!

– Тащи!.. У-у-у!.. Бери!.. Всем им конец сделаем!..

С той же стихийной стремительностью, с какой эта толпа вторгалась в хату, она кинулась на улицу. Кто-то схватил Василя сзади и швырнул его в кучу барахтающихся тел, и, стиснутый со всех сторон, оглушенный, измятый в дверях кулаками и локтями, он был выброшен общим потоком наружу.

Необычное, странное зрелище представляло село в это прелестное летнее утро. Несмотря на будний, рабочий день, оно все кипело народом. Уже запряженные в телеги и в сохи, но впопыхах брошенные людьми лошади стояли почти у каждых ворот. Ребятишки и бабы бежали, не оглядываясь, и все в одном направлении – к церкви. Собаки заливались лаем, куры с тревожным кудахтаньем, бестолково махая крыльями, разлетались в разные стороны из-под ног. Толпа быстро увеличилась новыми людьми и раздалась во всю ширину улицы. Сбившись в густую массу, задыхаясь в давке, разгорячаясь от прикосновения друг к другу, люди бежали с хриплыми криками, с пеной у рта, точно стая бешеных животных.

На лужайке, перед винной лавкой, сплошным черным кругом теснился народ. Обе толпы слились, перепутались и сжали друг друга. Какая-то чудовищная упругая сила выбросила вперед Козла и Василя.

В середине, на узком, свободном пространстве, инстинктивно огороженном толпой, лежал на сырой и темной от крови траве Бузыга. Все лицо его представляло собою большой кусок окровавленного, разодранного в клочья мяса. Один глаз был вырван и висел на чем-то, похожем на красную, мокрую тряпку. Другой глаз был закрыт. Вместо носа по щекам разлипалась большая, мягкая кровавая лепешка. Усы были залиты кровью. Но самое ужасное, невыразимо ужасное, было в том, что этот обезображенный человек лежал на земле и молчал в то время, когда вокруг него клокотал и ревел опьяненный злобой народ.

Кузьма Сотник схватил Козла за ворот свитки и с такой силой пригнул его вниз, что старик упал на колени.

– Гей! Тихо! – крикнул Кузьма, обернувшись назад. – Молчите.

Он был сегодня вождем и возбудителем страстей. Его послушались. Рев толпы понемногу стих, точно убегая от передних к задним.

– Бузыга! – раздельно и внятно крикнул среди наступившей тишины Кузьма, низко наклонясь над конокрадом. – Слышишь, больше тебя бить не станем. Отвечай по совести: был с тобой Козел или нет?

Бузыга молчал, не открывая своего единственного глаза. Его грудь подымалась так часто и так высоко, что казалось невероятным, что человек может так дышать, и при каждом вздохе в горле у него что-то свистело и всхлипывало, точно там с трудом просачивалась сквозь узкую трубку какая-то жидкость.

– Ты не прикидывайся, сволочь! – грозно возвысил голос Кузьма, и, высоко занесши ногу и крякнув от натуги, он со страшной силой ударил своим подкованным сапогом Бузыгу в низ груди, в то место, где начинают расходиться ребра.

– У-ух! – тяжело и жадно вздохнула разом вся толпа.

Бузыга застонал и медленно поднял веко.

Первое, что он увидел, было лицо Василя. Бузыга долго, пристально и равнодушно глядел на мальчика, и вдруг Василю показалось, что запекшийся рот конокрада чуть-чуть тронулся страдальческой и ласковой улыбкой, и это было так неестественно, так жалко и так страшно, что Василь невольно вскрикнул, всплеснул руками и закрыл лицо.

– Говори же, сатана! – крикнул в ухо Бузыге Сотник. – Слухай: если скажешь, кто тебе подмогал, сейчас отпустим. А то уьем, как собаку. Господа громада, скажите ему: правду я говорю чи нет?..

– Правду... Говори, Бузыга, ничего тебе больше не будет, – глухой волной перекатилось в толпе.

Бузыга тем же долгим, странным взглядом поглядел на Василя и, с усилием раздвинув свои разбитые губы, произнес еле слышно:

– Никто... не был... один...

Он закрыл глаз, и опять его грудь заходила высоко и часто.

– Бей его! – пронзительно вырвался из задних рядов чей-то дрожащий, нервный, полудетский голос. Толпа шатнулась, глухо заворчала и плотнее надвинулась на узкое пространство, где лежал конокрад.

Козел, не вставая с колен, подполз к Кузьме и обхватил его ноги.

– Миленькие!.. благодетели! – лепетал он бессмысленно и слезливо. – Ножки, ножки ваши целую... Видит бог, дома был... ходил лыки драть... видит бог!.. Матерь божия!.. Голубеночки ж вы мои... миленькие!.. Стопочки ваши целую... Калека я...

И он в самом деле, ползая на коленях и не выпуская из рук сапог Кузьмы, так иступленно целовал их, как будто в этом одном заключалось его спасение. Кузьма медленно оглянулся назад на толпу.

– Черт с ним! – вяло произнес какой-то древний старик, стоявший впереди.

– Черт с ним! – подхватило несколько голосов. – Може, и не он. Это крешевские, ихний и конь был!.. Чего там?.. Отпустить Козла... Это крешевские... допросить старосту...

Козел продолжал ползать на коленях от одного мужика к другому. От ужаса близкой и жестокой смерти он уже перешел к блаженной радости, но нарочно из угодливости притворялся непонимающим. Слезы бежали по его безобразно кривившемуся лицу. Он хватал, не разбирая, чьи-то жесткие мозолистые руки, чьи-то вонючие сапоги и взасос, жадно целовал их. Василь стоял, бледный и неподвижный, с горящими глазами. Он не отрывался от страшного лица Бузыги, ища и боясь его взгляда.

– Уходи! – сурово сказал Кузьма Сотник и толкнул старика ногой в спину. – Уходи и ты, Васильке!.. Бузыга! – крикнул он тотчас же, повернувшись к умиравшему конокраду. – Слышь! Я тебя в последний раз спрашиваю: кто с тобой был?

Толпа опять надвинулась ближе. Та же самая сила, которая только что выбросила Козла и мальчика вперед, теперь несла их назад, и встречные люди нетерпеливо давали им дорогу, так как они мешали их напряженному вниманию. Сквозь мягкую и плотную преграду человеческих тел Василь слышал глухой, точно задавленный бас Кузьмы, продолжавшего допрашивать Бузыгу. Вдруг прежний тонкий истеричный голос крикнул над самой головой мальчика:

– Бей Бузыгу!..

Все, что стояли сзади, тяжело навалились, тесня передних, и горячо задышали. Козел с Василем очутились на свободе.

– Господи, царица наша небесная! – радостно бормотал старик, одним обрубком вытирая слезы, а другим торопливо крестясь. – Василь, родненький ты мой! Господи!.. Выскочили мы с тобой... Василь!.. Господи... выскочили! Что ж ты стоишь? Бежим до хаты!..

– Иди, я не пойду, – мрачно сказал Василь.

Он, казалось, был не в силах отвести свои горящие глаза от черной, неподвижной, страшно молчаливой толпы. Его побелевшие губы шептали, дрожа и дергаясь, какие-то непонятные слова.

– Василько, ходим же! – умолял Козел, хватая внука за руку.

В это время черная масса дрогнула и закачалась, точно лес под внезапно налетевшим ветром. Глухой и короткий стон яростно прокатился над ней. В один миг она тесно сжалась, и тотчас же опять раздалась, разорвавшись клочьями, и опять сжалась. И, оглушая друг друга неистовыми криками, люди сплелись в безобразной свалке.

– Василь, миленький, ради бога! – бормотал заплетающимся языком старик. – Пойдем... убьют ведь нас!..

Ему удалось с трудом оттащить мальчика от лужайки. Но на углу Василь, пораженный внезапно наступившей тишиной, вырвался от деда и оглянулся назад.

Толпа не бурлила больше. Она стояла неподвижным, черным кольцом и уже начинала таять: отдельные фигуры – понурые, с робкими движениями, точно прячась и стыдясь, медленно расползались в разные стороны.

– Господи, помяни раба твоего, грешного Левонтия, и учини его в рай, привычной нищенской скороговоркой зашептал Козел. – Убили Бузыгу, – сказал он с притворной печалью.

Он знал, что народный гнев уже достаточно насытился кровью и что смерть прошла мимо его головы, и не умел скрыть своей глубокой животной радости. Он заливался старческим, бесшумным длинным смехом и плакал; болтал лихорадочно, без остановки и без смысла, и делал сам себе лукавые, странные гримасы. Василь с ненавистью поглядывал на него искоса и брезгливо хмурился.

1903

В казарме

(Картинка)

Канун рождества. С утра и до самого обеда 4-я рота прибиралась к празднику. В одних нижних рубашках и в засученных по колена портах, но с галстухами на шеях, солдаты мыли асфальтовые полы, протирали окна и белили известкой стены казармы. Вечером – деваться некуда от скуки. На дворе, не переставая, валил тихий, густой, крупный снег. Он начался еще до рассвета и падает беззвучно, неторопливо и упорно, точно обещая, что никогда ему не будет конца. Из-за него не видно неба, но оно должно быть, мутное, хмурое и такое же тоскливое, как и все в этот день.

В казарме темно, потому что фельдфебель Осип Иванович Гуменный пользуется отсутствием офицеров и «загоняет экономию» на керосин. Горит лишь один стенной ночник посередине между вторым и третьим взводом. Он бросает тусклый, коричневый, бессильный свет на стену, на таблицы с рисунками, на ближнюю пирамидку с ружьями, но, благодаря ему, темнота в дальних углах казармы кажется еще темней, холодней и унылее.

Ефрейтор 3-го взвода Верещака собрал своих «молодых» и репетит с ними словесность. В этом, собственно говоря, нет никакой надобности, да и время теперь считается свободным от занятий, но Верещака изнывает от безделья, и сознание своей неограниченной власти, к которой он не успел еще досыта привыкнуть, доставляет ему лишний раз острое, щекочущее удовольствие.

Под началом у него пять новобранцев и один вольноопределяющийся. Новобранцами еф-

рейтор очень доволен. Только месяц тому назад их «пригнали» из деревни, и потому они скромны, почтительны, усердны, запутаны чуждой казарменной обстановкой и совсем обиты с толку диким для них обиходом солдатской жизни. Глубина знаний, усвоенных Верещакой, кажется им бездной, превосходящей все доступные человеку пределы. Когда ефрейтор объясняет им тайны словесной науки или показывает художественные тонкости ружейных приемов, они глядят на него, широко раскрыв рты и выпучив напуганные глаза. Это внимание сильно и заметно льстит Верещаке, которому иногда, лишь с большим трудом, удается сохранить небрежный и суровый начальственный вид.

Зато вольноопределяющийся огорчает ефрейтора своей непочтительностью. В чем заключается эта непочтительность, Верещака не может точно определить: вольноопределяющийся вежлив, сдержан, величает Верещаку г-ном ефрейтором, встает, когда тот обращается к нему с вопросами, словом, держит себя, как настоящий подчиненный с начальником, и придраться к нему нельзя ни с какой стороны. Но в глазах у него есть всегда какая-то тонкая, неуловимая искорка, которая смущает строгого ефрейтора и часто заставляет его отводить глаза, а в тоне коротких и ясных ответов сквозит что-то необычайно спокойное и равнодушное, от чего Верещака ни с того ни с сего перестает ощущать у себя в душе радостно-начальственные чувства. Поэтому он скрыто ревнует вольноопределяющегося к власти, не упускает вернуть на его счет ядовитое замечание, но схватываться с ним в открытую боится: вольноопределяющийся неуловим, ускользает, как вьюн, от начальственного гнева, и ефрейтор уже оставался несколько раз в дураках, пробуя над ним систему устрашения. Молодые сидят на двух койках, по трое с каждой стороны, лицами друг к другу. Ефрейтор ходит взад и вперед по свободному пространству между кроватями и стеной, задает вопросы и объясняет. Наружностью он похож на тех бравых солдат, которых рисуют на мишенях для стрельбы и на лубочных картинках, а тон голоса у него настоящий унтер-офицерский – певучий, молодеватый и бессмысленный. Таким именно тоном солдаты исполняют на своем домашнем театре царя Максимилиана и его непокорного сына Адольфия.

– Что у тебя, Бондаренко, у руках? – спрашивает он нараспев.

Бондаренко, ударив обеими ногами об пол, вскакивает прямо и быстро, точно деревянная кукла на пружине. Он сначала с недоумением косится на свои растопыренные пальцы, потом робко взглядывает на ефрейтора и отвечает вопросительно:

– Н-ничого, дяденька?..

– Вот, и видно сразу, что ты з деревни и к тому же дурень. Это только в настояшшо время нема ничего. А ежели ты, примерно, стоишь у строю с ружом и до тебе подходит начальство и спрашивает: что у тебе в руках, Бондаренко? Что ты должен отвечать?

– Ружо, дяденька? – догадывается Бондаренко.

– Брешешь. Разве ж это ружо? Ты бы еще сказал по-деревенски – рушница. То, брат, дома было – ружо, а на дистительной службе оно вже звется по-другому. – И он начинает торжественно и размеренно:

– У нас это зовется просто: малокалиберна, скорострельна, пехотна винтовка, системы Бердана, номер уторой, со скользящим затвором, образца 18* года... – И, внезапно разъярившись, ефрейтор добавляет:

– Повтори, собачий сын.

Бондаренко скороговоркой повторяет слова начальника.

– Садись, – произносит, несколько успокоившись, ефрейтор. – Теперь скажи мне... – Он обводит глазами всех молодых. – Шевчук!..

Шевчук вскакивает так же прямо и с таким же грохотом, как и Бондаренко.

– Скажи мне, для чего она тебе дана?

Шевчук несколько секунд молчит, потом весь надувается и втягивает в себя шею, отчего делается похожим на озябшего воробья, и, быстро моргая глазами, говорит сиплым, сдавленным фальцетом:

– Что бы я з нее, дяденька, стрелял?

– Брешешь, тряся твоей матери! – сердито перебивает Верещака. – Это ты у себя в деревне зайцев стреляй... Сироштан, для чего она тебе дана?

Сироштан встает и угрюмым голосом, с угрожающим видом отвечает:

– Она мини дана для того, чтобы я в мирное время робил з ею ружейные приемы, а в воен-

ное время защищал отечество от врагов.

Он думает с минутку и прибавляет решительно и мрачно:

– Как унутренних, так и унешних...

– Правильно. Садись. Сироштан. Бачишь теперь, Шевчук, для чего она тебе дана? Повтори, матери твоей бис.

Шевчук слово в слово повторяет ответ Сироштана.

– Садись, – отрывисто командует ему Верещака. – Овечкин, кого мы называем врагами унешними?

Разбитной орловец Овечкин, в голосе которого слышится слащавая скороговорка бывшего полового, отвечает быстро и щеголевато:

– Внешними врагами это мы называем все те государства, с которыми нам приходится вести войну. Французы, атальянцы, англичанцы, турки, американцы, европейцы...

– Годи! – строго останавливает его Верещака. – Это вже в уставе не значится. Садись, Овечкин... А теперь... скажет мне... Архипов!.. Кого мы называем унутренними врагами?..

Последние слова он произносит особенно громко и выразительно, точно подчеркивая их, и бросает быстрый, многозначительный взгляд в сторону вольноопределяющегося. Неуклюже поднявшийся Архипов упорно молчит, глядя перед собой в темное пространство казармы. Дельный, ловкий и умный парень у себя в деревне, он держится на службе совершенным идиотом. Очевидно, это происходит оттого, что его здоровый ум, привыкший к простым и ясным явлениям деревенского обихода, никак не может уловить связи между преподаваемой ему наукой словесности и настоящей жизнью. Поэтому он не понимает и не может заучить наизусть самых простых вещей, к величайшему удивлению и негодованию своего отделенного начальника.

– Пень дубовый! Толкач! Верблюд! Что я тебе спрашиваю? – горячится Верещака. – Повтори, что я тебе увспросил, батькови твоему сто чертей!..

– Враги, – тихо и бессмысленно, точно бредя, произносит Архипов.

– Враги! – передразнивает ефрейтор. – Совсем ты верблюд, только у тебя рогов нема. Какие враги, чертяка собачья.

– Внешни...

– У-у. сввол-лочь! – шипит сквозь стиснутые зубы Верещака. Унутренние!..

– Нутренни...

– Ну?

– Враги.

– Вот тебе враги!

Архипов вздрагивает головой, нервно кривит губами и крепко зажмуривает глаза. Остальные новобранцы еще прямей вытягиваю! спины и еще тесней прижимают ладони к коленям. Лицо у вольноопределяющегося так же спокойно, как и у других, но на скулах, под тонкой кожей, напряглись и судорожно двигаются сухожилия. Верещака по опыту знает, что теперь от Архипова не дожدهшься ни слова.

– Так и стой усе время, стэрво! – говорит он, потирая руку, занывшую в локте от неловкого удара. – И слухай, что я буду говорить. Унутренними врагами называются усе сопротивляющиеся российским законам. Ну, и. кроме того, еще злодии, конокрады и, вообще, которые бунтовщики... Повтори, Архипов, усе, что сейчас сказал.

Четверть часа проходит в том, что Архипов напрягает все свои умственные способности, сисясь удержат в памяти определение унутренних врагов, а Верещака, помогая ему в этом, истощает весь свой ругательный лексикон. Наконец, с грехом пополам, новобранцу удастся повторить слова ефрейтора. Верещака чувствует себя усталым. Он вытирает лицо и шею ситцевым платком, на котором напечатана в рисунках сборка и разборка винтовки, и молча прохаживается взад и вперед вдоль окон. Новобранцы сидят по-прежнему неподвижно, вытянув руки вдоль колен, и следят, ворочая головами, за фигурой своего учителя. Где-то на другом конце казармы слышится мерный, тягучий голос, читающий вслух сказку:

– В то время к славной столице Зензивеевой подступил с огромным войском князь Лукопер, у которого голова была с пивной котел, а между глаз целая пядень. Дочь же соседнего короля, прекрасная Мельчигрия Султяновна. взятая в плен коварным Маркобруном...

А из открытой двери цейхгауза доносится нежный дискант старого солдата Фомичева,

полкового псаломщика, напевающего вполголоса рождественские ирмосы³¹:

– Же-езл от корени Иесеева, и-ницвет от него Христе...

Эти звуки, смягченные грустью и темнотой зимнего вечера, кажутся необыкновенно приятными и трогательными. Прислушиваясь к ним, молодые солдаты еще сильнее чувствуют тоску по оставленным родным деревням, жгучую, вечернюю тоску, которую из них долго еще не вытравит солдатчина, с ее сквернословием, похабными песнями и напускным молодечеством.

– Вольноопределяющийся! Что есть знамя? – нарушает молчание Верещака. Мысли вольноопределяющегося были за сотни верст от казармы. Услышав вопрос ефрейтора, он вздрагивает и смотрит с удивлением, как только что разбуженный человек.

– Знамя есть священная воинская хоругвь, под которой собираются...

– Стой! – перебивает его Верещака, простирая вперед руку с растопыренными пальцами. – Неправильно. Повторите еще раз. Только не так швидко. По малу: Вольноопределяющийся повторяет то же самое, но более медленно, а Верещака дирижирует ему указательным пальцем:

– Знамя... есть... священная... воинская хоругвь.

Палец ефрейтора останавливается в воздухе и обличительно направляется в грудь вольноопределяющегося.

– И брешешь! – с укором и торжеством говорит Верещака. – Брешешь! повторяет он с язвительным фальцетом. – Какую ты там еще выдумал хоруг? Хе-руг-ва!.. От как нужно, а совсем не хоруг. Так и говори: знамя есть священная воинская херугва, под которою собираются защитники престола и отечества. Повтори.

– Кажется, в памятке написано хоругвь, г. ефрейтор?..

– Кажется? А вот мне кажется удивительным, чему вас там у студентах учат... Ежели тебе начальство говорит херугва, то оно так и есть – херугва. И никаких!.. А ты мне тут начинаешь симметрично дурака валять. Ты думаешь, что як ты з господ, то тебе усе можно! Не-ет, брат, – поцелуй меня у спину, бо я на Спаса мед ел. Я тебя, брат, так распатрону!..

Несмотря на то, что вольноопределяющийся по обыкновению молчит, ефрейтор чувствует себя несколько сконфуженным. Он отводит глаза в сторону и старается замять вопрос о правильности произношения.

– Скажи мне, Шевчук, что такое часовой?

Шевчук по-прежнему нахохливается, моргает глазами и отвечает:

– Часовой есть лицо неприкосновенное.

– Правильно. А почему, Бондаренко?

– Потому что до его никто не смеет дотронуться.

– Верно. Садись, Бондаренко. А что бывает у противном случае, Сироштан?

– У протывном случае строго зиськуется, – говорит Сироштан мрачным голосом и не глядя на ефрейтора. Этот ответ вдруг почему-то возмущает Верещаку.

– Как же ты разговариваешь с начальством. Сироштан? Разве ж тебя не учили, как с начальством разговаривать? А? Поверни ко мне свою собачью морду и отвечай: как ты должен разговаривать с начальством?

– Я должен отвечать только, когда меня спрашивают, глядеть начальнику в глаза, говорить бодро и весело, и притом всегда чистую правду, произносит Сироштан еще более угрюмым тоном.

– От, видишь. А ты свою лыку воротишь от начальника. Садись. Овечкин, ежели ты часовой, то для чего поставлен на пост?

– Для того, чтобы я не спал, не дремал, не свистал, не курил, не разговаривал и подавал честь гг. офицерам.

– А еще?

– И чтоб я не принимал от посторонних лиц никаких предметов и вещей на хранение.

– Хорошо, садись. Повторите, вольноопределяющийся, для чего часовой поставлен на своем посту?

– Для того, чтобы охранять вверенный ему пост, – спокойно отвечает вольноопределяющийся.

³¹ Род богослужебного песнопения.

– И опять брешешь! – сердито кричит Верещака, топая ногой. – Повтори то, что тебе приказано, и больш никаких!..

– Слушаю, господин ефрейтор. Но в уставе прямо сказано. И третьего дня поручик Зыбин объяснял...

Упоминание о поручике окончательно выводит Верещаку из себя. Мягкий и участливый ко всем солдатам, поручик Зыбин держится с Верещакой чрезвычайно сурово и часто осаживает его за бестолковость и жестокость в обращении с новобранцами. А несколько дней тому назад он даже вызвал Верещаку в фельдфебельскую комнату и там, глаз на глаз, сказал ему, грозя перед его носом рукой в надушенной замшевой перчатке:

– Я вижу, Верещака, что у тебя молодые запуганы. Поэтому запомни, болван, что если я узнаю, что ты хоть пальцем тронул новобранца, сейчас же подам рапорт и – под суд! Понимаешь? Ступай...

Тогда произошло удивительное явление. Верещака, многократно битый за свою трехлетнюю службу – сначала дядьками, а потом унтер-офицерами и фельдфебелями, – вдруг впервые почувствовал себя глубоко оскорбленным коротким и презрительным выговором, который ему сделал этот застенчивый, ласковый поручик с лицом хорошенькой девочки. Непонятная обида до сих пор еще не улеглась в сердце ефрейтора, и слова вольноопределяющегося вдруг сообщили ей новую остроту.

– Что ты мне в нос тычешь своего поручика? – закричал он, двигая сердито и хвастливо бровями и трясая серебряной серьгой, вдетой в правое ухо, – Теперь я тебе поручик – и никаких! В чем состоит воинская дисциплина? Делай же, что прикажет начальник, а против государя не облай. От что! А ты мне – устав. Здесь я для тебя устав. Здесь, у казарме, я для тебя царь и бог и больш никаких! И прошу не рассуждать, о чем не понимаешь. Поручик! А почему ты знаешь? – и ефрейтор с размаху стукнул кулаком о подоконник, – почему ты знаешь, што я сам не могу быть поручиком? А вот захочу и подамся в юнкерское училище, на обучение. Шо? Зьел? Из коридора громко раздается начальственный голос старого унтер-офицера Ковалева:

– Третий взвод, в баню! С узелками на правый фланг казармы – бегом!

Лица у новобранцев оживляются, а руки нетерпеливо ерзают по коленям. Ефрейтору хотелось бы лишний раз проявить свою власть и задержать на несколько минут молодых, но он сам побаивается горячего и дерзкого на руку Ковалева.

– Ну, лаборданцы... до следующего раза, – говорит он, притворяясь, что это милостивое разрешение зависит исключительно от него. – Собирай узелки... живо! Через час люди возвращаются из бани. Овечкин, которому досталась высокая честь мыть и парить Верещаку, приглашает ефрейтора в солдатскую чайную.

– После легкого пару-то, Кузьма Иваныч... по махонькой?..

Ефрейтор снисходительно принимает приглашение, и оба они, красные, потные, с венниками под мышкой, заходят в чайную. После второго стаканчика умиротворенный и благодушно настроенный Верещака говорит Овечкину, с наслаждением пережевывая кусок свиного сала:

– Бачу я, Овечкин, что ты вже начинаешь стараяца. Если праздниками захочешь идти в отпуск, то можешь... А кому ты должен в этом случае доложиться? – вдруг обращается он с напускной строгостью к подчиненному.

Овечкин понимает и ценит начальственную шутку и отвечает в тон ефрейтору, с преувеличенной почтительностью:

– Я должен спроситься об этом у своего отделенного начальника.

– Так, молодчага. А кто у тебя отделенный начальник?

– Ефрейтор Кузьма Иваныч Верещака. Дозвольте еще по одной, Кузьма Иваныч?..

– Мм... Как бы не завредило... Разве по последней?..

– Помилуйте-с. после баньки-то!.. Землячок, нацедите еще по скляночке. За ваше здоровье, Кузьма Иваныч. Дай бог благополучно.

Проходит еще час. На дворе поднялась метель. Она бушует за стенами казармы, бросает в окна пригоршнями сухой снег и воет в печных трубах. Медленно умолкает и засыпает казарма. Слышатся долгие зевки, отрывистое бормотанье молитвы, вздохи и глухой кашель. На койке унтер-офицера Ковалева, в ногах, сидит по-турецки старый солдат Ищенко. Он тихо раскачивается взад и вперед, поглаживает ладонями свои колени и страшным голосом, точно сам боясь своих слов, рассказывает сказку:

– Видит он, что ничего против солдата не может, и посылает до его самого сильного и могучего волшебника. Вот приходит той волшебник до того солдата и говорит: «Солдат, я тебя зьем». А солдат ему говорит: ни! Ты меня не можешь зъестъ: так что я и сам волшебник.

Но затихает и сказка. Люди тяжело храпят и бредят во сне. По казарме осторожными, ленивыми шагами ходит скучающий дневальный. Слышно, как в умывалке выбивает нежную, музыкальную дробь вода, капающая из умывальников в медную раковину. И только где-то в самом дальнем и темном углу четвертого взвода раздается быстрый, пугливый шепот:

– А кто у нас генерал-фельдцейхмейстер?

И другой – такой же тревожный шепот отвечает:

– Его... императорство... высочество... А разгулявшаяся вьюга то потрясает порывисто оконными рамами, то, забравшись между стеклами, визжит тонким, злобным, дребезжащим голосом.

1903

Белый пудель

I

Узкими горными тропинками, от одного дачного поселка до другого, пробиралась вдоль южного берега Крыма маленькая бродячая группа. Впереди обыкновенно бежал, свесив набок длинный розовый язык, белый пудель Арто, остриженный наподобие льва. У перекрестков он останавливался и, махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. По каким-то ему одному известным признакам он всегда безошибочно узнавал дорогу и, весело болтая мохнатыми ушами, кидался галопом вперед. За собакой шел двенадцатилетний мальчик Сергей, который держал под левым локтем свернутый ковер для акробатических упражнений, а в правой нес тесную и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь. Наконец сзади плелся старший член группы – дедушка Мартын Лодыжкин, с шарманкой на скрюченной спине.

Шарманка была старинная, страдавшая хрипотой, кашлем и перенесшая на своем веку не один десяток починок. Играла она две вещи: унылый немецкий вальс Лаунера и галоп из «Путешествий в Китай» – обе бывшие в моде лет тридцать – сорок тому назад, по теперь всеми забытые. Кроме того, были в шарманке две предательские трубы. У одной – дискантовой – пропал голос; она совсем не играла, и поэтому, когда до нее доходила очередь, то вся музыка начинала как бы заикаться, прихрамывать и спотыкаться. У другой трубы, издававшей низкий звук, не сразу закрывался клапан: раз загудев, она тянула одну и ту же басовую ноту, заглушая и сбивая все другие звуки, до тех пор пока ей вдруг не приходило желание замолчать. Дедушка сам сознавал эти недостатки своей машины и иногда замечал шутливо, но с оттенком тайной грусти:

– Чтó поделаешь?.. Древний оргán... простудный... Заиграешь – дачники обижаются: «Фу, говорят, гадость какая!» А ведь пьесы были очень хорошие, модные, но только нынешние господа нашей музыки совсем не обожают. Им сейчас «Гейшу» подавай, «Под двуглавым орлом», из «Продавца птиц» – вальс. Опять-таки трубы эти... Носил я орган к мастеру – и чинить не берется. «Надо, говорит, новые трубы ставить, а лучше всего, говорит, продай ты свою кислую дребедень в музей... вроде как какой-нибудь памятник...» Ну, да уж ладно! Кормила она нас с тобой, Сергей, до сих пор, бог даст и еще покормит.

Дедушка Мартын Лодыжкин любил свою шарманку так, как можно любить только живое, близкое, пожалуй, даже родственное существо. Свыкнувшись с ней за многие годы тяжелой бродячей жизни, он стал наконец видеть в ней что-то одухотворенное, почти сознательное. Случалось иногда, что ночью, во время ночлега, где-нибудь на грязном постоялом дворе, шарманка, стоявшая на полу, рядом с дедушкиным изголовьем, вдруг издавала слабый звук, печальный, одинокий и дрожащий: точно старческий вздох. Тогда Лодыжкин тихо гладил ее по резному боку и шептал ласково:

– Чтó, брат? Жалуешься?.. А ты терпи...

Столько же, сколько шарманку, может быть, даже немного больше, он любил своих младших спутников в вечных скитаниях: пуделя Арто и маленького Сергея. Мальчика он взял пять лет тому назад «напрокат» у забулдыги, вдового сапожника, обязавшись за это уплачивать по два рубля в месяц. Но сапожник вскоре умер, и Сергей остался навеки связанным с дедушкой и душою, и мелкими житейскими интересами.

II

Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извиваясь в тени столетних маслин. Море иногда мелькало между деревьями, и тогда казалось, что, уходя вдаль, оно в то же время подымается вверх спокойной могучей стеной, и цвет его был еще синее, еще гуще в узорчатых прорезах, среди серебристо-зеленой листвы. В траве, в кустах кизилия и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях – повсюду заливались цикады; воздух дрожал от их звенящего, однообразного, неумолчного крика. День выдался знойный, безветренный, и накалившаяся земля жгла подошвы ног.

Сергей, шедший, по обыкновению, впереди дедушки, остановился и ждал, пока старик не поравнялся с ним.

– Ты что́, Сережа? – спросил шарманщик.

– Жара, дедушка Лодыжкин... нет никакого терпения! Искупаться бы...

Старик на ходу привычным движением плеча поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо.

– На что бы лучше! – вздохнул он, жадно поглядывая вниз, на прохладную синеву моря. – Только ведь после купанья еще больше разморит. Мне один знакомый фельдшер говорил: соль эта самая на человека действует... значит, мол, расслабляет... Соль-то морская...

– Врал, может быть? – с сомнением заметил Сергей.

– Ну, вот, врал! Зачем ему врать? Человек солидный, непьющий... домишко у него в Севастополе. Да потом здесь и спуститься к морю негде. Подожди, дойдем ужотко до Мисхора, там и пополощем телеса свои грешные. Перед обедом оно лестно, искупаться-то... а потом, значит, поспать трошки... и отличное дело...

Арто, услышавший сзади себя разговор, повернулся и подбежал к людям. Его голубые добрые глаза щурились от жары и глядели умильно, а высунутый длинный язык вздрагивал от частого дыхания.

– Что́, брат песик? Тепло? – спросил дедушка.

Собака напряженно зевнула, завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула.

– Н-да, братец ты мой, ничего не поделаешь... Сказано: в поте лица твоего, – продолжал наставительно Лодыжкин. – Положим, у тебя, примерно сказать, не лицо, а морда, а все-таки... Ну, пошел, пошел вперед, нечего под ногами вертеться... А я, Сережа, признаться сказать, люблю, когда эта самая теплынь. Орган вот только мешает, а то, кабы не работа, лег бы где-нибудь на траве, в тени, пузом, значит, вверх, и полеживай себе. Для наших старых костей это самое солнце – первая вещь.

Тропинка спустилась вниз, соединившись с широкой, твердой, как камень, ослепительно-белой дорогой. Здесь начинался старинный графский парк, в густой зелени которого были разбросаны красивые дачи, цветники, оранжереи и фонтаны. Лодыжкин хорошо знал эти места; каждый год обходил он их одно за другим во время виноградного сезона, когда весь Крым наполняется нарядной, богатой и веселой публикой. Яркая роскошь южной природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые. Магнолии, с их твердыми и блестящими, точно лакированными листьями и белыми, с большую тарелку величиной, цветами; беседки, сплошь затканые виноградом, свесившим вниз тяжелые гроздья; огромные многовековые платаны с их светлой корой и могучими кронами; табачные плантации, ручьи и водопады, и повсюду – на клумбах, на изгородях, на стенах дач – яркие, великолепные душистые розы, – все это не переставало поражать своей живой цветущей прелестью наивную душу мальчика. Он высказывал свои восторги вслух, ежеминутно теребя старика за рукав.

– Дедушка Лодыжкин, а дедушка, глянь-кось, в фонтане-то – золотые рыбы!.. Ей-богу, дедушка, золотые, умереть мне на месте! – кричал мальчик, прижимаясь лицом к решетке, огора-

живающей сад с большим бассейном посередине. – Дедушка, а персики! Бона сколько! На одном дереве!

– Иди-иди, дурашка, чего рот разинул! – подталкивал его шутливо старик. – Погоди, вот дойдем мы до города Новороссийского и, значит, опять подадимся на юг. Там действительно места, – есть на что посмотреть. Сейчас, примерно сказать, пойдут тебе Сочи, Адлер, Туапсе, а там, братец ты мой, Сухум, Батум... Глаза раскосишь глядевши... Скажем, примерно – пальма. Удивление! Ствол у нее мохнатый, на манер войлока, а каждый лист такой большой, что нам с тобой обоим укрыться впору.

– Ей-богу? – радостно удивился Сергей.

– Постой, сам увидишь. Да мало ли там чего? Апельцын, например, или хоть, скажем, тот же лимон... Видал небось в лавочке?

– Ну?

– Просто так себе и растет в воздухе. Без ничего, прямо на дереве, как у нас, значит, яблоко или груша... И народ там, братец, совсем диковинный: турки, персюки, черкесы разные, всё в халатах и с кинжалами... Отчаянный народишка! А то бывают там, братец, эфиопы. Я их в Батуме много раз видел.

– Эфиопы? Знаю. Это которые с рогами, – уверенно сказал Сергей.

– Рогов, положим, у них нет, это враки. Но черные, как сапог, и даже блестят. Губищи у них красные, толстенные, а глазищи белые, а волосы курчавые, как на черном баране.

– Страшные поди... эфиопы-то эти?

– Как тебе сказать? С непривычки оно точно... опасаясь немного, ну, а потом видишь, что другие люди не боятся, и сам станешь посмелее... Много там, братец мой, всякой всячины. Придем – сам увидишь. Одно только плохо – лихорадка. Потому кругом болота, гниль, а притом же жарница. Тамошним-то жителям ничего, не действует на них, а пришлому человеку приходится плохо. Одначе будет нам с тобой, Сергей, языками трепать. Лезь-ка в калитку. На этой даче господы живут очень хорошие... Ты меня спроси: уж я все знаю!

Но день выдался для них неудачный. Из одних мест их прогоняли, едва завидев издали, в других, при первых же хриплых и гнусавых звуках шарманки, досадливо и нетерпеливо махали на них с балконов руками, в третьих прислуга заявляла, что «господа еще не приехали». На двух дачах им, правда, заплатили за представление, но очень мало. Впрочем, дедушка никакой низкой платой не гнушался. Выходя из ограды на дорогу, он с довольным видом побрякивал в кармане медяками и говорил добродушно:

– Две да пять, итого семь копеек... Что ж, брат Сереженька, и это деньги. Семь раз по семи, – вот он и полтинник набежал, значит, все мы трое сыты, и ночлег у нас есть, и старичку Лодыжкину, по его слабости, можно рюмочку пропустить, недугов многих ради... Эх, не понимают этого господы! Двугривенный дать ему жалко, а пятак стыдно... ну и велют идти прочь. А ты лучше дай хоть три копейки... Я ведь не обижаюсь, я ничего... зачем обижаться?

Вообще Лодыжкин был скромного нрава и, даже когда его гнали, не роптал. Но сегодня и его вывела из обычного благодушного спокойствия одна красивая, полная, с виду очень добрая дама, владелица прекрасной дачи, окруженной садом с цветами. Она внимательно слушала музыку, еще внимательнее глядела на акробатические упражнения Сергея и на смешные «штучки» Арто, после этого долго и подробно расспрашивала мальчика о том, сколько ему лет и как его зовут, где он выучился гимнастике, кем ему приходится старик, чем занимались его родители и т. д.; потом приказала подождать и ушла в комнаты.

Она не появлялась минут десять, а то и четверть часа, и чем дольше тянулось время, тем более разрастались у артистов неопределенные, но заманчивые надежды. Дедушка даже шепнул мальчугану, прикрыв из осторожности рот ладонью, как щитком:

– Ну, Сергей, счастье наше, ты только слушай меня: я, брат, все знаю. Может быть, из платья что-нибудь даст или из обуви. Это уж верно!..

Наконец барыня вышла на балкон, швырнула сверху в подставленную шляпу Сергея маленькую белую монетку и тотчас же скрылась. Монета оказалась старым, стертым с обеих сторон и вдобавок дырявым гривенником. Дедушка долго с недоумением рассматривал ее. Он уже вышел на дорогу и отошел далеко от дачи, по все еще держал гривенник на ладони, как будто взвешивая его.

– Н-да-а... Ловко! – произнес он, внезапно остановившись. – Могу сказать... А мы-то, три

дурня, старались. Уж лучше бы она хоть пуговицу дала, что ли. Ту по крайности куда-нибудь пришить можно. А что я с этой дрянью буду делать? Барыня небось думает: все равно старик кому-нибудь ее ночью спустит, потихоньку, значит. Нет-с, очень ошибаетесь, сударыня. Старик Лодыжкин такой гадостью заниматься не станет. Да-с! Вот вам ваш драгоценный гривенник! Вот!

И он с негодованием и с гордостью бросил монету, которая, слабо звякнув, зарылась в белую дорожную пыль.

Таким образом старик с мальчиком и с собакой обошли весь дачный поселок и уж собирались сойти к морю. По левую сторону оставалась еще одна, последняя, дача. Ее не было видно из-за высокой белой стены, над которой, с той стороны, возвышался плотный строй тонких запыленных кипарисов, похожих на длинные черно-серые веретена. Только сквозь широкие чугунные ворота, похожие своей причудливой резьбой на кружево, можно было рассмотреть уголок свежего, точно зеленый яркий шелк, газона, круглые цветочные клумбы и вдали, на заднем плане, крытую сквозную аллею, всю обвитую густым виноградом. Посредине газона стоял садовник, поливавший из длинного рукава розы. Он прикрыл пальцем отверстие трубы, и от этого в фонтане бесчисленных брызг солнце играло всеми цветами радуги.

Дедушка собирался было пройти мимо, но, заглянув в ворота, остановился в недоумении.

– Подожди-ка малость, Сергей, – окликнул он мальчика. – Никак, там люди шевелятся? Вот так история. Сколько лет здесь хожу, – и никогда ни души. А ну-ка, вали, брат Сергей!

– «Дача Дружба», посторонним вход строго воспрещается, – прочитал Сергей надпись, искусно выбитую на одном из столбов, поддерживавших ворота.

– Дружба?.. – переспросил неграмотный дедушка. – Во-во! Это самое настоящее слово – дружба. Весь день у нас заколодило, а уж тут мы с тобой возьмем. Это я носом чую, на манер как охотничий пес. Арто, иси, собачий сын! Вали смело, Сережа. Ты меня всегда спрашивай: уж я все знаю!

III

Дорожки сада были усыпаны ровным крупным гравием, хрустевшим под ногами, а с боков обставлены большими розовыми раковинами. На клумбах, над пестрым ковром из разноцветных трав, возвышались диковинные яркие цветы, от которых сладко благоухал воздух. В водоемах журчала и плескалась прозрачная вода; из красивых ваз, висевших в воздухе между деревьями, спускались гирляндами вниз вьющиеся растения, а перед домом, на мраморных столбах, стояли два блестящие зеркальные шара, в которых странствующая труппа отразилась вверх ногами, в смешном, изогнутом и растянутом виде.

Перед балконом была большая утоптанная площадка. Сергей расстелил на ней свой коврик, а дедушка, установив шарманку на палке, уже приготовился вертеть ручку, как вдруг неожиданное и странное зрелище привлекло их внимание.

На террасу из внутренних комнат выскочил как бомба, издавая пронзительные крики, мальчик лет восьми или десяти. Он был в легком матросском костюмчике, с обнаженными руками и голыми коленками. Белокурые волосы, все в крупных локонах, растрепались у него небрежно по плечам. Следом за мальчиком выбежало еще шесть человек: две женщины в фартуках; старый толстый лакей во фраке, без усов и без бороды, но с длинными седыми бакенбардами; сухопарая, рыжая, красноносая девица в синем клетчатом платье; молодая, болезненного вида, но очень красивая дама в кружевном голубом капоте и, наконец, толстый лысый господин в чесунчевой паре и в золотых очках. Все они были сильно встревожены, махали руками, говорили громко и даже толкали друг друга. Сразу можно было догадаться, что причиной их беспокойства является мальчик в матросском костюме, так внезапно вылетевший на террасу.

Между тем виновник этой суматохи, ни на секунду не прекращая своего визга, с разбегу повалился животом на каменный пол, быстро перекатился на спину и с сильным ожесточением принялся дрыгать руками и ногами во все стороны. Взрослые засуетились вокруг него. Старый лакей во фраке прижимал с умоляющим видом обе руки к накрахмаленной рубашке, тряс своими длинными бакенбардами и говорил жалобно:

– Батюшка барин!.. Николай Аполлонович!.. Не извольте огорчать маменьку-с – встаньте... Будьте столь добренькие – выкушайте-с. Микстурка очень сладенькая, один суроп-с. Извольте

подняться...

Женщины в фартуках всплескивали руками и щебетали скоро-скоро подобострастными и испуганными голосами. Красноносая девица кричала с трагическими жестами что-то очень внушительное, но совершенно непонятное, очевидно на иностранном языке. Рассудительным басом уговаривал мальчика господин в золотых очках; при этом он наклонял голову то на один, то на другой бок и степенно разводил руками. А красивая дама томно стонала, прижимая тонкий кружевной платок к глазам:

– Ах, Трилли, ах, боже мой!.. Ангел мой, я умоляю тебя. Послушай же, мама тебя умоляет. Ну, прими же, прими лекарство; увидишь, тебе сразу-разу станет легче: и животик пройдет и головка. Ну, сделай это для меня, моя радость! Ну, хочешь, Трилли, мама станет перед тобой на колени? Ну вот, смотри, я на коленях перед тобой. Хочешь, я тебе подарю золотой? Два золотых? Пять золотых, Трилли? Хочешь живого ослика? Хочешь живую лошадку?.. Да скажите же ему что-нибудь, доктор!..

– Послушайте, Трилли, будьте же мужчиной, – загудел толстый господин в очках.

– Ай-яй-яй-я-а-а-а! – вопил мальчик, извиваясь по балкону и отчаянно болтая ногами.

Несмотря на свое крайнее волнение, он все-таки норовил попадать каблуками в животы и в ноги возившихся вокруг него людей, которые от этого, впрочем, довольно ловко уклонялись.

Сергей, долго глядевший с любопытством и удивлением на эту сцену, тихонько толкнул старика в бок.

– Дедушка Лодыжкин, что? же это такое с ним? – спросил он шепотом. – Никак, драть его будут?

– Ну вот, драть... Такой сам всякого посекает. Просто – блажной мальчишка. Больной, должно быть.

– Шамашедчий? – догадался Сергей.

– А я почему знаю. Тише!..

– Ай-яй-а-а! Дряни! Дураки!.. – надрывался все громче и громче мальчик.

– Начинай, Сергей. Я знаю! – распорядился вдруг Лодыжкин и с решительным видом завертел ручку шарманки.

По саду понеслись гнусавые, сиплые, фальшивые звуки старинного галопа. Все на балконе разом встрепнулись, даже мальчик замолчал на несколько секунд.

– Ах, боже мой, они еще больше расстроят бедного Трилли! – воскликнула плачевно дама в голубом капоте. – Ах, да прогоните же их, прогоните скорее! И эта грязная собака с ними. У собак всегда такие ужасные болезни. Что же вы стоите, Иван, точно монумент?

Она с усталым видом и с отвращением замахала платком на артистов, сухопарая красноносая девица сделала страшные глаза, кто-то угрожающе зашипел... Человек во фраке быстро и мягко скатился с балкона и с выражением ужаса на лице, широко растопырив в стороны руки, подбежал к шарманщику.

– Эт-то что за безобразие! – захрипел он сдавленным, испуганным и в то же время начальственно-сердитым шепотом. – Кто позволил? Кто пропустил? Марш! Вон!..

Шарманка, уныло пискнув, замолкла.

– Господин хороший, дозвольте вам объяснить... – начал было деликатно дедушка.

– Никаких! Марш! – закричал с каким-то даже свистом в горле фрачный человек.

Его толстое лицо мигом побагровело, а глаза невероятно широко раскрылись, точно вдруг вылезли наружу, и заходили колесом. Это было настолько страшно, что дедушка невольно отступил на два шага назад.

– Собирайся, Сергей, – сказал он, поспешно вскидывая шарманку на спину. – Идем!

Но не успели они сделать и десяти шагов, как с балкона понеслись новые пронзительные крики:

– Ай-яй-яй! Мне! Хочу-у! А-а-а! Да-ай! Позвать! Мне!

– Но, Трилли!.. Ах, боже мой, Трилли! Ах, да воротите же их, – застонала нервная дама. – Фу, как вы все бестолковы!.. Иван, вы слышите, что? вам говорят? Сейчас же позовите этих нищих!..

– Послушайте! Вы! Эй, как вас? Шарманщики! Вернитесь! – закричало с балкона несколько голосов.

Толстый лакей с разлетающимися в обе стороны бакенбардами, подпрыгивая, как большой

резиновый мяч, бегом бросился вслед уходящим артистам.

– Нет!.. Музыканты! Слушайте-ка! Назад!.. Назад!.. – кричал он, задыхаясь и махая обеими руками. – Старичок почтенный, – схватил он наконец за рукав дедушку, – заворачивай оглобли! Господа будут ваш пантомин смотреть. Живо!..

– Н-ну, дела! – вздохнул, покрутив головой, дедушка, однако приблизился к балкону, снял шарманку, укрепил ее перед собою на палке и заиграл галоп с того самого места, на котором его только что прервали.

Суета на балконе затихла. Барыня с мальчиком и господин в золотых очках подошли к самым перилам; остальные почтительно оставались на заднем плане. Из глубины сада пришел садовник в фартуке и стал неподалеку от дедушки. Откуда-то вылезший дворник поместился позади садовника. Это был огромный бородатый мужчина с мрачным, узколобым, рябым лицом. Одет он был в новую розовую рубашку, по которой шли косыми рядами крупные черные горошины.

Под хриплые, заикающиеся звуки галопа Сергей разостлал на земле коврик, быстро скинул с ног парусиновые панталоны (они были сшиты из старого мешка и сзади, на самом широком месте, украшались четырехугольным заводским клеймом), сбросил с себя старую куртку и остался в стареньком нитяном трико, которое, несмотря на многочисленные заплатки, ловко охватывало его тонкую, но сильную и гибкую фигуру. У него уже выработались, путем подражания взрослым, приемы заправского акробата. Взбегая на коврик, он на ходу приложил руки к губам, а потом широким театральным движением размахнул их в стороны, как бы посылая публике два стремительных поцелуя.

Дедушка одной рукой непрерывно вертел ручку шарманки, извлекая из нее дребезжащий, кашляющий мотив, а другой бросал мальчику разные предметы, которые тот искусно подхватывал на лету. Репертуар у Сергея был небольшой, но работал он хорошо, «чисто», как говорят акробаты, и с охотой. Он подкидывал вверх пустую пивную бутылку, так что она несколько раз перевертывалась в воздухе, и вдруг, поймав ее горлышком на край тарелки, несколько секунд держал ее в равновесии; жонглировал четырьмя костяными шариками, а также двумя свечками, которые он одновременно ловил в подсвечники; потом играл сразу тремя различными предметами – веером, деревянной сигарой и дождевым зонтом. Все они летали у него по воздуху, не прикасаясь к земле, и вдруг сразу зонт оказался над головой, сигара – во рту, а веер кокетливо обмахивал лицо. В заключение Сергей сам несколько раз перекувырнулся на ковре, сделал «лягушку», показал «американский узел» и походил на руках. Истощив весь запас своих «трюков», он опять бросил в публику два поцелуя и, тяжело дыша, подошел к дедушке, чтобы заменить его у шарманки.

Теперь была очередь Арто. Пес это отлично знал, и уже давно скакал в волнении всеми четырьмя лапами на дедушку, вылезавшего боком из лямки, и лаял на него отрывистым, нервным лаем. Почем знать, может быть, умный пудель хотел этим сказать, что, по его мнению, безрассудно заниматься акробатическими упражнениями, когда Реомюр показывает двадцать два градуса в тени? Но дедушка Лодыжкин с хитрым видом вытащил из-за спины тонкий кизилевый хлыстик. «Так я и знал!» – с досадой пролаял в последний раз Арто и лениво, непокорно поднялся на задние ноги, не сводя моргающих глаз с хозяина.

– Служить, Арто! Так, так, так... – проговорил старик, держа над головой пуделя хлыст. – Перевернись. Так. Перевернись... Еще, еще... Танцуй, собачка, танцуй!.. Садись! Чтó-о? Не хочешь? Садись, тебе говорят. А-а... то-то! Смотри! Теперь поздоровайся с почтеннейшей публикой! Ну! Арто! – грозно возвысил голос Лодыжкин.

«Гав!» – брехнул с отвращением пудель. Потом поглядел, жалобно моргая глазами, на хозяина и добавил еще два раза: «Гав, гав!»

«Нет, не понимает меня мой старик!» – слышалось в этом недовольном лае.

– Вот это – другое дело. Вежливость прежде всего. Ну, а теперь немножко попрыгаем, – продолжал старик, протягивая невысоко над землею хлыст. – Алле! Нечего, брат, язык-то высывать. Алле!.. Гоп! Прекрасно! А ну-ка еще, нох ейн маль... Алле!.. Гоп! Алле! Гоп! Чудесно, собачка. Придем домой, я тебе морковки дам. А, ты морковку не кушаешь? Я и забыл совсем. Тогда возьми мою чилиндру и попроси у господ. Может быть, они тебе преподарят что-нибудь повкуснее.

Старик поднял собаку на задние лапы и всунул ей в рот свой древний, засаленный картуз,

который он с таким тонким юмором называл «чилиндрой». Держа картуз в зубах и жеманно переступая приседающими ногами, Арто подошел к террасе. В руках у болезненной дамы появился маленький перламутровый кошелек. Все окружающие сочувственно улыбались.

– Что?? Не говорил я тебе? – задорно шепнул дедушка, наклоняясь к Сергею. – Ты меня спроси: уж я, брат, все знаю. Никак не меньше рубля.

В это время с террасы раздался такой отчаянный, резкий, почти нечеловеческий вопль, что растерявшийся Арто выронил изо рта шапку и вприпрыжку, с поджатым хвостом, боязливо оглядываясь назад, бросился к ногам своего хозяина.

– Хочу-у-а-а! – закатывался, топя ногами, кудрявый мальчик. – Мне! Хочу! Собаку-у-у! Трилли хочет соба-а-аку-у...

– Ах, боже мой! Ах! Николай Аполлоныч!.. Батюшка барин!.. Успокойся, Трилли, умоляю тебя! – опять засуетились люди на балконе.

– Собаку! Поддай собаку! Хочу! Дряни, черти, дураки! – выходил из себя мальчик.

– Но, ангел мой, не расстраивай себя! – залепетала над ним дама в голубом капоте. – Ты хочешь погладить собачку? Ну, хорошо, хорошо, моя радость, сейчас. Доктор, как вы полагаете, можно Трилли погладить эту собаку?

– Вообще говоря, я не советовал бы, – развел тот руками, – но если надежная дезинфекция, например, борной кислотой или слабым раствором карболки, то-о... вообще...

– Соба-а-аку!

– Сейчас, моя прелесть, сейчас. Итак, доктор, мы прикажем вымыть ее борной кислотой и тогда... Но, Трилли, не волнуйся же так! Старик, подведите, пожалуйста, вашу собаку сюда. Не бойтесь, вам заплатят. Слушайте, она у вас не больная? Я хочу спросить, она не бешеная? Или, может быть, у нее эхинококки?

– Не хочу погладить, не хочу! – ревел Трилли, пуская ртом и носом пузыри. – Хочу совсем! Дураки, черти! Совсем мне! Хочу сам играть... Навсегда!

– Послушайте, старик, подойдите сюда, – силилась перекричать его барыня. – Ах, Трилли, ты убьешь маму своим криком. И зачем только пустили этих музыкантов! Да подойдите же ближе, еще ближе... еще, вам говорят!.. Вот так... Ах, не огорчайся же, Трилли, мама сделает все, что хочешь. Умоляю тебя. Мисс, да успокойте же наконец ребенка... Доктор, прошу вас... Сколько же ты хочешь, старик?

Дедушка снял картуз. Лицо его приняло учтивое, сиротское выражение.

– Сколько вашей милости будет угодно, барыня, ваше высокопревосходительство... Мы люди маленькие, нам всякое даяние – благо... Чай, сами старичка не обидите...

– Ах, как вы бестолковы! Трилли, у тебя заболит горлышко. Ведь поймите, что собака *ваша*, а не моя. Ну, сколько? Десять? Пятнадцать? Двадцать?

– А-а-а! Хочу-у! Дайте собаку, дайте собаку, – взвизгивал мальчик, толкая лакея в круглый живот ногой.

– То есть... простите, ваше сиятельство, – замялся Лодыжкин. – Я – человек старый, глупый... Сразу-то мне не понять... к тому же и глуховат малость... то есть как это вы изволите говорить?... За собаку?..

– Ах, мой бог!.. Вы, кажется, нарочно притворяетесь идиотом? – вскипела дама. – Няня, дайте поскорее Трилли воды! Я вас спрашиваю русским языком, за сколько вы хотите продать вашу собаку? Понимаете, вашу собаку, собаку...

– Собаку! Соба-аку! – залился громче прежнего мальчик.

Лодыжкин обиделся и надел на голову картуз.

– Собаками, барыня, не торгую-с, – сказал он холодно и с достоинством. – А этот лес, сударыня, можно сказать, нас двоих, – он показал большим пальцем через плечо на Сергея, – нас двоих кормит, поит и одевает. И никак этого невозможно, что, например, продать.

Трилли между тем кричал с пронзительностью паровозного свистка. Ему подали стакан воды, но он яростно выплеснул его в лицо гувернантке.

– Да послушайте же, безумный старик!.. Нет вещи, которая бы не продавалась, – настаивала дама, стискивая свои виски ладонями. – Мисс, вытрите поскорей лицо и дайте мне мой мигренин. Может быть, ваша собака стоит сто рублей? Ну, двести? Триста? Да отвечайте же, истукан! Доктор, скажите ему что-нибудь, ради бога!

– Собирайся, Сергей, – угрюмо проворчал Лодыжкин. – Исту-ка-н... Арто, иди сюда!..

– Э-э, постой-ка, любезный, – начальственным басом протянул толстый господин в золотых очках. – Ты бы лучше не ломался, мой милый, вот что тебе скажу. Собаке твоей десять рублей красная цена, да еще вместе с тобой на придачу... Ты подумай, осел, сколько тебе дают!

– Покорнейше вас благодарю, барин, а только... – Лодыжкин, кряхтя, вскинул шарманку за плечи. – Только никак это дело не выходит, чтобы, значит, продавать. Уж вы лучше где-нибудь другого кобелька поищите... Счастливо оставаться... Сергей, иди вперед!

– А паспорт у тебя есть? – вдруг грозно взревел доктор. – Я вас знаю, канальи!

– Дворник! Семен! Гоните их! – закричала с искаженным от гнева лицом барыня.

Мрачный дворник в розовой рубахе со зловещим видом приблизился к артистам. На террасе поднялся страшный, разноголосый гам: ревел благим матом Трилли, стонала его мать, скороговоркой причитали нянька с поднянькой, густым басом, точно рассерженный шмель, гудел доктор. Но дедушка и Сергей уж не имели времени посмотреть, чем все это кончится. Предшествующие изрядно струсившим пуделем, они почти бегом спешили к воротам. А следом за ними шел дворник, подталкивая сзади, в шарманку, и говорил угрожающим голосом:

– Шляетесь здесь, лабарданцы! Благодарите еще бога, что по шее, старый хрен, не заработал. А в другой раз придешь, так и знай, стесняться с тобой не стану, намну загривок и стащу к господину вряднику. Шантрапа!

Долгое время старик и мальчик шли молча, но вдруг, точно по уговору, взглянули друг на друга и рассмеялись: сначала захохотал Сергей, а потом, глядя на него, но с некоторым смущением, улыбнулся и Лодыжкин.

– Что? дедушка Лодыжкин? Ты все знаешь? – поддразнил его лукаво Сергей.

– Да-а, брат. Обмишулились мы с тобой, – покачал головой старый шарманщик. – Язвительный, однако, мальчугашка... Как его, такого, вырастили, шут его возьми? Скажите на милость: двадцать пять человек вокруг него танцы танцуют. Ну уж, будь в моей власти, я бы ему прописал ижу. Подавай, говорит, собаку? Этак что? же? Он и луну с неба захочет, так подавай ему и луну? Поди сюда, Арто, поди, моя собаченька. Ну, и денек сегодня задался. Удивительно!

– На что? лучше! – продолжал ехидничать Сергей. – Одна барыня платье подарила, другая целковый дала. Все ты, дедушка Лодыжкин, наперед знаешь.

– А ты помалкивай, огарок, – добродушно огрызнулся старик. – Как от дворника-то улепетывал, помнишь? Я думал, и не догнать мне тебя. Серьезный мужчина – этот дворник.

Выйдя из парка, бродячая труппа спустилась крутой, сыпучей тропинкой к морю. Здесь горы, отступив немного назад, дали место неширокой плоской полосе, покрытой ровными, обточенными прибоем камнями, о которые теперь с тихим шелестом ласково плескалось море. Саженьях в двухстах от берега кувыркались в воде дельфины, показывая из нее на мгновение свои жирные, круглые спины. Вдали на горизонте, там, где голубой атлас моря окаймлялся темно-синей бархатной лентой, неподвижно стояли стройные, чуть-чуть розовые на солнце, паруса рыбачьих лодок.

– Тут и выкупаемся, дедушка Лодыжкин, – сказал решительно Сергей. На ходу он уже успел, прыгая то на одной, то на другой ноге, стащить с себя панталоны. – Давай я тебе пособлю орган снять.

Он быстро разделся, звонко хлопнул себя ладонями по голому, шоколадному от загара телу и бросился в воду, подымая вокруг себя бугры кипящей пены.

Дедушка раздевался не торопясь. Прикрыв глаза ладонью от солнца и щурясь, он с любовной усмешкой глядел на Сергея.

«Ничего себе растет паренек, – думал Лодыжкин, – даром что костлявый – вон все ребра видать, а все-таки будет парень крепкий».

– Эй, Сережка! Ты больно далече-то не плавай. Морская свинья утащит.

– А я ее за хвост! – крикнул издали Сергей.

Дедушка долго постоял на солнышке, щупая у себя под мышками. В воду он сошел очень осторожно и, прежде чем окунуться, старательно мочил себе красное лысое темя и впалые бока. Тело у него было желтое, дряблое и бессильное, ноги – поразительно тонкие, а спина с выдавшимися острыми лопатками была сгорблена от долголетнего таскания шарманки.

– Дедушка Лодыжкин, гляди! – крикнул Сергей.

Он перекувырнулся в воде, закинув себе ноги через голову. Дедушка, уже влезший в воду по пояс и приседавший в ней с блаженным кряхтением, крикнул тревожно:

– Ну, а ты не балуйся, поросенок. Смотри! Я т-тебя!

Арто неистово лаял и скакал по берегу. Его беспокоило, что мальчик заплыл так далеко. «К чему показывать свою храбрость? – волновался пудель. – Есть земля – и ходи по земле. Гораздо спокойнее».

Он и сам залез было в воду по брюхо и два-три раза лакнул ее языком. Но соленая вода ему не понравилась, а легкие волны, шуршавшие о прибрежный гравий, пугали его. Он выскочил на берег и опять принялся лаять на Сергея. «К чему эти дурацкие фокусы? Сидел бы у берега, рядом со стариком. Ах, сколько беспокойства с этим мальчишкой!»

– Эй, Сережа, вылезай, что ли, в самом деле, будет тебе! – позвал старик.

– Сейчас, дедушка Лодыжкин, парходом плыву. У-у-у-ух!

Он наконец подплыл к берегу, но прежде чем одеться, схватил на руки Арто и, вернувшись с ним в море, бросил его далеко в воду. Собака тотчас же поплыла назад, выставив наружу только одну морду со всплывшими наверх ушами, громко и обиженно фыркая. Выскочив на сушу, она затряслась всем телом, и тучи брызг полетели на старика и на Сергея.

– Постой-ка, Сережа, никак, это к нам? – сказал Лодыжкин, пристально глядя вверх, на гору.

По тропинке быстро спускался вниз, неразборчиво крича и махая руками, тот самый мрачный дворник в розовой рубашке с черными горошинами, который четверть часа назад гнал странствующую труппу с дачи.

– Что ему надо? – спросил с недоумением дедушка.

IV

Дворник продолжал кричать, сбегая вниз неловкой рысью, причем рукава его рубахи трепались по ветру, а пазуха надувалась, как парус.

– О-го-го!.. Подождите трошки!..

– А чтоб тебя намочило да не высушило, – сердито проворчал Лодыжкин. – Это он опять насчет Артошки.

– Давай, дедушка, накладем ему! – храбро предложил Сергей.

– А ну тебя, отвяжись... И что это за люди, прости господи!..

– Вы вот что... – начал запыхавшийся дворник еще издали. – Продавайте, что ли, пса-то? Ну, никакого сладу с паньчом. Ревет, как теля. «Поддай да поддай собаку...» Барыня послала, купи, говорит, чего бы ни стоило.

– Довольно даже глупо это со стороны твоей барыни! – рассердился вдруг Лодыжкин, который здесь, на берегу, чувствовал себя гораздо увереннее, чем на чужой даче. – И опять, какая она мне такая барыня? Тебе, может быть, барыня, а мне двоюродное наплевать. И пожалуйста... я тебя прошу... уйди ты от нас, Христа ради... и того... и не приставай.

Но дворник не унимался. Он сел на камни, рядом со стариком, и говорил, неуклюже тыча перед собой пальцами:

– Да пойми же ты, дурак-человек...

– От дурака и слышу, – спокойно отрезал дедушка.

– Да постой... не к тому я это... Вот, право, репей какой... Ты подумай: ну, что тебе собака? Подобрал другого щенка, выучил стоять дыбки, вот тебе и снова пес. Ну? Неправду, что ли, я говорю? А?

Дедушка внимательно завязывал ремень вокруг штанов. На настойчивые вопросы дворника он ответил с деланным равнодушием:

– Бреши дальше... Я потом сразу тебе отвечу.

– А тут, брат ты мой, сразу – цифра! – горячился дворник. – Двести, а не то триста целковых враз! Ну, обыкновенно, мне кое-что за труды... Ты подумай только: три сотенных! Ведь это сразу можно бакалейную открыть...

Говоря таким образом, дворник вытащил из кармана кусок колбасы и швырнул его пуделю. Арто поймал его на лету, проглотил в один прием и искательно завилял хвостом.

– Кончил? – коротко спросил Лодыжкин.

– Да тут долго и кончать нечего. Давай пса – и по рукам.

– Та-ак-с, – насмешливо протянул дедушка. – Продать, значит, собачку?

– Обыкновенно – продать. Чего вам еще? Главное, папыч у нас такой скаженный. Чего захотелось, так весь дом перебулгачит. Подавай – и все тут. Это еще без отца, а при отце... святители вы наши!.. все вверх ногами ходят. Барин у нас инженер, может быть, слышали, господин Обольянинов? По всей России железные дороги строят. Мельонер! А мальчишка-то у нас один. И озорует. Хочу поню живую – на тебе поню. Хочу лодку – на тебе всамделишную лодку. Как есть ни в чем, ни в чем отказу...

– А луну?

– То есть в каких это смыслах?

– Говорю, луну он ни разу с неба не захотел?

– Ну вот... тоже скажешь – луну! – сконфузился дворник. – Так как же, мил человек, лады у нас, что ли?

Дедушка, который успел уже в это время напялить на себя коричневый, позеленевший на швах пиджак, гордо выпрямился, насколько ему позволяла вечно согнутая спина.

– Я тебе одно скажу, парень, – начал он не без торжественности. – Примерно, ежели бы у тебя был брат или, скажем, друг, который, значит, с самого сыздетства. Постой, друже, ты собака колбасу даром не стравляй... сам лучше скушай... этим, брат, ее не подкупишь. Говорю, ежели бы у тебя был самый что ни на есть верный друг... который сыздетства... То за сколько бы ты его примерно продал?

– Приравнял тоже!..

– Вот те и приравнял. Ты так и скажи своему барину, который железную дорогу строит, – возвысил голос дедушка. – Так и скажи: не все, мол, продается, что покупается. Да! Ты собаку-то лучше не гладь, это ни к чему. Арто, иди сюда, собачий сын, я т-тебе! Сергей, собирайся.

– Дурак ты старый, – не вытерпел наконец дворник.

– Дурак, да отроду так, а ты хам, Иуда, продажная душа, – выругался Лодыжкин. – Увидишь свою генеральшу, кланяйся ей, скажи: от наших, мол, с любовью вашим низкий поклон. Свертывай ковер, Сергей! Э-эх, спина моя, спинушка! Пойдем.

– Значит, та-ак!.. – многозначительно протянул дворник.

– С тем и возьмите! – задорно ответил старик.

Артисты поплелись вдоль морского берега, опять вверх, по той же дороге. Оглянувшись случайно назад, Сергей увидел, что дворник следит за ними. Вид у него был задумчивый и угрюмый. Он сосредоточенно чесал всей пятерней под съехавшей на глаза шапкой свой лохматый рыжий затылок.

V

У дедушки Лодыжкина был давным-давно примечен один уголок между Мисхором и Алупкой, книзу от нижней дороги, где отлично можно было позавтракать. Туда он и повел своих спутников. Неподалеку от моста, перекинутого через бурливый и грязный горный поток, выбегала из-под земли, в тени кривых дубов и густого орешника, говорливая, холодная струйка воды. Она проделала в почве круглый неглубокий водоем, из которого сбегала в ручей тонкой змейкой, блестящей в траве, как живое серебро. Около этого родника по утрам и по вечерам всегда можно было застать набожных турок, пивших воду и творивших свои священные омовения.

– Грехи наши тяжкие, а запасы скудные, – сказал дедушка, садясь в прохладе под орешником. – Ну-ка, Сережа, господи благослови!

Он вынул из холщового мешка хлеб, десяток красных томатов, кусок бессарабского сыра «брынзы» и бутылку с прованским маслом. Соль была у него завязана в узелок тряпочки сомнительной чистоты. Перед едой старик долго крестился и что-то шептал. Потом он разломил краюху хлеба на три неровные части: одну, самую большую, он протянул Сергею (малый растет – ему надо есть), другую, поменьше, оставил для пуделя, самую маленькую взял себе.

– Во имя отца и сына. Очи всех на тя, господи, уповают, – шептал он, суетливо распределяя порции и поливая их из бутылки маслом. – Вкушай, Сережа!

Не торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, принялись трое за свой скромный обед. Слышно было только, как жевали три пары челюстей. Арто ел свою долю в сторонке, растянувшись на животе и положив на хлеб обе передние лапы. Дедушка и Сергей поочередно макали в соль спелые помидоры, из которых тек по их губам и рукам красный, как

кровь, сок, и заедали их сыром и хлебом. Насытившись, они напились воды, подставляя под струю источника жестяную кружку. Вода была прозрачная, прекрасная на вкус и такая холодная, что от нее кружка даже запотела снаружи. Дневной жар и длинный путь изморили артистов, которые встали сегодня чуть свет. У дедушки слипались глаза. Сергей зевал и потягивался.

– Что, братику, разве нам лечь поспать на минуточку? – спросил дедушка. – Дай-ка я в последний раз водицы попью. Ух, хорошо! – крикнул он, отнимая от кружки рот и тяжело переводя дыхание, между тем как светлые капли бежали с его усов и бороды. – Если бы я был царем, все бы эту воду пил... с утра бы до ночи! Арто, иси, сюда! Ну вот, бог напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел... Ох-ох-хонюшки-и!

Старик и мальчик легли рядом на траве, подмостив под головы свои старые пиджаки. Над их головами шумела темная листва корявых, раскидистых дубов. Сквозь нее синело чистое голубое небо. Ручей, сбегавший с камня на камень, журчал так однообразно и так вкрадчиво, точно завораживал кого-то своим усыпительным лепетом. Дедушка некоторое время ворочался, кричал и говорил что-то, но Сергею казалось, что голос его звучит из какой-то мягкой и сонной дали, а слова были непонятны, как в сказке.

– Перво дело – куплю тебе костюм: розовое трико с золотом... туфли тоже розовые, атласные... В Киеве, в Харькове или, например, скажем, в городе Одессе – там, брат, во какие цирки!.. Фонарей видимо-невидимо... все электричество горит... Народу, может быть, тысяча пять, а то и больше... почему я знаю? Фамилию мы тебе сочиним непременно итальянскую. Что такая за фамилия Естифеев или, скажем, Лодыжкин? Чепуха одна – нет никакого в ней воображения. А мы тебя в афише запустим – Антонио или, например, тоже хорошо – Энрико или Альфонзо...

Дальше мальчик ничего не слышал. Нежная и сладкая дремота овладела им, сковав и обесилив его тело. Заснул и дедушка, потерявший вдруг нить своих любимых послеобеденных мыслей о блестящем цирковом будущем Сергея. Один раз ему сквозь сон показалось, что Арто на кого-то рычит. На мгновение в его затуманенной голове скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давешнем дворнике в розовой рубашке, но, разморенный сном, усталостью и жарой, он не смог встать, а только лениво, с закрытыми глазами, окликнул собаку:

– Арто... куда? Я т-тебя, бродяга!

Но мысли его тотчас же спутались и расплылись в тяжелых и бесформенных видениях.

Разбудил дедушку голос Сергея. Мальчик бегал взад и вперед по той стороне ручья, пронзительно свистал и кричал громко, с беспокойством и испугом:

– Арто, иси! Назад! Фью, фью, фью! Арто, назад!

– Ты что, Сергей, вопишь? – недовольно спросил Лодыжкин, с трудом расправляя затекшую руку.

– Собаку мы проспали, вот что! – раздраженным голосом грубо ответил мальчик. – Пропахла собачка.

Он резко свистнул и еще раз закричал протяжно:

– Арто-о-о!

– Глупости ты выдумываешь!.. Вернется, – сказал дедушка. Однако он быстро встал на ноги и стал кричать собаку сердитым, сиплым со сна, старческим фальцетом:

– Арто, сюда, собачий сын!

Он торопливо, мелкими, путающимися шажками перебежал через мост и поднялся вверх по шоссе, не переставая звать собаку. Перед ним лежало видное глазу на полверсты, ровное, ярко-белое полотно дороги, но на нем – ни одной фигуры, ни одной тени.

– Арто! Ар-то-шень-ка! – жалобно завывал старик.

Но вдруг он остановился, нагнулся низко к дороге и присел на корточки.

– Да-а, вот оно какое дело-то! – произнес старик упавшим голосом. – Сергей! Сережа, поди-ка сюда.

– Ну, что там еще? – грубо отозвался мальчик, подходя к Лодыжкину. – Вчерашний день нашел?

– Сережа... что это такое?.. Вот это, что это такое? Ты понимаешь? – еле слышно спрашивал старик.

Он глядел на мальчика жалкими, растерянными глазами, а его рука, показывавшая прямо в землю, ходила во все стороны.

На дороге в белой пыли валялся довольно большой недоеденный огрызок колбасы, а рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап.

– Свел ведь, подлец, собаку! – испуганно прошептал дедушка, все еще сидя на корточках. – Не кто, как он, – дело ясное... Помнишь, давеча у моря-то он все колбасой прикармливал.

– Дело ясное, – мрачно и со злобой повторил Сергей.

Широко раскрытые глаза дедушки вдруг наполнились крупными слезами и быстро замигали. Он закрыл их руками.

– Что же нам теперь делать, Сереженька? А? Делать-то нам что теперь? – спрашивал старик, качаясь взад и вперед и беспомощно всхлипывая.

– Что делать, что делать! – сердито передразнил его Сергей. – Вставай, дедушка Лодыжкин, пойдем!..

– Пойдем, – уныло и покорно повторил старик, подымаясь с земли. – Ну что ж, пойдем, Сереженька!

Вышедший из терпения Сергей закричал на старика, как на маленького:

– Будет тебе, старик, дурака-то валять. Где это видано всамделе, чтобы чужих собак заманивать? Чего ты глазами на меня хлопаешь? Неправду я говорю? Прямо придем и скажем: «По-давай назад собаку!» А нет – к мировому, вот и весь сказ.

– К мировому... да... конечно... Это верно, к мировому... – с бессмысленной, горькой улыбкой повторял Лодыжкин. Но глаза его неловко и конфузливо забегали. – К мировому... да... Только вот что, Сереженька... не выходит это дело... чтобы к мировому...

– Как это не выходит? Закон один для всех. Чего им в зубы смотреть? – нетерпеливо перебил мальчик.

– А ты, Сережа, не того... не сердись на меня. Собаку-то нам с тобой не вернут. – Дедушка таинственно понизил голос. – Насчет пачпорта я опасаясь. Слыхал, что давеча господин говорил? Спрашивает: «А пачпорт у тебя есть?» Вот она, какая история. А у меня, – дедушка сделал испуганное лицо и зашептал еле слышно, – у меня, Сережа, пачпорт-то чужой.

– Как чужой?

– То-то вот – чужой. Свой я потерял в Таганроге, а может быть, украли его у меня. Года два я потом крутился: прятался, взятки давал, писал прошения... Наконец вижу, нет никакой моей возможности, живу точно заяц – всякого опасаясь. Покою вовсе не стало. А тут в Одессе, в ночлежке, подвернулся один грек. «Это, говорит, сущие пустяки. Клади, говорит, старик, на стол двадцать пять рублей, а я тебя навеки пачпортом обеспечу». Раскинул я умом туда-сюда. Эх, думаю, пропадай моя голова. Давай, говорю. И с тех пор, милый мой, вот я и живу по чужому пачпорту.

– Ах, дедушка, дедушка! – глубоко, со слезами в груди вздохнул Сергей. – Собаку мне уж больно жалко... Собака-то уж хороша очень...

– Сереженька, родной мой! – протянул к нему старик дрожащие руки. – Да будь только у меня пачпорт настоящий, разве я бы поглядел, что они генералы? За горло бы взял!.. «Как так? Позвольте! Какое имеете полное право чужих собак красть? Какой такой закон на это есть?» А теперь нам крышка, Сережа. Приду я в полицию – первое дело: «Подавай пачпорт! Это ты самарский мещанин Мартын Лодыжкин?» – «Я, вашескродие». А я, братец, и не Лодыжкин вовсе и не мещанин, а крестьянин, Иван Дудкин. А кто таков этот Лодыжкин – один бог его ведает. Почему я знаю, может, воришка какой или беглый каторжник? Или, может быть, даже убивец? Нет, Сережа, ничего мы тут не сделаем... Ничего, Сережа...

Голос у дедушки оборвался и захлебнулся. Слезы опять потекли по глубоким, коричневым от загара морщинам. Сергей, который слушал ослабевшего старика молча, с плотно сжатыми бровями, бледный от волнения, вдруг взял его под мышки и стал подымать.

– Пойдем, дедушка, – сказал он повелительно и ласково в то же время. – К черту пачпорт, пойдем! Не ночевать же нам на большой дороге.

– Милый ты мой, родной, – приговаривал, трясясь всем телом, старик. – Собачка-то уж очень затейная... Артошенька-то наш... Другой такой не будет у нас...

– Ладно, ладно... Вставай, – распорядился Сергей. – Дай я тебя от пыли-то очищу. Совсем ты у меня раскис, дедушка.

В этот день артисты больше не работали. Несмотря на свой юный возраст, Сергей хорошо понимал все роковое значение этого страшного слова «пачпорт». Поэтому он не настаивал

больше ни на дальнейших розысках Арто, ни на мировом, ни на других решительных мерах. Но пока он шел рядом с дедушкой до ночлега, с лица его не сходило новое, упрямое и сосредоточенное выражение, точно он задумал про себя что-то чрезвычайно серьезное и большое.

Не сговариваясь, но, очевидно, по одному и тому же тайному побуждению, они нарочно сделали значительный крюк, чтобы еще раз пройти мимо «Дружбы». Перед воротами они задержались немного, в смутной надежде увидеть Арто или хоть услышать издали его лай.

Но резные ворота великолепной дачи были плотно закрыты, и в тенистом саду под стройными печальными кипарисами стояла важная, невозмутимая, душистая тишина.

– Гос-спо-да! – шипящим голосом произнес старик, вкладывая в это слово всю едкую горечь, переполнившую его сердце.

– Будет тебе, пойдем, – сурово приказал мальчик и потянул своего спутника за рукав.

– Сереженька, может, убежит от них еще Артошка-то? – вдруг опять всхлипнул дедушка. – А? Как ты думаешь, милый?

Но мальчик не ответил старику. Он шел впереди большими, твердыми шагами. Его глаза упорно смотрели вниз на дорогу, а тонкие брови сердито сдвинулись к переносью.

VI

Молча дошли они до Алупки. Дедушка всю дорогу кряхтел и вздыхал, Сергей же сохранял на лице злое, решительное выражение. Они остановились на ночлег в грязной турецкой кофейной, носившей блестящее название «Ылдыз», что значит по-турецки «звезда». Вместе с ними ночевали греки – каменотесы, землекопы – турки, несколько человек русских рабочих, перебивавшихся поденным трудом, а также несколько темных, подозрительных бродяг, которых так много шатается по югу России. Все они, как только кофейная закрылась в определенный час, разлеглись на скамьях, стоящих вдоль стен, и прямо на полу, причем те, что были поопытнее, положили, из нелишней предосторожности, себе под голову все, что у них было наиболее ценного из вещей и из платья.

Было далеко за полночь, когда Сергей, лежавший на полу рядом с дедушкой, осторожно поднялся и стал бесшумно одеваться. Сквозь широкие окна лился в комнату бледный свет месяца, стелился косым, дрожащим переплетом по полу и, падая на спящих вповалку людей, придавал их лицам страдальческое и мертвое выражение.

– Ты куда носью ходишь, мальцук? – сонно окликнул Сергея у дверей хозяин кофейной, молодой турок Ибрагим.

– Пропусти. Надо! – сурово, деловым тоном ответил Сергей. – Да вставай, что ли, турецкая лопатка!

Зевая, почесываясь и укоризненно причмокивая языком, Ибрагим отпер двери. Узкие улицы татарского базара были погружены в густую темно-синюю тень, которая покрывала зубчатым узором всю мостовую и касалась подножий домов другой, освещенной стороны, резко белевшей в лунном свете своими низкими стенами. На дальних окраинах местечка лаяли собаки. Откуда-то, с верхнего шоссе, доносился звонкий и дробный топот лошади, бежавшей иноходью.

Миновав белую, с зеленым куполом, в виде луковицы, мечеть, окруженную молчаливой толпой темных кипарисов, мальчик спустился по тесному кривому переулку на большую дорогу. Для легкости Сергей не взял с собой верхней одежды, оставшись в одном трико. Месяц светил ему в спину, и тень мальчика бежала впереди его черным, странным, укороченным силуэтом. По обоим бокам шоссе притаился темный курчавый кустарник. Какая-то птичка кричала в нем однообразно, через ровные промежутки, тонким, нежным голосом: «Сплю!.. Сплю!..» И казалось, что она покорно сторожит в ночной тишине какую-то печальную тайну, и бессильно борется со сном и усталостью, и тихо, без надежды, жалуется кому-то: «Сплю, сплю!..» А над темными кустами и над синеватыми шапками дальних лесов возвышался, упираясь своими двумя зубцами в небо, Ай-Петри – такой легкий, резкий, воздушный, как будто он был вырезан из гигантского куска серебряного картона.

Сергею было немного жутко среди этого величавого безмолвия, в котором так отчетливо и дерзко раздавались его шаги, но в то же время в сердце его разливалась какая-то щекощущая, головокружительная отвага. На одном повороте вдруг открылось море. Огромное, спокойное, оно тихо и торжественно зыбилося. От горизонта к берегу тянулась узкая, дрожащая серебряная до-

рожка; среди моря она пропадала, – лишь кое-где изредка вспыхивали ее блески, – и вдруг у самой земли широко расплескивалась живым, сверкающим металлом, опоясывая берег.

Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, ведущую в парк. Там, под густыми деревьями, было совсем темно. Издали слышался шум неугомонного ручья и чувствовалось его сырое, холодное дыхание. Отчетливо застучала под ногами деревянная настилка моста. Вода под ним была черная и страшная. Вот наконец и высокие чугунные ворота, узорчатые, точно кружево, и обвитые ползучими стеблями глициний. Лунный свет, прорезавшись сквозь чащу деревьев, скользил по резьбе ворот слабыми фосфорическими пятнами. По ту сторону был мрак и чуточку-пугливая тишина.

Было несколько мгновений, в течение которых Сергей испытывал в душе колебание, почти страх. Но он поборол в себе эти томительные чувства и прошептал:

– А все-таки я полезу! Все равно!

Взобраться ему было нетрудно. Изящные чугунные завитки, составлявшие рисунок ворот, служили верными точками опоры для цепких рук и маленьких мускулистых ног. Над воротами на большой высоте перекинулась со столба на столб широкая каменная арка. Сергей ощупью взлез на нее, потом, лежа на животе, спустил ноги вниз, на другую сторону, и стал понемногу сталкивать туда же все туловище, не переставая искать ногами какого-нибудь выступа. Таким образом он уже совсем перевесился через арку, держась за ее край только пальцами вытянутых рук, но его ноги все еще не встречали опоры. Он не мог сообразить тогда, что арка над воротами выступала внутрь гораздо дальше, чем снаружи, и по мере того как затекали его руки и как тяжелее свисало вниз обессилевшее тело, ужас все сильнее проникал в его душу.

Наконец он не выдержал. Его пальцы, цеплявшиеся за острый угол, разжались, и он стремительно полетел вниз.

Он слышал, как заскрежетал под ним крупный гравий, и почувствовал острую боль в коленях. Несколько секунд он стоял на четвереньках, оглушенный падением. Ему казалось, что сейчас проснутся все обитатели дачи, прибежит мрачный дворник в розовой рубашке, подымет крик, суматоха... Но, как и прежде, в саду была глубокая, важная тишина. Только какой-то низкий, монотонный, жужжащий звук разносился по всему саду:

«Жжу... жжу... жжу...»

«Ах, ведь это шумит у меня в ушах!» – догадался Сергей. Он поднялся на ноги; все было страшно, таинственно, сказочно-красиво в саду, точно наполненном ароматными снами. На клумбах тихо шатались, с неясной тревогой наклоняясь друг к другу, словно перешептываясь и подглядывая, едва видимые в темноте цветы. Стройные, темные, пахучие кипарисы медленно кивали своими острыми верхушками с задумчивым и укоряющим выражением. А за ручьем, в чаще кустов, маленькая усталая птичка боролась со сном и с покорной жалобой повторяла:

«Сплю!.. Сплю!.. Сплю!..»

Ночь, среди перепутавшихся на дорожках теней, Сергей не узнал места. Он долго бродил по скрипучему гравия, пока не вышел к дому.

Никогда в жизни мальчик не испытывал такого мучительного ощущения полной беспомощности, заброшенности и одиночества, как теперь. Огромный дом казался ему наполненным беспощадными притаившимися врагами, которые тайно, с злобной усмешкой следили из темных окон за каждым движением маленького, слабого мальчика. Молча и нетерпеливо ждали враги какого-то сигнала, ждали чьего-то гневного, оглушительно грозного приказания.

– Только не в доме... в доме ее не может быть! – прошептал, как сквозь сон, мальчик. – В доме она выть станет, надоест...

Он обошел дачу кругом. С задней стороны, на широком дворе, было расположено несколько построек, более простых и незатейливых с виду, очевидно, предназначенных для прислуги. Здесь, так же как и в большом доме, ни в одном окне не было видно огня; только месяц отражался в темных стеклах мертвым неровным блеском. «Не уйти мне отсюда, никогда не уйти!..» – с тоской подумал Сергей. Вспомнился ему на миг дедушка, старая шарманка, ночлеги в кофейных, завтраки у прохладных источников. «Ничего, ничего этого больше не будет!» – печально повторил про себя Сергей. Но чем безнадежнее становились его мысли, тем более страх уступал в его душе место какому-то тупому и спокойно-злобному отчаянию.

Тонкий, словно стонущий визг вдруг коснулся его слуха. Мальчик остановился, не дыша, с напряженными мускулами, вытянувшись на цыпочках. Звук повторился. Казалось, он исходил из

каменного подвала, около которого Сергей стоял и который сообщался с наружным воздухом рядом-грубых, маленьких четырехугольных отверстий без стекол. Ступая по какой-то цветочной куртине, мальчик подошел к стене, приложил лицо к одной из отдушин и свистнул. Тихий, сторожкий шум послышался где-то внизу, но тотчас же затих.

– Арто! Артошка! – позвал Сергей дрожащим шепотом.

Неистовый, срывающийся лай сразу наполнил весь сад, отозвавшись во всех его уголках. В этом лае вместе с радостным приветом смешивались и жалоба, и злость, и чувство физической боли. Слышно было, как собака изо всех сил рвалась в темном подвале, сиюсь от чего-то освободиться.

– Арто! Собакушка!.. Артошенька!.. – вторил ей плачущим голосом мальчик.

– Цыц, окаянная! – раздался снизу зверский, басовый крик. – У, каторжная!

Что-то стукнуло в подвале. Собака залилась длинным прерывистым воем.

– Не смей бить! Не смей бить собаку, проклятый! – закричал в испуге Сергей, царапая ногтями каменную стену.

Все, что произошло потом, Сергей помнил смутно, точно в каком-то бурном горячем бреду. Дверь подвала широко с грохотом распахнулась, и из нее выбежал дворник. В одном нижнем белье, босой, бородатый, бледный от яркого света луны, светившей прямо ему в лицо, он показался Сергею великаном, разъяренным сказочным чудовищем.

– Кто здесь бродит? Застрелю! – загрохотал, точно гром, его голос по саду. – Воры! Грабят!

Но в ту же минуту из темноты раскрытой двери, как белый прыгающий комок, выскочил с лаем Арто. На шее у него болтался обрывок веревки.

Впрочем, мальчику было не до собаки. Грозный вид дворника охватил его сверхъестественным страхом, связал его ноги, парализовал все его маленькое тонкое тело. Но к счастью, этот столбняк продолжался недолго. Почти бессознательно Сергей испустил пронзительный, долгий, отчаянный вопль и наугад, не видя дороги, не помня себя от испуга, пустился бежать прочь от подвала.

Он мчался, как птица, крепко и часто ударяя о землю ногами, которые внезапно сделались крепкими, точно две стальные пружины. Рядом с ним скакал, заливаясь радостным лаем, Арто. Сзади тяжело грохотал по песку дворник, яростно рычащий какие-то ругательства.

С размаху Сергей наскочил на ворота, но мгновенно не подумал, а скорее инстинктивно почувствовал, что здесь дороги нет. Между каменной стеной и растущими вдоль нее кипарисами была узкая темная лазейка. Не раздумывая, подчиняясь одному чувству страха, Сергей, нагнувшись, юркнул в нее и побежал вдоль стены. Острые иглы кипарисов, густо и едко пахнувших смолой, хлестали его по лицу. Он спотыкался о корни, падал, разбивая себе в кровь руки, но тотчас же вставал, не замечая даже боли, и опять бежал вперед, согнувшись почти вдвое, не слыша своего крика. Арто кинулся следом за ним.

Так бежал он по узкому коридору, образованному с одной стороны – высокой стеной, с другой – тесным строем кипарисов, бежал, точно маленький обезумевший от ужаса зверек, попавший в бесконечную западню. Во рту у него пересохло, и каждое дыхание кололо в груди тысячью иголок. Топот дворника доносился то справа, то слева, и потерявший голову мальчик бросался то вперед, то назад, несколько раз пробегая мимо ворот и опять ныряя в темную, тесную лазейку.

Наконец Сергей выбился из сил. Сквозь дикий ужас им стала постепенно овладевать холодная, вялая тоска, тупое равнодушие ко всякой опасности. Он сел под дерево, прижался к его стволу изнемогшим от усталости телом и зажмурил глаза. Все ближе и ближе хрустел песок под грузными шагами врага. Арто тихо подвизгивал, уткнув морду в колени Сергея.

В двух шагах от мальчика зашумели ветви, раздвигаемые руками. Сергей бессознательно поднял глаза кверху и вдруг, охваченный невероятной радостью, вскочил одним толчком на ноги. Он только теперь заметил, что стена напротив того места, где он сидел, была очень низкая, не более полутора аршин. Правда, верх ее был утыкан вмазанными в известку бутылочными осколками, но Сергей не задумался над этим. Мигом схватил он поперек туловища Арто и поставил его передними лапами на стену. Умный пес отлично понял его. Он быстро вскарабкался на стену, замахал хвостом и победно залаял.

Следом за ним очутился на стене и Сергей, как раз в то время, когда из расступившихся ветвей кипарисов выглянула большая темная фигура. Два гибких, ловких тела – собаки и маль-

чика – быстро и мягко прыгнули вниз на дорогу. Вслед им понеслась, подобно грязному потоку, скверная, свирепая ругань.

Был ли дворник менее проворным, чем два друга, устал ли он от круженья по саду или просто не надеялся догнать беглецов, но он не преследовал их больше. Тем не менее они долго еще бежали без отдыха, – оба сильные, ловкие, точно окрыленные радостью избавления. К пуделю скоро вернулось его обычное легкомыслие. Сергей еще оглядывался боязливо назад, а Арто уже скакал на него, восторженно болтая ушами и обрывком веревки, и все изловчался лизнуть его с разбега в самые губы.

Мальчик пришел в себя только у источника, у того самого, где накануне днем они с дедушкой завтракали. Припавши вместе ртами к холодному водоему, собака и человек долго и жадно глотали свежую, вкусную воду. Они отгалкивали друг друга, приподнимали на минуту кверху головы, чтобы перевести дух, причем с губ звонко капала вода, и опять с новой жаждой приникали к водоему, не будучи в силах от него оторваться. И когда они наконец отвалились от источника и пошли дальше, то вода плескалась и булькала в их переполненных животах. Опасность миновала, все ужасы этой ночи прошли без следа, и им обоим весело и легко было идти по белой дороге, ярко освещенной луной, между темными кустарниками, от которых уже тянуло утренней сыростью и сладким запахом освеженного листа.

В кофейной «Блдыз» Ибрагим встретил мальчика с укоризненным шепотом:

– И сто ти се сляешься, мальцук? Сто ти се сляешься? Вай-вай-вай, нехоросо...

Сергей не хотел будить дедушку, но это сделал за него Арто. Он в одно мгновение отыскал старика среди груды валявшихся на полу тел и, прежде чем тот успел опомниться, облизал ему с радостным визгом щеки, глаза, нос и рот. Дедушка проснулся, увидел на шее пуделя веревку, увидел лежащего рядом с собой, покрытого пылью мальчика и понял все. Он обратился было к Сергею за разъяснениями, но не мог ничего добиться. Мальчик уже спал, разметав в стороны руки и широко раскрыв рот.

1903

Мирное житие

Сдвинув на нос старинные большие очки в серебряной оправе, наклонив набок голову, оттопырив бритые губы и многозначительно двигая вверх и вниз косматыми, сердитыми старческими бровями, Иван Вианорыч Наседкин писал письмо попечителю учебного округа. Почерк у него был круглый, без нажимов, красивый и равнодушный, – такой, каким пишут военные писаря. Буквы сцеплялись одна с другой в слова, точно правильные звенья цепочек разной длины.

«Как человек, некогда близко стоявший к великому, ответственному перед престолом и отечеством делу воспитания и образования русского юношества и беспорочно прослуживший на сем, можно смело выразиться священном поприще 35 лет, я, хотя и не открываю своего настоящего имени, подписываясь лишь скромным названием «Здравомыслящий», но считаю нравственным своим долгом довести до сведения Вашего превосходительства об одном из смотрителей многочисленных учебных заведений, вверенных Вашему мудрому и глубокоопытному попечению. Я говорю о штатном смотрителе Вырвинского четырехклассного городского училища, коллежском асессоре Опимахове, причем почтительнейше осмеливаюсь задать себе вопрос: совместимым ли с высоким призванием педагога и с доверием, оказываемым ему начальством и обществом, является поведение лица, проживающего бесстыдно, в явной для всего города и противной существующим законам любовной связи с особой женского пола, числящейся, по виду на жительство, девицей, которая к тому же в городе никому не известна, не посещает храмов божиих, и точно глумясь над христианскими чувствами публики, ходит по улице с папиросами и с короткими, как бы у дьякона, волосами? Во-вторых...»

Поставив аккуратное двоеточие, Иван Вианорыч бережно положил перо на край хрустальной чернильницы и откинулся на спинку стула. Глаза его, ласково глядя поверх очков, переходили от окон с тюлевыми занавесками к угловому образу, мирно освещенному розовой лампадкой, оттуда на старенькую, купленную по случаю, но прочную мебель зеленого репса, потом на блестящий восковым глянцем пол и на мохнатый, сшитый из пестрых кусочков ковер, работы самого Ивана Вианорыча. Сколько уж раз случалось с Наседкиным, что внезапно, среди делово-

го разговора, или очнувшись от задумчивости, или оторвавшись от письма, он испытывал тихую обновленную радость. Как будто бы он на некоторое время совсем забыл, а тут вдруг взял да и вспомнил, – про свою честную, всеми уважаемую, светлую, опрятную старость, про собственный домик с флигелем для жильцов, сколоченный тридцатью пятью годами свирепой экономии, про выслуженную полную пенсию, про кругленькие пять тысяч, отданные в верные руки, под вторую закладную, и про другие пять тысяч, лежащие пока что в банке, – наконец, про все те удобства и баловства, которые он мог бы себе позволить, но никогда не позволит из благоразумия. И теперь, вновь найдя в себе эти счастливые мысли, старик мечтательно и добродушно улыбался бритым, морщинистым, начинавшим западать ртом.

В кабинетике пахло геранями, мятным курением и чуть-чуть нафталином. На правом окне висела клетка с канарейкой. Когда Иван Вианорыч устремил на нее затуманенный, видящий и невидящий взгляд, птичка суетливо запрыгала по жердочкам, стуча лапками. Наседкин нежно и протяжно свистнул. Канарейка завертела хорошенькой хохлатой головкой, наклоняя ее вниз и набок, и пискнула вопросительно:

– Пи-и?

– Ах ты... пискунья! – сказал лукаво Иван Вианорыч и, вздохнув, опять взялся за перо.

«Во-вторых, – писал он, тихонько шепча слова, – тот же Опимахов позволяет себе пренебрегать положениями некоторых циркуляров Министерства Народного Просвещения и иными правительственными указаниями, побуждая и сам первый подавая пример подведомственным ему молодым учителям, якобы к расширению программы (sic!), а на самом деле – к возбуждению в доверчивых умах юношей превратных и губительных идей, клонящихся к разрушению добрых нравов, к возбуждению политических страстей, к низвержению авторитета власти и, в сущности, к самому гнилому и пошлому социализму. Так, вышеназванный коллежский асессор Мирон Степанович Опимахов находит нужным читать ученикам **лекции** (это слово Наседкин дважды густо подчеркнул, язвительно скривив рот набок) о происхождении человека от микроскопического моллюска, а учитель географии Сидорчук, неизвестно для чего, сообщает им свои извращенные личным невежеством познания о статистике и политической экономии. После этого не удивительно, что просвещаемые подобными *отличными* педагогами ученики четырехклассного городского Вырвинского училища *отличаются* буйным нравом и развращенными действиями. Так, напр., на днях у о. Михаила Трабукина, протоиерея местного собора, всеми чтимого пастыря, человека более чем святой жизни, были камнями выбиты 2 стекла в оранжее. При встрече со старшими, почтенными в городе лицами, даже имевшими высокую честь принадлежать 35 лет к учебному ведомству, не снимают головных уборов, а, наоборот, глядя в глаза, нагло смеются, и многое, очень многое другое, что готов подробно описать Вашему превосходительству (NB: равно как и о нравах, процветающих и в других учебных заведениях), если последует милостивый ответ на сие письмо в местное почтовое отделение, до востребования, предъявителю кред. бил. 3-х-рублевого достоинства за № 070911.

Имею честь быть Вашего превосходительства всепокорнейшим слугою.

Здравомыслящий ».

Наседкин поставил последнюю точку и сказал вслух:

– Так-то-с, господин Опимахов!

Он встал, хотел было долго и сладко потянуться уставшим телом, но вспомнил, что в пост грех это делать, и сдержался. Быстро потеряв рукой об руку, точно при умыванье, он опять присел к столу и развернул ветхую записную книжку с побуревшими от частого употребления нижними концами страниц. Вслед за записями крахмального белья, адресами и днями именин, за графами прихода и расхода шли заметки для памяти, написанные бегло, с сокращениями в словах, но все тем же прекрасным писарским почерком.

«Кузьев намекал, что у городского казначея растрата. Проверить и сообщ. в казенную пал. NB. Говорят, Куз. корреспондирует в какую-то газету!! Узнать».

«Священник с. Б.Мельники, Златодеев (о. Никодим), на святки упился. Танцевал и потерял крест. Довести до свед. Его преосв. *Исполнено. Вызван для объясн. 21 февр.*».

«Не забыть о Серг. Платоныче. С нянькой».

«Учитель Опимахов. Сожительство. Лекции и пр. Сидорчук. Непочтение. Попеч. уч. округа».

Дойдя до этой заметки, Иван Вианорыч обмакнул перо и приписал сбоку: «Сообщено».

В эту книжку были занесены все скандалы, все любовные интрижки, все сплетни и слухи маленького, сонного, мещанского городишки; здесь кратко упоминалось о господах и о прислуге, о чиновниках, о купцах, офицерах и священниках, о преступлениях по службе, о том, кто за кем ухаживает (с приблизительным указанием часов свиданий), о неосторожных словах, сказанных в клубе, о пьянстве, карточной игре, наконец даже о стоимости юбок у тех дам, мужья или любовники которых жили выше средств.

Иван Вианорыч быстро пробежал глазами эти заметки, схватывая их знакомое содержание по одному слову, иногда по какому-нибудь таинственному крючку, поставленному сбоку.

– До всех доберемся, до всех, мои миленькие, – кривя губы, шептал он вслух, по старческой привычке. – Семинарист Элладов... Вы, пожалуй, подождите, господин либеральный семинарист. Драка у Харченко, Штурмер передернул... Ну, это еще рано. Но вы не беспокойтесь, придет и ваша очередь. Для всех придет правосудие, для все-ех!.. Вы думаете как: нашкодил и в кусты? Не-ет, драгоценные, есть над вашими безобразиями зоркие глаза, они, брат, все видят... Землемерша... Ага! Это самое. Пожалуйте-ка на свет божий, прекрасная, но легкомысленная землемерша.

На верху страницы стояли две строчки:

«Землемерша (Зоя Никит.) и шт. – кап. Беренгович. Землемер – тюфяк. Лучше сообщить капитанше».

Иван Вианорыч придвинулся поближе к столу, поправил очки, торопливо запахнул свой ватный халатик с желтыми разводами и виде вопросительных знаков и принялся за новое письмо. Он писал прямо начисто, почти не обдумывая фраз. От долгой практики у него выработался особый стиль анонимных писем или, вернее, несколько разных стилей, так как обращение к начальствующим лицам требовало одних оборотов речи, к обманутым мужьям других, на купцов действовал слог высокий и витиеватый, а духовным особам были необходимы цитаты из творений отцов церкви.

«Милостивая Государыня, Мадам Беренгович!

Не имея отличного удовольствия знать Вас близко, боюсь, что сочтете мое письмо к Вам за невежество. Но долг порядочности и человеколюбия повелевает мне скорее нарушить правила приличия, нежели молчать о том, что стало уже давно смехотворной сказкой города, но о чем Вы, как и всякая обманутая жертва, узнаете – увы! – последняя. Да, несчастная! Муж твой, недостойный своего высокого звания защитника Отечества, обманывает тебя самым наглым и бессердечным образом с той, которую ты отогрела на своей груди, подобно крестьянину в известной басне великого Крылова!!!

Советую Вам узнать стороной, когда именно соберется в уезд некий хорошо знакомый вам землемер, и в тот же вечер, так часов около 9-ти, нанесите прелестной Зое визит, чем, конечно, доставите ей весьма приятный сюрприз, который будет тем приятнее, чем он будет неожиданнее. Ручаюсь – ничто не помешает вам: супруга

Вашего, господина Штабс-Капитана, в этот вечер _наверно_ не будет дома (его отзывают в полк по делам службы или, скажем, к больному товарищу). А для того чтобы еще больше обрадовать оболыстительнейшую Зою, рекомендую Вам пройти не через парадный ход, а через кухню, и как можно быстрее. Если Вы встретите на кухне горничную, помните, что ее зовут Аришей и что рубль вообще производит магическое действие».

Низкий, одинокий удар колокола тяжелой волной задрожал в воздухе, густо и широко влившись в комнату. Иван Вианорыч привстал, перекрестился, сурово прикрыв на секунду глаза, но тотчас же сел и продолжал писать, несколько торопливее, чем раньше:

«К самому г. землемеру я бы Вам посоветовал лучше не обращаться. Кажется, этому индивиду решительно безразлично, что его супруга, подобно древней Мессалине, прославилась не только на весь уезд, но и на всю губернию своим поведением. Вас же я знаю за даму с твердыми и честными правилами, которые, во всяком случае, не позволяют Вам хладнокровно переносить свой позор. Простите, что по некоторым причинам не открываю своего имени, а остаюсь глубоко сострадающий вашему горю

Доброжелатель ».

В полуоткрытую дверь просунулся сначала голый костлявый локоть, а потом и голова старой кухарки.

– Барин, к ефимонам звонят...

– Слышу, Фекла, не глухой, – отозвался Наседкин, поспешно заклеивая конверт. – Дай мне старый сюртук и приготовь шубу.

– Шубу скунсовую?

– Нет, ту, другую, с капюшоном.

Прежде чем выйти из дому, Наседкин, по обыкновению, помолился на свой образ.

– Боже, милостив буди мне, грешному! – шептал он, умильно покачивая склоненной набок головой и крепко надавливая пальцами на лоб, на живот и плечи. И в то же время мысленно, по давней привычке делать все не торопясь и сознательно, он напоминал самому себе:

«Письма лежат в шубе, в боковом кармане. Не забыть про почтовый ящик».

Над городом плыл грустный, тягучий великопостный звон. Банн... банн... – печально и важно, густым голосом, с большими промежутками, выпевал огромный соборный колокол, и после каждого удара долго разливались и таяли в воздухе упругие трепещущие волны. Ему отзывались другие колокольни: сипло, точно простуженный архиерейский бас, вякал надтреснутый колокол у Никиты Мученика; глухим, коротким, беззвучным рыданием отвечали с Николы на Выселках, а в женском монастыре за речкой знаменитый «серебряный» колокол стонал и плакался высокой, чистой, певучей нотой.

Был конец зимы. Санный путь испортился. Широкая улица, вся исполосованная мокрыми темными колеями, из белой стала грязно-желтой. В глубоких ухабах, пробитых ломовыми, стояла вода, а в палисадничке, перед домом Наседкина, высокий сугроб снега осел, обрыхлел, сделался ноздреватым и покрылся сверху серым налетом. Заборы размякли от сырости.

В городском саду, на деревьях, – там, где среди голых верхушек торчали пустые гнезда, без умолку кричали и гомозились галки. Они отлетали и тотчас же возвращались, качались на тонких ветках, неуклюже взмахивая крыльями, или черными тяжелыми комками падали сверху вниз. И все это – и птичья суета, и рыхлый снег, и печальный, задумчивый перезвон колоколов, и запах оттаивающей земли – все говорило о близости весны, все было полно грустного и сладостного, необъяснимого весеннего очарования.

Иван Вианорыч степенно двигался по деревянному тротуару, часто и внушительно постукивая большими кожаными калошами. На Дворянской его обогнал десяток гимназистов разного возраста. Они шли парами, громко смеясь и сталкивая друг друга с помоста в снег. Сзади шагал долговязый молодой учитель в синих очках, с козлиной черной бородкой; в зубах у него была

папироса. Проходя мимо Наседкина, учитель поглядел ему прямо в лицо тем открытым, дружеским взглядом, которым так славно смотрят весной очень молодые люди.

«И это называется идти в храм, да еще в такие дни! – с горечью и укоризной подумал Иван Вианорыч. – И это учитель, педагог! Развращенный вид, папироса во рту! Кажется, его фамилия Добросердов?.. Нечего сказать, хорош... Буду иметь его в виду, на всякий случай».

По широким ступеням соборной лестницы тихо подымались темные фигуры мужчин и женщин. Не было обычной около церкви суматохи и нетерпеливого раздражения. Люди шли робко, точно утомленные, придавленные своими грехами, уступая друг другу дорогу, сторонясь и выжидая очереди.

Собор внутри был полон таинственной, тяжелой тьмы, благодаря которой стрельчатые узкие окна казались синими, а купол уходил бесконечно в вышину. Пять-шесть свечей горело перед иконами алтаря, не освещая черных старинных ликов и лишь чуть поблескивая на ризах и на острых концах золотых сияний. Пахло ладаном, свечной гарью и еще той особенной холодной, подвальной сыростью древнего храма, которая всегда напоминает о смерти.

Народу было много, но тесноты не чувствовалось. Говорили шепотом и точно с боязнью, кашляли осторожно, и каждый звук гулко и широко отдавался под огромными каменными сводами. На левом клиросе молодой лабазник Бардыгин читал часы громким и таким ненатуральным, задавленным голосом, как будто в горле у него застряла корка черного хлеба. Щеголяя мастерством быстрого чтения, он выкрикивал одним духом столько текста, сколько мог, причем сливал все слова, целые предложения, даже новые строчки в одно длинное, в сотню слогов, непонятное слово. Изредка он останавливался на секунду, чтобы набрать в грудь воздуха, и тогда начальное слово следующей фразы он произносил с большой растяжкой, театрально удваивая согласные звуки, и лишь после этого, точно приобретя необходимый ему размах, с разбегу сыпал частой дробью непонятных звуков, «Ак-кискимен, обитаяй в тайных...», «Ик-кам-мень его прибежище заяцам тра-та-та-та...» вырывалось отдельными восклицаниями.

Иван Вианорыч подошел к свечному прилавку. Церковный староста благообразный тучный старик, весь точно серебряный от чисто вымытых, картинно расчесанных седин – звякал среди напряженной тишины медяками, укладывая их в стопочки.

– Михал Михалычу! – сказал Наседкин, протягивая через прилавок руку.

– А! Иван Вианорыч! – сдержанным ласковым баском ответил староста. Все ли в добром здоровычке? А мне, того, как его... надо с вами поговорить о чем-то, – прибавил он, понижая голос и заслоняясь ладонью от свечки, чтобы лучше разглядеть из темноты лицо Наседкина. – Ты, отец, подожди меня малость после ефимонов... Ладно?

– Отчего ж... Я подожду.

Степенно шаркая калошами по плитяному полу, Иван Вианорыч пробрался на свое обычное место, за правым клиросом у образа Всех Святителей, которое он, по праву давности и почета, занимал уже девятый год. Там стоял, сложив руки на животе и тяжело вздыхая, рослый бородатый мужик в белом дубленом тулупе, пахнувшем бараном и терпкой кислятиной. Со строгим видом, пожевав губами, Иван Вианорыч брезгливо тронул его за рукав.

– Ты что же это, любезный, распространился? Видишь – чужое место, а лезешь, – сказал он сурово.

Мужик низко поклонился и с покорной суетливостью затоптался в сторону.

– Прости, батюшка, прости, Христа ради.

– Бог простит, – сухо ответил старик.

На клиросе задвигался желтый огонек свечки, от него робко вспыхнул другой, третий. Теплые огненные язычки, постепенно рождаясь в темноте, перешли снизу вверх, и невидимая до сих пор певческая капелла ясно и весело озарилась светом среди скорбной темноты, наполнявшей церковь. Лица дискантов, освещаемые снизу, с блестящими точками в глазах, с мягкими контурами щек и подбородков, стали похожи на личики тех мурильевских херувимов, которые поют у ног мадонны, держа развернутые ноты. У стоявших сзади мужчин из-за темных усов бело и молодо сверкали зубы. Басы мощно откашливались, рыча в глубине хора, как огромные, добродушные звери.

Пронесся тонкий, жужжащий звук камертона. Регент, любимец и баловень купечества, лысый, маленький и толстый мужчина, в длинном сюртуке, более широкий в заду, чем в плечах, топким голосом, бережно, точно сообщая хору какую-то нежную тайну, задал тон. Толпа заше-

велилась, протяжно вздохнула и стихла.

– Помощник и покровитель бысть мне во спасение! – с чувством прошептал Наседкин, опережая певчих, хорошо знакомые ему слова ирмоса.

Стройные, печальные звуки полились с клироса, но прежде, чем преодолеть огромную пустоту купола, оттолкнулись от каменных стен, и в первые мгновения казалось, будто во всех уголках темного храма запело, вступая один за другим, несколько хоров.

Из алтаря вышел, щуря на народ голубые близорукие глаза, второй соборный священник, о. Евгений – маленький, чистенький старичок, похожий лицом на Николая-угодника, как его пишут на образах. Он был в одной траурной епитрахили поверх черной рясы, и эта простота церковной одежды, и слабая, утомленная походка священника, и его прищуренные глаза трогательно шли к покаянному настроению толпы и к тишине и к темноте собора.

Певчие замолчали, и вслед за ними замолкли один за другим невидимые хоры в углах и в куполе. Тихим, слегка вздрагивающим, умоляющим голосом, так странно не похожим своей естественностью на обычные церковные возгласы, священник проговорил первые слова великого канона:

– Откуда начну плаката окаянного моего жития деяний? Кое положу начало, Христе, нынешнему рыданию?..

– Помилуй мя, боже, помилуй мя! – скорбно заплакал хор.

«Нынешнему рыданию! – повторил мысленно Иван Вианорыч, почувствовав в затылке у себя холодную волну. – Какие слова!..»

Воображение вдруг нарисовало ему древнего, согбенного годами, благодушного схимника. Вот он пришел в свою убогую келью, поздним вечером, после утомительной службы, едва держась на больных ногах, принеся в складках своей одежды, украшенной знаками смерти, запах ладана и воска. Молчание, полумрак... слабо дрожит огонек свечи перед темными образами... на полу, вместо ложа, раскрытый гроб... Со стоном боли становится отшельник на израненные, натруженные колени. Впереди целая ночь молитвы, страстных вздохов, горьких и сладостных рыданий, сотрясающих хилое тело. И, уже предчувствуя близость блаженных слез, старец перебирает в уме всю свою невинную, омытую ежедневным плачем жизнь и ждет вдохновения молитвы. «Откуда начну плаката!»...

«Нет! Уйду в монастырь, на покой! – вдруг решил растроганный Иван Вианорыч. – Дом, проценты... Зачем все это?»

– Осквернив плоти моя ризу и окалях, еже по образу, спасе, и по подобию, – читал священник.

«Уйду. Вот возьму и уйду. Там тишина, благолепие, смирение, а здесь... о господи!.. Ненавидят друг друга, клеветают, интригуют... Ну, положим, я свою каплю добра несу на пользу общую: кого надо, остерегу, предупрежу, открою глаза, наставлю на путь. Да ведь и о себе надо подумать когда-нибудь, смерть-то – она не ждет, и о своей душе надо порадеть, вот что!»

Около Наседкина зашелестело шелком женское платье. Высокая дама в простом черном костюме прошла вперед, к самому клиросу, и стала в глубокой нише, слившись с ее темнотой. Но на мгновение Иван Вианорыч успел разглядеть прекрасное белое лицо и большие печальные глаза под тонкими бровями.

Всему городу, – а Ивану Вианорычу больше других, – была известна трагическая история этой женщины. Ее выдали из бедной купеческой семьи замуж за местного миллионера-лесопромышленника Щербачева, вдовца, человека старше ее лет на сорок, про которого говорили, что он побоями вогнал в гроб двух своих первых жен. Несмотря на то что Щербачеву подходило уже под шестьдесят, он был необычайно крепок здоровьем и так силен физически, что во время своих обычных безобразных запоев разбивал кулаком мраморные столики в ресторанах и один выворачивал уличные фонари. Однажды, собравшись в дальний уезд по делам, он неожиданно вернулся с дороги домой и застал жену в своей спальне с красавцем приказчиком. Говорили, что он был заранее предупрежден анонимным письмом. Приказчика он не тронул, велел ему только ползти на четвереньках через все комнаты до выходной двери. Но над женой он вдоволь натешил свою звериную, хамскую душу. Свалив ее с ног кулаками, он до усталости бил ее огромными коваными сапожищами, потом созвал всю мужскую прислугу, приказал раздеть жену догола, и сам, поочередно с кучером, стегал кнутом ее прекрасное тело, обратив его под конец в сплошной кусок кровавого мяса.

С тех пор прошло два года. Сильная натура молодой женщины каким-то чудом выдержала это истязание, но душа сломилась и стала рабской. Жена Щербачева отказалась от людей, никуда не ездила и никого у себя не принимала. Лишь изредка появлялась она в церкви, вызывая шепот мещанского любопытства между городскими сплетниками. Рассказывали, что Щербачев после той ужасной ночи не сказал более с женой ни одного слова, а если уезжал куда-нибудь, то запирали ее на ключ и приказывали ложиться на ночь у ее дверей дворникам.

– «Бог-то все заранее расчислил! – набожно и злорадно думал Наседкин, косясь на степную нишу, в которой едва темнела высокая женская фигура. Кабы не нашлись вовремя добрые люди, ты бы и теперь, вместо молитвы и вздыхания сердечного, хвосты бы с кем-нибудь трепала. А так-то оно лучше, по-хорошему, по-христиански... О господи, прости мои согрешения... Ничего, помолись, матушка. Молитва-то – она сердце умягчает и от зла отгоняет...»

– Слезы блудницы, Щедре, и аз предлагаю: очисти мя, спасе, благоутробием твоим! – кротким, старчески простым голосом выговаривал маленький священник.

– Помилуй мя, боже! – глубоким стоном сокрушения ответил ему хор.

Плечи Щербачевой вдруг затряслись. Закрыв лицо ладонями, она быстро опустила на колени, точно упала.

«И я тоже, и я, господи! Слезы блудницы предлагаю!» – со смиренным самоунижением подумал Иван Вианорыч. Но смирение его было легкое, приятное. Глубоко в душе он знал про самого себя, что жизнь его чиста и дела беспорочны, что он честно прослужил тридцать пять лет своему отечеству, что он строго блюдет посты и обличает беззаконие. Не осмеливаясь выпускать этих самолюбивых мыслей на поверхность сознания, притворяясь перед самим собой, что их вовсе нет в его сердце, он все-таки с гордостью верил, что ему уготовано в будущей жизни теплое, радостное место, вроде того, которое ему общий почет и собственные заслуги отвели в церкви, под образом Всех Святителей.

Слезы стояли у него в груди, щипали глаза, но не шли. Тогда, пристально смотря на огонь свечки, он стал напрягать горло, как при зевоте, и часто дышать, и наконец они потекли сами – обильные, благодатные, освежающие слезы...

Служение кончилось. Народ медленно, в молчании расходился. Отец Евгений вышел из алтаря, с трудом передвигая ревматическими ногами, и, узнав Наседкина, ласково кивнул ему головой. Прошла робко, неуверенной походкой, странно не идущей к ее роскошной фигуре, купчиха Щербачева... Иван Вианорыч вышел последним, вместе с церковным старостой.

– Чудесно читает ефимоны отец Евгений, – сказал, спускаясь по ступенькам, староста. – До того вразумительно. Так всю тебе душу и пробирает.

– Отлично читает, – согласился Наседкин. – Про какое дело-то вы хотели, Михал Михалыч?

– Дело такое, отец: что есть у вас сейчас, того, как его... свободные деньги?

– Ну?

– А ты не запряг, так и не погоняй. Спрашиваю, есть деньги?

– Много ли?

– Пустое... Тысячи три, а то лучше четыре.

– Ну, скажем, есть, – недоверчиво произнес Иван Вианорыч. – Ты про дело-то говори: кому надо?

– Чудак человек. Не веришь ты мне, что ли? Того, как его... уж, если я говорю, стало быть, дело верное. Я бы тебя не стал звать, кабы располагал сейчас наличными. Апрянина надоть выручить, ему платежи подходят, а по векселям задержка.

– Так, – задумчиво произнес Наседкин. – Из скольких процентов?

Михаил Михайлович фыркнул носом и, слегка навалившись на спутника, проказливо толкнул его локтем в бок.

– Ах ты... мастер Иоганн Кнастер! Сказал тебе, будь без сомнения, и шабаш. За полгода двести на тыщу хватит с тебя? Ну и... того, как его... нечего разговаривать. Прощай, что ли. Мне направо. Зайди завтра утречком, обговорим.

– Ладно, приду, – вздохнул Иван Вианорыч. – Прощайте, Михал Михалыч.

– Наилучшего, Иван Вианорыч.

Они разошлись. Наседкин шел по деревянным мосткам, постукивая кожаными калошами, и все время вздыхал, с наружным сокрушением, и внутренним довольством. От его шубы еще

пахло мирным запахом церкви, спина приятно, расслабленно ныла после долгого стояния, и в душе у него была такая же тихая, сладкая истома.

Маленький захолустный городишко уже спал. Не было прохожих на улице. Где-то недалеко за забором лаяла лениво, от нечего делать, собака. Сгущались прозрачные, зеленые, апрельские сумерки; небо на западе было нежно-зеленое, и в голых ветках деревьев уже чувствовался могучий темно-зеленый весенний тон.

Вдали показался дом Наседкина. Лампа внутри не была зажжена, но тюлевые занавеси на окнах чуть-чуть розовели от сияния лампадки.

«Слезы блудницы и аз предлагаю!» – с умилением вспомнил Иван Вианорыч.

– Ворона! – перебил он вдруг себя. – Пропустил почтовый ящик.

Он вернулся назад, чтобы опустить письма. Услышав, как они стукнулись о железное дно ящика, он еще плотнее запахнул теплую шубу и пошел дальше. И для того чтобы опять вернуться к прежним отрадным мыслям о доме, о процентах, о сладости молитв, о людских грехах и о своей чистоте, он еще раз с чувством прошептал, растроганно покачивая головой:

– Слезы блудницы и аз предлагаю...

1904

Корь

I

Перед обедом доктор Ильяшенко и студент Воскресенский искупались. Жаркий юго-восточный ветер развел на море крупную зыбь. Вода у берега была мутная и резко пахла рыбой и морскими водорослями; горячие качающиеся волны не освежали, не удовлетворяли тела, а, наоборот, еще больше истомляли и раздражали его.

– Вылезайте, коллега, – сказал доктор, поливая пригоршнями свой толстый белый живот. – Так мы до обморока закупаемся.

От купальни нужно было подыматься вверх, на гору, по узкой тропинке, которая была зигзагами проложена в сыпучем черном шифере, поросшем корявым дубнячком и бледно-зелеными кочнями морской капусты. Воскресенский взбирался легко, шагая редко и широко своими длинными мускулистыми ногами. Но тучный доктор, покрывший голову, вместо шляпы, мокрым полотенцем, изнемогал от зноя и одышки. Наконец он совсем остановился, держась за сердце, тяжело дыша и мотая головой.

– Фу! Не могу больше... Хоть снова полезай в воду... Постоим минутку...

Они остановились на плоском закруглении между двумя коленами дорожки, и оба повернулись лицом к морю. Вздурораженное ветром, местами освещенное солнцем, местами затененное облаками, – оно все пестрело разноцветными заплатами. У берега широко белела пена, тая на песке кисейным кружевом, дальше шла грязная лента светло-шоколадного цвета, еще дальше – жидкая зеленая полоса, вся сморщенная, вся изборожденная гребнями волн, и, наконец, – могучая, спокойная синева глубокого моря с неправдоподобными яркими пятнами, то густо-фиолетовыми, то нежно-малахитовыми, с неожиданными блестящими кусками, похожими на лед, занесенный снегом. И вся эта живая мозаика казалась опоясанной у горизонта черной, спокойной, неподвижной лентой безбрежной дали.

– А все-таки здорово как! – сказал доктор. – Красота ведь, а?

Он протянул вперед короткую руку с толстенькими, как у младенца, пальцами и широко, по-театральному, черкнул ею по морю.

– Да... ничего, – равнодушно ответил Воскресенский и зевнул полупритворно. – Только надоедает скоро. Декорация.

– Та-ак! Мы их ели. Это, знаете, анекдот есть такой, – пояснил Ильяшенко. – Пришел солдат с войны к себе в деревню, ну и, понятно, врет, как слон. Публика, конечно, обалдевши от удивления. «Были мы, говорит, на Балканах, в самые, значит, облака забрались, в самую серединку». – «Ах, батюшки, да неужто ж в облака?» А солдат этак с равнодушием: «А что нам облака? Мы их ели. Все одно как студень». У доктора Ильяшенки была страсть рассказывать анекдоты,

особенно из простонародного и еврейского быта. В глубине души он думал, что только по капризному расположению судьбы из него не вышло актера. Дома он изводил жену и дочь Островским, а в гостях у пациентов любил декламировать никитинского «Ямщика», причем неизменно для этого вставал, переворачивал перед собою стул и опирался на его спинку вывороченными врозь руками. Читал же он самым неестественным, нутряным голосом, точно чревовещатель, полагая, что именно так и должен говорить русский мужик.

Рассказав анекдот о солдате, он тотчас же, первый, радостно захохотал свободным грудным смехом. Воскресенский принужденно улыбнулся.

– Видите ли, доктор... юг, – начал он вяло, точно затрудняясь в словах, – не люблю юга. Здесь все как-то масляно, как-то... не знаю... чрезмерно. Ну, вот, цветет магнолия... позвольте, да разве это – растение? Так и кажется, что ее нарочно сделали из картона, выкрасили зеленой масляной краской, а сверху навели лак. Природа! Солнце встало из-за моря – и жара, а вечером бултых за горы – и сразу ночь. Нет птиц. Нет наших северных зорь с запахом молодой травки, нет поэзии сумерек, с жуками, с соловьем, со стадом, бредущим в пыли. Какая-то оперная декорация, а не природа...

– В ва-ашем до-оме, – сиплым тенорком запел доктор. – Известно, – вы кацап.

– А эти лунные ночи, черт бы их драл! – продолжал Воскресенский, оживляясь от давнишних мыслей, которые он до сих пор думал в одиночку. – Одно мученье. Море лоснится, камни лоснятся, деревья лоснятся. Олеография! Цикады дурацкие орут, от луны никуда не спрячешься. Противно, беспокойно как-то, точно тебя щекочут в носу соломинкой.

– Варвар! Зато, когда у вас в Москве двадцать пять градусов мороза, и даже городские трещат от холода, – у нас цветут розы и можно купаться.

– И южного народа не люблю, – упрямо продолжал студент, следивший за своими мыслями. – Скверный народишко – ленивый, сладострастный, узколобый, хитрый, грязный. Жрут всякую гадость. И поэзия у них какая-то масляная и приторная... Вообще – не люблю!

Доктор остановился, развел руками и сделал круглые, изумленные глаза.

– Тю-тю-тю-у! – засвистал он протяжно. – И ты, Брутус? Узнаю дух нашего почтенного патрона в ваших словах. Русская песня, русская рубаха, а? Русский бог и русская подоплека? Жидишки, полячишки и прочие жалкие народишки? А?

– Будет вам, Иван Николаевич. Оставьте, – резко сказал Воскресенский. Лицо у него вдруг побледнело и некрасиво сморщилось. – Тут смеяться не над чем; вы знаете хорошо мои взгляды. Если я до сих пор не сбежал от этого попугая, от этого горохового шута, то только потому, что есть надо, а это все скорее прискорбно, чем смешно. Довольно и того, что за двадцать пять рублей в месяц я ежедневно отказываю себе в удовольствии высказать то, что меня давит... душит за горло... что оподляет мои мысли!..

– Пре-елесь, ну зачем так сильно!

– У! Я бы ему сказал много разных слов! – воскликнул злобно студент, потрясая перед лицом крепким, побелевшим от судорожного напряжения кулаком. –

Я бы... о, какой это шарлатан!.. Ну, да ладно... не навек связаны.

Глаза доктора вдруг сузились и увлажнились. Он взял Воскресенского под руку и, баловливо прижимаясь головой к его плечу, зашептал:

– Слушайте, радость, зачем так кирпичиться? Ну что толку, если вы Завалишина изругаете? Вы его, он вас – и выйдет шкандал в благородном доме, и больше ничего. А вы лучше соедините сладость мести с приятностью любви. Вы бы Анну Георгиевну... А? Или уже?

Студент промолчал и делал усилия высвободить свою руку из рук доктора, но тот еще крепче притиснул ее к себе и продолжал шептать, играя смеющимися глазами:

– Чудак человек, вы вкусу не понимаете. Женщине тридцать пять лет, самый расцвет, огонь... телеса какие! Да будет вам жасминничать – она на вас, как кот на сало, смотрит. Чего там стесняться в родном отечестве? Запомните афоризм: женщина с опытом подобна вишне, надклеванной воробьем, – она всегда слаще... Эх, где мои двадцать лет? – заговорил он по-театральному, высоким блеющим горловым голосом. – Где моя юность! Где моя пышная шевелюра, мои тридцать два зуба во рту, мой...

Воскресенскому удалось наконец вырваться от повисшего на нем доктора, но сделал он это так грубо, что обоим стало неловко.

– Простите, Иван Николаич, а я... не могу таких мерзостей слушать... Это не стыдливость,

не целомудрие, а... просто грязно, и... вообще... не люблю я этого... не могу...

Доктор насмешливо растопырил руки и хлопнул себя по ляжкам.

– Очарование мое, значит, вы не понимаете шуток? Я сам вполне уважаю чужие убеждения и, уверяю вас, радуюсь, когда вижу, что среди нынешней молодежи многие смотрят чисто и честно на эти вещи, но почему же нельзя пошутить? Сейчас же фрр... и хвост веером. К чему?

– Извините, – глухо сказал студент.

– Ах, родной мой, я же ведь это не к тому. Но только все вы теперь какие-то дерганые стали. Вот и вы: здоровенный мужчище, грудастый, плечистый, а нервы как у институтки. Кстати, знаете что, – прибавил доктор деловым тоном, – вы бы, сладость моя, пореже купались. Особенно в такую жару. А то, знаете, можно с непривычки перекупаться до серьезной болезни. У меня один пациент нервную экзему схватил оттого, что злоупотреблял морем.

Они шли теперь по последнему, почти ровному излому тропинки. Справа от них обрывалась круто вниз гора и бесконечно далеко уходило кипящее море, а слева лепились по скату густые кусты шиповника, осыпанного розовыми, нежными цветами, и торчали из красно-желтой земли, точно спины лежащих животных, большие, серые, замшелые камни. Студент смущенно и сердито глядел себе под ноги.

«Нехорошо это вышло, – думал он, морщась. – Нелепо как-то. В сущности, доктор славный, добрый человек, всегда внимательный, уступчивый, ровный. Правда, он держит себя немножко паяцем и болтлив, ничего не читает, сквернословит, опустил себя благодаря легкой курортной практике... Но все-таки он хороший, и я поступил с ним резко и невежливо».

А Ильяшенко в это время беспечно сбивал тросточкой тонкие белые цветочки повилики, крепко пахнувшие горьким миндалем, и напевал вполголоса:

В вашем до-оме узнал я впервые-ые...

Сладость чистой и нежн-ай любви.

II

Они вышли на шоссе. Над белой каменной оградой, похожей своей массивностью на крепостную стену, возвышалась дача, затейливо и крикливо выстроенная в виде стилизованного русского терема, с коньками и драконами на крыше, со ставнями, пестро разрисованными цветами и травами, с резными наличниками, с витыми колонками, в форме бутылок, на балконах. Тяжелое и несуразное впечатление производила эта вычурная, пряничная постройка на фоне сияющего крымского неба и воздушных, серо-голубых гор, среди темных, задумчивых, изящных кипарисов и могучих платанов, обвитых сверху донизу плющом, вблизи от прекрасного, радостного моря. Но ее владелец, Павел Аркадьевич Завалишин, бывший корнет армейской кавалерии, затем комиссионер по продаже домов, позднее – нотариус в крупном портовом городе на юге, а ныне известный нефтяник, пароходовладелец и председатель биржевого комитета, – не чувствовал этого противоречия. «Я – русский и потому имею право презирать все эти ренессансы, рококо и готики! – кричал он иногда, стуча себя в грудь. – Нам заграница не указ. Будет-с: довольно поклонялись. У нас свое, могучее, самобытное творчество, и мне, как русскому дворянину, начихать на иностранщину!»

На огромном нижнем балконе уже был накрыт стол. Дожидались Завалишина, который только что приехал из города и переодевался у себя в комнате. Анна Георгиевна лежала на кресле-качалке, томная, изнемогающая от жары, в легком халате из молдаванского полотна, шитого золотом, с широкими, разрезными до подмышек рукавами. Она была еще очень красива тяжелой, самоуверенной, пышной красотой – красотой полной, хорошо сохранившейся брюнетки южного типа.

– Здравствуйте, доктор, – сказала она низким голосом, чуть-чуть картавя. – Отчего вы вчера не догадались приехать? У меня была такая мигрень!

Не подымаясь с кресла, она лениво протянула Ивану Николаевичу руку, причем свисший вниз рукав открыл круглое, полное плечо с белой оспинкой, и голубые жилки на внутреннем сгибе локтя, и темную хорошенькую родинку немного повыше. Анна Георгиевна (она требовала почему-то, чтобы ее называли не Анной, а Ниной) знала цену своим рукам и любила их показы-

вать.

Ильяшенко притянул к протянутой руке так почтительно, что ее пришлось у него выдернуть насильно.

– Вот видите, какой у нас доктор галантный, – сказала Анна Георгиевна, переводя на Воскресенского смеющиеся, ласковые глаза. – А вы никогда у дам рук не целуете. Медведь! Подите сюда, я перевяжу вам галстук. Вы бог знает как одеваетесь!

Студент неуклюже подошел и нагнулся над ней, ощущая, сквозь сильный аромат духов, запах ее волос. Ловкие, нежные пальцы забегали по его шее. Воскресенский был целомудренный молодой человек, в прямом, здоровом смысле этого слова. Конечно, еще с первых классов гимназии он понаслышке знал все, что касается самых интимных отношений между женщиной и мужчиной, но его просто никогда не тянуло делать то, что делали и чем хвастливо гордились его товарищи. В нем сказывалась спокойная и здоровая кровь устойчивой старинной поповской семьи. Но и лицемерного, ханжеского негодования против «бесстыдников» у него не было. Он равнодушно слушал то, что говорилось по этому поводу, и не возмущался, если при нем рассказывали те известные анекдоты, без которых в русском интеллигентном обществе не обходится ни один разговор.

Он хорошо понимал, что значило постоянное заигрывание с ним Анны Георгиевны. Здороваясь и прощаясь, она подолгу задерживала его руку в своей мягкой, изнеженной и, в то же время, крепкой руке. Она любила, под видом шутки, ерошить ему волосы, иногда покровительственно звала его уменьшительным именем, говорила при нем рискованные, двусмысленные вещи. Если им обоим случалось нагнуться над альбомом или опереться рядом на перила балкона, следя за пароходом в море, она всегда жалась к нему своей большой грудью и горячо дышала ему в шею, причем завитки ее жестких, курчавых волос щекотали ему щеку. И она возбуждала в Воскресенском странное, смешанное чувство – боязливости, стыда, страстного желания и отвращения. Когда он думал о ней, она представлялась ему такой же чрезмерной, ненатуральной, как и южная природа. Ее глаза казались ему чересчур выразительными и влажными, волосы – чересчур черными; губы были неправдоподобно яркие. Ленивая, глупая, беспринципная и сладострастная южанка чувствовалась в каждом ее движении, в каждой улыбке. Если она подходила к студенту слишком близко, то он сквозь одежду, на расстоянии, ощущал теплоту, исходящую от ее большого, полного, начинающего жиреть тела. Двое подлетков-гимназистов, с которыми занимался Воскресенский, и три девочки, поменьше, сидели за столом, болтая ногами. Воскресенский, стоявший согнувшись, поглядел на них искоса, и ему вдруг стало совестно за себя и за них, и в особенности за голые, теплые руки их матери, которые двигались так близко перед его губами. Он неожиданно выпрямился, с покрасневшим лицом.

– Позвольте-с, я сам, – сказал он хрипло.

На балконе показался Завалишин в фантастическом русском костюме: в чесучовой поддевке поверх шелковой голубой косоворотки и в высоких лакированных сапогах. Этот костюм, который он всегда носил дома, делал его похожим на одного из провинциальных садовых антрепренеров, охотно щеголяющих перед купечеством широкой натурой и одеждой в русском стиле. Сходство дополняла толстая золотая цепь через весь живот, бряцавшая десятками брелков-жетонов. Завалишин вошел быстрыми, тяжелыми шагами, высоко неся голову и картинно расправляя обеими руками на две стороны свою пушистую, слегка седеющую бороду. Дети при его появлении вскочили с мест. Анна Георгиевна медленно встала с качалки.

– Здравствуйте, Иван Николаевич. Здравствуйте, Цицерон, – сказал Завалишин, небрежно протягивая руку студенту и доктору. – Кажется, я заставил себя ждать? Боря, молитву.

Боря с испуганным видом залепетал:

– Оч-чи всех на тя, господи, уповают...

– Прошу, – сказал Завалишин, коротким жестом показывая на стол. – Доктор, водки?

Закуска была накрыта сбоку на отдельном маленьком столике. Доктор подошел к ней шутковским шагом, немного согнувшись, приседая, подшаркивая каблуками и потирая руки.

– Одному фрукту однажды предложили водки, – начал он, по обыкновению, паясничать. – А он ответил: «Нет, благодарю вас; во-первых, я не пью, во-вторых, теперь еще слишком рано, а в-третьих, я уже выпил».

– Издание двадцатое, – заметил Завалишин. – Возьмите икры.

Он придвинул к доктору деревянный лакированный ушат, в котором, во льду, стояла се-

ребряная бадья с икрой.

– Удивляюсь, как вы можете в такую жару пить водку, – сказала, морщась, Анна Георгиевна.

Завалишин поглядел на нее с серьезным видом, держа у рта серебряную чеканную чарочку.

– Русскому человеку от водки нет вреда, – ответил он внушительно.

А доктор, только что выпивший, громко крикнул и прибавил дьяконским басом:

– Во благовремени... Что же, Павел Аркадьевич? Отец Мелетий велит по третьей?

За столом прислуживал человек во фраке. Прежде он носил что-то вроде ямщичьей безрукавки, но Анна Георгиевна в один прекрасный день нашла, что господам и слугам неприлично рядиться почти в одинаковые костюмы, и настояла на европейской одежде для лакея. Но зато вся столовая мебель и утварь отличались тем бесшабашным, ерническим стилем, который называется русским декадансом. Вместо стола стоял длинный, закрытый со всех сторон ларь; сидя за ним, нельзя было просунуть ног вперед, – приходилось все время держать их скорченными, причем колени больно стучались об углы и выступы резного орнамента, а к тарелке нужно было далеко тянуться руками. Тяжелые, низкие стулья, с высокими спинками и растопыренными ручками, походили на театральные деревянные троны – жесткие и неудобные. Жбаны для кваса, кувшины для воды и сулеи для вина имели такие чудовищные размеры и такие нелепые формы, что наливать из них приходилось стоя. И все это было вырезано, выжжено и разрисовано разноцветными павлинами, рыбами, цветами и неизбежными петухами.

– Нигде так не едят, как в России, – сочным голосом говорил Завалишин, заправляя белыми, волосатыми руками угол салфетки за воротник. – Да, господин студент, я знаю, что вам это неприятно, но – увы! – это так-с. Во-первых, рыба. Где в мире вы отыщете другую астраханскую икру? А камские стерляди, осетрина, двинская семга, белозерский снеток? Найдите, будьте любезны, где-нибудь во Франции ладожского сига или гатчинскую форель. Ну-ка, попробуйте найдите; я вас об этом усердно прошу. Теперь возьмите дичь. Все, что вам угодно, и все в несметном количестве: рябчики, тетерки, утки, бекасы, фазаны на Кавказе, вальдшнепы. Потом дальше: черкасское мясо, ростовские поросята, нежинские огурцы, московский молочный теленок! Да, словом, все, все... Сергей, дай мне еще ботвиньи.

Павел Аркадьевич ел много, жадно и некрасиво. «А ведь он порядочно наголодался в молодости», – подумал студент, наблюдая его украдкой. Случалось иногда, что среди фразы Завалишин клал в рот слишком большой кусок, и тогда некоторое время тянулась мучительная пауза, в продолжение которой он, торопливо и неряшливо прожевывая, глядел на собеседника выпученными глазами, мычал, двигал бровями и нетерпеливо качал головой и даже туловищем. В эти минуты Воскресенский опускал глаза на тарелку, чтобы не выдать своей брезгливости.

– Доктор, а вина? – с небрежной любезностью предлагал Завалишин. – Рекомендую вам вот это беленькое. Это «орианда» девяносто третьего года. Ваш стакан, Демосфен.

– Я не пью, Павел Аркадьевич. Простите.

– Эт-то уд-дивительно! Юноша, который не пьет и не курит. Скверный признак, молодой человек! – вдруг строго возвысил голос Завалишин. – Скверный признак! Кто не пьет и не курит, тот мне всегда внушает подозрение. Это – или скряга, или игрок, или развратник. Пардон, к вам сие не касательно, господин Эмпедокл. Доктор, а еще? Это – «орианда»; право же, недурное винишко. Спрашивается, зачем я должен выписывать от колбасников разные там мозельвейны и другую кислятину, если у нас, в нашей матушке России, выделывают такие чудные вина. А? Как вы думаете, профессор? – вызывающе обратился он к студенту. Воскресенский принужденно и вежливо улыбнулся.

– У всякого свой вкус...

– Де густибус?.. знаю-с. Тоже учились когда-то... Чему-нибудь и как-нибудь, по словам великого Достоевского. Вино, конечно, пустяки, киндершпиль³², но важен принцип. Принцип важен, да! – закричал неожиданно Завалишин. – Если я истинно русский, то и все вокруг меня должно быть русское. А на немцев и французов я плевать хочу. И на жидов. Что, не правду я говорю, доктор?

– Да... собственно говоря – принцип... это, конечно... да, – неопределенно пробасил Иль-

³² Детская игра (нем. Kinderspiel).

яшенко и развел руками.

– Горжусь тем, что я русский! – с жаром воскликнул Завалишин. – О, я отлично вижу, что господину студенту мои убеждения кажутся смешными и, так сказать, дикими, но уж что поделаешь! Извините-с. Возьмите таким, каков есть-с. Я, господа, свои мысли и мнения высказываю прямо, потому что я человек прямой, настоящий русопет и привык рубить сплеча. Да, я смело говорю всем в глаза: довольно нам стоять на задних лапах перед Европой. Пусть не мы ее, а она нас боится. Пусть почувствуют, что великому, славному, здоровому русскому народу, а не им, тараканьим мощам, принадлежит решающее властное слово! Слава богу! – Завалишин вдруг размашисто перекрестился на потолок и всхлипнул. – Слава богу, что теперь все больше и больше находится таких людей, которые начинают понимать, что кургузый немецкий пиджак уже трещит на русских могучих плечах; которые не стыдятся своего языка, своей веры и своей родины; которые доверчиво протягивают руки мудрому правительству и говорят: «Веди нас!..»

– Поль, ты волнуешься, – лениво заметила Анна Георгиевна.

– Я ничего не волнуюсь, – сердито огрызнулся Завалишин. – Я высказываю только то, что должен думать и чувствовать каждый честный русский подданный. Может быть, кто-нибудь со мной не согласен? Что ж, пускай мне возразит. Я готов с удовольствием выслушать противное мнение. Вот, например, господину Воздвиженскому кажется смешным...

Студент не поднял опущенных глаз, но побледнел, и ноздри у него вздрогнули и расширились.

– Моя фамилия – Воскресенский, – сказал он тихо.

– Виноват, я именно так и хотел сказать: Вознесенский. Виноват. Так вот, я вас и прошу: чем строить разные кривые улыбки, вы лучше разбейте меня в моих пунктах, докажите мне, что я заблуждаюсь, что я не прав. Я говорю только одно: мы плюем сами себе в кашу. Мы продаем нашу святую, великую, обожаемую родину всякой иностранной шушере. Кто орудует с нашей нефтью? Жиды, армяшки, американцы. У кого в руках уголь? руда? пароходы? электричество? У жидов, у бельгийцев, у немцев. Кому принадлежат сахарные заводы? Жидам, немцам и полякам. И главное, везде жид, жид, жид!.. Кто у нас доктор? Шмуль. Кто аптекарь? банкир? адвокат? Шмуль. Ах, да черт бы вас побрал! Вся русская литература танцует маюфес и не вылезает из миквы. Что ты делаешь на меня страшные глаза, Анечка? Ты не знаешь, что такое миква? Я тебе потом объясню. Да. Недаром кто-то сострил, что каждый жид – прирожденный русский литератор. Ах, помилуйте, евреи! израэлиты! сионисты! угнетенная невинность! священное племя! Я говорю одно, – Завалишин свирепо и звонко ударил вытянутым пальцем о ребро стола. – Я говорю только одно: у нас, куда ни обернешься, сейчас на тебя так мордой и прет какая-нибудь благородная оскорбленная нация. «Свободу! язык! народные права!» А мы-то перед ними растилаемся. «О, бедная культурная Финляндия! О, несчастная, порабощенная Польша! Ах, великий, истерзанный еврейский народ... Бейте нас, голубчики, презирайте нас, топчите нас ногами, садитесь к нам на спины, поезжайте». Н-но нет! – грозно закричал Завалишин, внезапно багровея и выкатывая глаза. – Нет! – повторил он, ударив себя изо всей силы кулаком в грудь. – Этому безобразию подходит конец. Русский народ еще покамест только чешется спросонья, но завтра, господи благослови, завтра он проснется. И тогда он стряхнет с себя блудливых радикальствующих интеллигентов, как собака блох, и так сожмет в своей мощной длани все эти угнетенные невинности, всех этих жидишек, хохлишек и полячишек, что из них только сок брызнет во все стороны. А Европе он просто-напросто скажет: тубо, старая...

– Bravo, bravo, bravo! – голосом, точно из граммофона, подхватил доктор.

Гимназисты, сначала испуганные криком, громко захохотали при последнем слове, а Анна Георгиевна сказала, делая страдальческое лицо:

– Поль, зачем ты так при детях! Завалишин одним духом проглотил стакан вина и торопливо налил второй.

– Пардон. Сорвалось. Но я говорю только одно: я сейчас высказал все свои убеждения. По крайней мере – честно и откровенно. Пусть теперь они, то есть, я хочу сказать, господин студент, пусть они опровергнут меня, разубедят. Я слушаю. Это все-таки будет честнее, чем отделяться разными кривыми улыбочками. Воскресенский медленно пожал плечами.

– Я не улыбаюсь вовсе.

– Ага! Не даете себе труда возражать? Кон-нечно! Это сам-мое лучшее. Стоите выше всяких споров и доказательств?

– Нет... совсем не выше... А просто нам с вами невозможно столкнуться. Зачем же понапрасну сердиться и портить кровь?

– Та-ак! Пон-ним-маю! Не удостоиваете, значит? – Завалишин пьянел и говорил преувеличенно громко. – А жаль, очень жаль, милый вьюноша. Лестно было бы усладиться млеком вашей мудрости.

В эту секунду Воскресенский впервые поднял глаза на Завалишина и вдруг почувствовал прилив острой ненависти к его круглым, светлым, выпученным глазам, к его мясистому, красному и точно рваному у ноздрей носу, к покатутому назад, белому, лысому лбу и фатоватой бороде. И неожиданно для самого себя он заговорил слабым, точно чужим голосом:

– Вам непременно хочется вызвать меня на спор? Но уверяю вас, это бесполезно. Все, что вы изволили сейчас с таким жаром высказывать, я слышал и читал сотни раз. Вражда ко всему европейскому, свирепое презрение к инородцам, восторг перед мощью русского кулака и так далее и так далее... Все это говорится, пишется и проповедуется на каждом шагу. Но при чем здесь народ, Павел Аркадьевич, этого я не понимаю. Не могу понять. Народ – то есть не ваш лакей, и не ваш дворник, и не мастеровой, а тот народ, что составляет всю Россию, – темный мужик, троглодит, пещерный человек! Зачем вы его-то пристегнули к вашим национальным мечтам? Он безмолвствует, ибо благоденствует, и вы его лучше не трогайте, оставьте в покое. Не нам с вами разгадать его молчание...

– Позвольте-с, я не хуже вас знаю народ...

– Нет, уж теперь *вы* позвольте мне, – дерзко перебил его студент. – Вы давеча изволили упрекнуть меня в том, что я будто бы смеюсь над вашими разглагольствованиями... Так я вам скажу уж теперь, что смешного в них мало, так же как и страшного. Ваш идеальный всероссийский кулак, жмуший сок из народишек, никому не опасен, а просто-напросто омерзителен, как и всякий символ насилия. Вы – не болезнь, не язва, вы – просто неизбежная, надоедливая сыпь, вроде кори. Но ваша игра в широкую русскую натуру, все эти ваши птицы-сирины, ваша поддевка, ваши патриотические слезы – да, это действительно смешно.

– Так. Прекрасно. Продолжайте, молодой человек, в том же духе, – произнес Завалишин, язвительно кривя губы. – Чудесные полемические приемы, доктор, не правда ли?

Воскресенский и сам чувствовал в душе, что он говорит неясно, грубо и сбивчиво. Но он уже не мог остановиться. В голове у него было странное ощущение пустоты и холода, но зато ноги и руки стали тяжелыми и вялыми, а сердце упало куда-то глубоко вниз и там трепетало и рвалось от частых ударов.

– Э, что там приемы. К черту! – крикнул студент, и у него этот крик вырвался неожиданно таким полным и сильным звуком, что он вдруг почувствовал в себе злобную и веселую радость. – Я слишком много намолчался за эти два месяца, чтобы еще разбираться в приемах. Да! И стыдно, и жалко, и смешно глядеть, Павел Аркадьевич, на вашу игру. Знаете, летом в увеселительных садах выходят иногда дуэтисты-лапотники. Знаете:

Раз Ванюша, крадучись,
Дуню увидал
И, схвативши ее ручку,
Нежно целовал.

Что-то мучительно фальшивое, наглое, позорное! Так и у вас. «Русские щи; русская каша – мать наша». А вы видели эти щи когда-нибудь? Пробовали? Сегодня с таким, а завтра с нетом? Вы ели ихний хлеб? Вы видали ихних ребят с распученными животами и с ногами колесом? А у вас повар шестьдесят рублей в месяц получает, и лакей во фраке, и паровая стерлядка. Так и во всем вы. Русское терпение! Русская железная стойкость! Да ведь какими ужасами рабства, каким кровавым путем куплено это терпение! Смешно даже! Русское несокрушимое здоровье, – ах, раззудись плечо! – русская богатырская сила! – у этого-то изможденного работой и голодом, опившегося, надорванного человека?.. И в довершение всего этого неистовый вопль: долой сюртуки и фрак! Вернемся к доброй, славной, просторной и живописной русской одежде! И вот вы, на смех своей прислуге, наряжаетесь, точно на святки, в поддевку, по семи рублей за аршин, на муаровой подкладке. Эх, весь ваш национализм на муаровой подкладке. Господи, а когда вы заведете речь о русской песне – вот чепуха какая! Тут у вас и море слышится, и степь видится, и

лес шумит, и какая-то беспредельная удаль... И все ведь это неправда: ничего вы здесь не слышите и не чувствуете, кроме болезненного стога или пьяной икотки. И никакой широкой степи вы не видите, потому что ее и нет вовсе, а есть только потное, искаженное мукой лицо, вздущиеся жилы, кровавые глаза, раскрытый, окровавленный рот...

– Вам, духовенству, виднее с колокольни, – презрительно фыркнул Завалишин, но студент только отмахнулся рукой и продолжал:

– Ну-с, а теперь, изволите ли видеть, вошло в моду русское зодчество! Резные петухи, какие-то деревянные поставцы, ковши, енды, подсолнечники, кресла и скамьи, на которых невозможно сидеть, какие-то дурацкие колпаки... Господи, да неужели же вы не чувствуете, как все это еще больше подчеркивает страшную скудость народной жизни, узость и бедность фантазии? Серое, сумеречное творчество, папуасская архитектура... Игра, именно игра. Игра гнусная, если все это делается нарочно, чтобы водить дураков и ротозеев за нос, и жалкая, если это только модное баловство. Какой-то нелепый маскарад! Все равно если бы доктора, приставленные к больнице, вдруг надели бы больничные халаты и стали бы в них откалывать канкан. Вот он что такое, ваш русский стиль на муаровой подкладке!.. Что-то перехватило горло Воскресенскому, и он замолчал. Только теперь, спохватившись, он сообразил, что во время своей бессвязной речи он, незаметно для самого себя, встал во весь рост и колотил кулаками по столу.

– Может быть, вы еще что-нибудь прибавите, молодой человек? – с усиленной вежливостью, преувеличенно мягко спросил весь побледневший Завалишин. Губы у него кривились и дергались, а концы пышной бороды тряслись.

– Все, – глухо ответил студент. – Больше ничего...

– Тогда позвольте уж и мне последнее слово. – Завалишин встал и швырнул салфетку на стул. – Убеждения – убеждениями, и твердость в них вещь почтенная, а за своих детей я все-таки отвечаю перед церковью и отечеством. Да. И я обязан ограждать их от вредных, развращающих влияний. А поэтому, – вы уж извините, – но одному из нас – или мне, или вам – придется отстраниться от их воспитания...

Воскресенский молча кивнул головой. Павел Аркадьевич резко повернулся и большими шагами пошел от стола. Но в дверях он остановился. Его еще душила злоба. Он чувствовал, что студент взял над ним нравственный верх в этом бестолковом споре, и взял не убедительностью мыслей, не доводами, а молодой, несдержанной и хотя сумбурной, но все-таки красивой страстностью. И ему хотелось, прежде чем уйти отсюда, нанести студенту последнее оскорбление, потяжелее, похлестче...

– Мой человек принесет вам наверх деньги, которые вам следует, – сказал он в нос, отрывисто и надменно. – А также, по условию, деньги на дорогу.

И вышел, так сильно хлопнув дверью, что хрустальная посуда на столе задребезжала и запела тонкими голосами.

На балконе все продолжительно и неловко замолчали. Воскресенский дрожащими холодными пальцами катал хлебный шарик, низко наклонив лицо над столом. Ему казалось, что все, даже шестилетняя Вавочка, смотрят на него с любопытством и брезгливой жалостью. «Пойти и дать ему пощечину? – бессвязно мелькало у него в голове. – Вызвать на дуэль? Ах, как все это вышло скверно, как пошло! Вернуть ему назад деньги? Швырнуть в лицо? Фу, какая гадость!»

– Милый Сашенька, не придавайте такого значения, – ласкающим голосом, точно с маленьким, заговорила Анна Георгиевна. – Голубчик, не стоит. Через час он сам сознается, что был неправ, и извинится. Уж если говорить правду, то ведь и вы ему порядочно наговорили.

Он не ответил. Больше всего на свете он хотел бы сейчас же встать, уйти куда-нибудь подальше, спрятаться в какой-нибудь темный, прохладный угол, но сложная, мучительная нерешительность приковывала его к месту. Доктор заговорил о чем-то слишком громко, неестественно развязным тоном. «Это он оттого так, что ему за меня стыдно», – подумал Воскресенский и стал прислушиваться, почти не понимая слов.

– Один мой знакомый, который хорошо знает арабский язык, так он сравнивал арабские поговорки с русскими. И получились прелюбопытные параллели. Например, арабы говорят: «Честь – это алмаз, который делает нищего равным султану». А по-русски выходит: «Что за честь, коли нечего есть». То же насчет гостеприимства. Арабская пословица говорит...

Воскресенский вдруг встал, не глядя ни на кого, с потупленными глазами неуклюже обошел стол и торопливо сбежал с балкона в цветник, где сладко и масляно пахло розами. За своей

спиной он слышал тревожный голос Анны Георгиевны:

– Сашенька, Александр Петрович, куда же вы? Сейчас подадут фрукты!..

III

Придя наверх, Воскресенский переоделся, вытащил из-под кровати свой старый, порыжелый, весь обклеенный багажными ярлыками чемодан и стал укладываться. С ожесточением швырял он в чемодан книги и лекции, с излишней энергией втискивал скомканное кое-как белье, яростно затягивал узлы веревок и ремни. И по мере того, как расходовалась его физическая сила, взбудораженная недавним неудовлетворенным гневом, – он сам понемногу отходил и успокаивался. Покончив с чемоданом, он выпрямился и оглянулся кругом. Внезапно ему стало жаль своей комнаты, точно в ней оставалась часть его существа. По утрам, когда он просыпался, ему не надо было даже приподымать голову от подушки, чтобы увидеть прямо перед собою темную, синюю полосу моря, подымавшуюся до половины окон, а на окнах в это время тихо колебались, парусясь от ветра, легкие, розоватые, прозрачные занавески, и вся комната бывала по утрам так полна светом и так в ней крепко и бодро пахло морским воздухом, что в первые дни, просыпаясь, студент нередко начинал смеяться от бессознательного, расцветавшего в нем восторга. Воскресенский вышел на балкон. Далеко впереди выдавался в море узкий длинный мысок, кончавшийся правильным закруглением, которое здесь называли батареей. Из-за батареи, круто огибая ее, выплывал маленький паровой катер, и отчетливо доносилось его торопливое фырканье, похожее на дыхание запыхавшейся собаки. Под полотняным тентом можно было разглядеть темные человеческие фигуры. Катер покачивало, но он бодро подымался на одну волну и, с замедлением перевалившись через нее, смело зарывался носом в следующую, между тем как разрезанная им вода взмывала к самым бортам. А еще дальше, как будто посередине между берегом и горизонтом, плавно, без малейшего звука и сотрясения, двигалась черная, могучая громадина большого парохода с наклоненными назад трубами. И тотчас же, сквозь легкое облачко набежавшей грусти, Воскресенский почувствовал то сладкое и дерзкое замирание сердца, которое он всегда испытывал при мыслях о дальних поездках, о новых впечатлениях, о новых людях – о всей безбрежной широте лежащей перед ним молодой, неисчерпанной жизни.

«Завтра и я буду толкаться по пароходу вместе с другими, буду знакомиться, смотреть на берега, на море, – подумал он. – Хорошо!»

– Сашенька, где вы здесь? Подите ко мне, – услышал он голос Анны Георгиевны.

Он быстро вернулся в комнату, застегивая на ходу ворот красной рубахи и поправляя волосы. Какой-то мимолетный испуг, какое-то темное, раздражающее предчувствие на мгновение шевельнулось в его душе.

– Устала! – говорила Анна Георгиевна, слегка задыхаясь. – Как у вас хорошо. Прохладно.

Она села на подоконник. На фоне ослепительного, бело-голубого неба сверху и густой синевы моря снизу – ее высокая, немного полная фигура, в белом капоте, обрисовалась с тонкой, изящной и мягкой отчетливостью, а жесткие, рыжеватые против солнца завитки волос зажглись вокруг ее головы густым золотым сиянием.

– Ну, что, сердитый воробей, – спросила Анна Георгиевна с нежной фамильярностью, – еще не простыли?

– Простыл. Сейчас вот еду, – угрюмо ответил студент.

– Саша!..

Она произнесла его имя тихо и таким странным, протяжным, волнующим звуком, какого Воскресенский не слышал никогда в жизни. Он вздрогнул и пристально поглядел на нее. Но она сидела спиной к яркому свету, и выражения ее лица нельзя было рассмотреть. Однако студенту показалось, что ее глаза блестят не по-обыкновенному.

– Саша, родной мой, вы не уедете! – вдруг заговорила она, спеша и задыхаясь. – Нет, нет, милый, вы не уедете. Слышите? Подите сюда. Да сюда же, ко мне... ко мне, вам говорят!.. Ох, какой бестолковый... Слышите, не смейте ехать. Я не хочу. Дорогой мой, вы останетесь...

Она схватила его руки, крепко сжала их и, не выпуская из своих, положила к себе на колени, так что он на секунду ощутил под легкой шершавой тканью капота ее твердое и точно скользкое тело.

– Останетесь? Да? – спросила она быстрым шепотом, близко заглядывая ему в лицо.

Он поднял глаза и встретился с ее затуманенным, неподвижным, жадным взглядом. Горячая радость хлынула у него из сердца, разлилась по груди, ударила в голову и забила в висках. Смущение и неловкость исчезли. Наоборот, было жуткое, томительное наслаждение – глядеть так долго, так бесстыдно и так близко, не отрываясь и не произнося ни слова, в эти прекрасные, еще сияющие слезами, обесмысленные страстью глаза. Потом он полусознательно почувствовал, что она смотрит ниже его глаз, и он сам перевел глаза на ее крупные, яркие раскрытые губы, за которыми сверкала влажная белизна зубов. Ему вдруг показалось, что воздух в комнате стал знойным, во рту у него сразу пересохло, и стало трудно дышать.

– Останетесь? Да? Правда?

Он обнял ее и тотчас же почувствовал ее большое, роскошное тело легким, живым, послушным каждому движению, каждому намеку его рук. Какой-то жаркий, сухой вихрь вдруг налетел и скомкал его волю, рассудок, все его гордые и целомудренные мысли, все, что в нем было человеческого и чистого. Почему-то вдруг, обрывком, вспомнилось ему купанье перед обедом и эти теплые, качающиеся, ненасытные волны.

– Милый, правда? Правда? – повторяла без конца женщина.

Он грубо, по-зверски, схватил ее на руки и поднял. Точно в бреду, он слышал, как она с испугом прошептала:

– Дверь... ради бога... дверь!

Он машинально оглянулся назад, увидел раскрытую настежь дверь и темноту коридора за нею, но не понял ни смысла этих слов, ни значения этой двери и тотчас же забыл о них. Полузакрытые черные глаза вдруг очутились так близко около его лица, что очертания их стали неясными, расплывчатыми, и сами они сделались огромными, неподвижными, страшно блестящими и совсем незнакомыми. Горячие, качающиеся волны хлынули на него, разом затопили его сознание и загорелись перед ним странными вертящимися кругами... Потом он очнулся и услышал с удивлением ее точно о чем-то умоляющий голос:

– Я обожаю тебя... Мой сильный, молодой, красивый...

Она сидела рядом с ним на его постели и с покорным, заискивающим видом жалась головой к его плечу, стараясь поймать его взгляд. А он глядел в сторону, хмурился и трясущейся рукой нервно теребил бахрому своего пледа, висевшего на спинке кровати. Непобедимое отвращение росло в нем с каждой секундой к этой женщине, только что отдавшейся ему. Он и сам понимал, как эгоистично было это чувство, но не мог его пересилить даже из благодарности, даже из сострадательной вежливости. Ему было физически гадко ее близкое присутствие, ее прикосновение, шум ее частого прерывистого дыхания, и хотя он во всем происшедшем винил одного себя, но слепая, неразумная ненависть и презрение к ней наполняли его душу.

«О, какой я подлец! Какой подлец!» – думал он и боялся в то же время, что она прочтает его мысли и чувства у него на лице.

– Милый мой, обожаемый, – растроганно говорила Анна Георгиевна. – Зачем ты отвернулся? Ты сердисься? Тебе неприятно? О мой дорогой, неужели ты не замечал, что я тебя люблю? С самого начала, с самого первого дня... Ах, впрочем, нет! Когда ты к нам пришел в Москве, ты мне не понравился. Я думала: «У, какой злюка». Но зато потом!.. Милый, посмотри же на меня...

Студент пересилил себя и как-то сбоку, неуклюже, исподлобья взглянул на нее. И у него даже захватило горло: до того противным показалось ему ее раскрасневшееся лицо со следами пудры у ноздрей и на подбородке, мелкие морщинки около глаз и на верхней губе, которых он раньше не замечал, и в особенности ее молящий, тревожный, полный виноватой преданности, какой-то собачий взгляд. Содрогаясь спиной от гадливости, он отвернулся.

«Но почему же я-то ей не противен? – подумал он с отчаянием. – Почему? Ах, я подлец, подлец!..»

– Анна Георгиевна... Нина, – сказал он, заикаясь, фальшивым, деревянным, как ему самому показалось, голосом. – Вы меня простите... Вы меня извините, я взволнован и не знаю, что говорю... Поймите меня и не сердитесь... Мне нужно побыть одному... У меня голова кружится.

Он сделал невольное движение, как бы отстраняясь от нее, и она поняла это. Ее руки, обвивавшие его шею, бессильно упали вдоль колен, и голова опустилась вниз. Так она посидела еще минуту и затем встала, молча, с покорным видом. Она понимала лучше, чем студент, то, что с ним теперь происходило. Она знала, что у мужчин первые шаги в чувственной любви сопряжены с такими же ужасными, болезненными ощущениями, как и первые затяжки опиумом для

начинающих, как первая папироса, как первое опьянение вином. И она знала также, что до нее он не сблизался ни с одной женщиной, что она была для него *первой*, знала это по его прежним словам, чувствовала это по его дикой и суровой застенчивости, по его неловкости и грубости в обращении с ней.

Ей хотелось утешить, успокоить его, объяснить ему в нежных материнских выражениях причины его страданий, так как она видела, что он страдает. Но она – всегда такая смелая, самоуверенная – не находила слов, она смущалась и робела, точно девушка, чувствуя себя виноватой и за его падение, и за его молчаливую тревогу, и за свои тридцать пять лет, и за то, что она не умеет, не находит, чем помочь ему.

– Саша, это пройдет, – сказала она чуть слышно. – Это пройдет, успокойтесь, верьте мне. Только не уезжайте... слышите? Вы ведь скажете мне, если захотите уехать?

– Да... хорошо... да... да... – повторял он нетерпеливо и все оглядывался назад, на дверь.

Она вздохнула и тихо вышла из комнаты, беззвучно притворив за собою дверь. А Воскресенский обеими руками вцепился себе в волосы и со стоном повалился лицом в подушку.

IV

На другой день Воскресенский ехал в Одессу на большом пассажирском пароходе «Ксения». Он позорно и малодушно сбежал от Завалишиных, не вытерпев жестокого раскаяния, не находя в себе решительности встретиться лицом к лицу с Анной Георгиевной. Прележав до сумерек в постели, он, как только стало темно, собрал свои вещи и потихоньку, крадучись, точно вор, задним крыльцом вышел в виноградник, а оттуда спрыгнул на шоссе. И во все время, пока он добрался до почтовой станции, пока ехал в дилижансе, битком набитом молчаливыми турками и татарами, пока устраивался в ялтинской гостинице на ночь, его не оставлял колючий стыд и беспощадное омерзение к себе самому, к Анне Георгиевне, ко всему, что вчера произошло, и к собственному мальчишескому побегу. «Вышло так, как будто бы после ссоры, из мести, я взял и украл что-то у Завалишиных и убежал от них», – думал он, злобно стискивая зубы.

День был жаркий, безветренный. Море лежало спокойное, ласковое, нежно-изумрудное около берегов, светло-синее посредине и лишь кое-где едва тронутое ленивыми фиолетовыми морщинками. Внизу под пароходом оно было ярко-зелено, прозрачно и легко, как воздух, и бездонно. Рядом с пароходом бежала стая дельфинов. Сверху было отлично видно, как они в глубине могучими, извилистыми движениями своих тел рассекали жидкую воду и вдруг с разбегу, один за другим, выскакивали на поверхность, описав быстрый темный полукруг. Берег медленно уходил назад. Постепенно показывались и скрывались густые, взбирающиеся на холмы парки, дворцы, виноградники, тесные татарские деревни, белые стены дач, утонувших в волнистой зелени, а сзади голубые горы, испещренные черными пятнами лесов, и над ними тонкие, воздушные очертания их вершин.

Пассажиры толпились на правом борту, у перил, лицом к берегу. Называли вслух места и фамилии владельцев. На середине палубы, около люка, двое музыкантов – скрипка и арфа – играли вальс, и избитый, пошлый мотив звучал необыкновенно красиво и бодро в морском воздухе.

Воскресенский нетерпеливо искал глазами знакомую дачу в виде русского терема. И когда она показалась наконец из-за густой чащи княжеского парка и стала вся видна над своей огромной, белой крепостной стеной, он часто задышал и крепко прижал руку к холодевшему сердцу.

Ему показалось, что он различает на нижней террасе белое пятно, и ему хотелось думать, что там сидит теперь эта странная женщина, ставшая вдруг для него такой таинственной, непонятной и привлекательной, и что она смотрит на пароход такими же, как и он, печальными, полными слез глазами. Он представил себе самого себя, стоящего там, на балконе, рядом с ней, но не теперешнего себя, а вчерашнего, неделю назад, – прежнего себя, какого уже больше никогда не будет. И ему стало жалко, – нестерпимо, до боли жалко той полосы жизни, которая ушла от него навсегда и никогда не вернется, никогда не повторится... С необычайной яркостью, в радужном тумане слез, застилавших глаза, встало перед ним лицо Анны Георгиевны, но не торжествующее, не самоуверенное, как всегда, а кроткое, с умоляющим выражением, виноватое, и сама она представилась ему почему-то маленькой, обиженной, слабой и как-то болезненно близкой ему, точно приросшей навеки к его сердцу.

И к этим тонким, грустным, сострадательным ощущениям примешивалось чуть слышно, как аромат тонкого вина, воспоминание о теплых обнаженных руках, и о голосе, дрожавшем от чувственной страсти, и о прекрасных глазах, глядевших вниз, на его губы...

Прячась за деревьями и дачами и опять показываясь на минутку, русский терем уходил все дальше и дальше назад и вдруг исчез из виду. Воскресенский, прижавшись щекой к чугунному столбику перил, еще долго глядел в ту сторону, где он скрылся. «Все сие прошло, как тень и как молва быстротечная», – вспомнился ему вдруг горький стих Соломона, и он заплакал. Но слезы его были благодатные, а печаль – молодая, светлая и легкая.

Внизу, в салоне, зазвонили к завтраку. Болтливый, шумный студент, с которым Воскресенский познакомился еще на пристани, подошел к нему сзади, хлопнул его по спине и закричал радостно:

– А я вас, коллега, ищу... Вы ведь с продовольствием? Айда водку пить...

Жидовка

– Проехали, прое-е-хали! – жалобно зазвенел детский голосок. – Направо! – крикнул сзади сердитый бас. – Направо, право, прраво! – подхватили впереди весело и торопливо. Кто-то заскрежетал зубами, кто-то пронзительно свистнул... Стая собак залилась тонким, злобным и радостным лаем. – О-о-о! Ха-ха-ха! – засмеялась и застонала толпа.

Сани подбросило и стукнуло на ухабе, Кашинцев открыл глаза.

– Что? – спросил он с испугом.

Но дорога была по-прежнему пустынна и безмолвна. Морозная ночь молчала над бесконечными, мертвыми, белыми полями. Полный месяц стоял на середине неба, и четкая синяя тень, скользившая сбоку саней, ломаясь на взрытых сугробах, была коротка и уродлива. Упругий, сухой снег скрипел и визжал под полозьями, как резиновый.

«Ах, ведь это снег скрипит», – подумал Кашинцев.

– Как странно! – произнес он вслух.

Услышав голос, ямщик обернулся назад. Его темное лицо, с белыми от холода усами и бородой, было похоже на большую, грубую, звериную маску, облепленную ватой.

– Чтó? Еще две версты осталось. Немного, – сказал ямщик.

«Это снег, – думал Кашинцев, опять поддаваясь дремоте. – Это только снег. Как странно...»

– Странно, странно! – вдруг суетливо и отчетливо залепетал колокольчик на конце дышла. – Стран-но, стран-но, стран-но...

– Ай-ай-ай! Посмотрите же! – крикнула впереди саней женщина.

Толпа, которая тесно шла ей навстречу, вдруг заговорила разом, заплакала и запела. Опять, злобно волнуясь, залаяли собаки.

Где-то далеко загудел паровоз... И тотчас же, сквозь дремоту, Кашинцеву с необыкновенной ясностью вспомнился вокзальный буфет с его жалкой, запыленной роскошью: гроздь электрических лампочек под грязным потолком и на запачканных стенах, огромные окна, искусственные пальмы на столах, жесткие стоячие салфетки, мельхиоровые вазы, букеты из сухих трав, пирамиды бутылок, рюмки розового и зеленого стекла...

Это было вчера вечером. Товарищи-врачи провожали Кашинцева, только что получившего новое назначение – младшим врачом в отдаленный пехотный полк. Их было пять человек. Сдвинув вокруг углового «докторского» столика тяжелые вокзальные стулья, они пили пиво и разговаривали с натянутой сердечностью и напускным оживлением, точно разыгрывали на спектакле сцену проводов. Красивый и самоуверенный Рюль, преувеличенно блестя глазами, кокетничая и оглядываясь по сторонам, чтобы его слышали и чужие, говорил фамильярным, фатовским тоном:

– Так-то, старик. Вся наша жизнь, от рождения и до самой смерти, заключается только в том, что мы встречаем и провожаем друг друга. Можешь записать это себе на память в книжку: «Вечерние афоризмы и максимы доктора фон Рюля». Едва он кончил говорить, у выходных дверей показался толстый швейцар, с лицом сердитого бульдога, затряс звонком и закричал нараспев, обрываясь и давясь:

– Пе-ервый звонок! Ки-ев, Жмеринка, Одесс! По-о-езд стои-ит на втор-ом путе!..

И теперь, сидя глубоко и неудобно в дергающихся санях, Кашинцев засмеялся от удовольствия, – так необыкновенно ярко и красочно вышло это воспоминание. Но тотчас же к нему вернулось утомительное, нудное впечатление бесконечности этой однообразной дороги. С того времени, когда утром, выйдя на маленькой железнодорожной станции, он сел в почтовые сани, прошло всего шесть-семь часов, но Кашинцеву постоянно представлялось, что он едет таким образом уже целые недели и месяцы, что он сам успел измениться, сделаться старше, скучнее и равнодушнее ко всему со вчерашнего вечера. Где-то на пути ему встретился нищий, пьяный и оборванный, с провалившимся носом и с оголенным на морозе плечом; где-то артачилась и не хотела входить в запряжку длинная худая лошадь с задранной кверху шеей и с шоколадной, густой, как бархат, шерстью; кто-то, казалось, давным-давно сказал ему добродушно: «Дорога, пане, сегодня добрая, не оглянетесь, как докатите», – а сам Кашинцев в эту минуту засмотрелся на снежную равнину, которая была совсем алая от вечерней зари. Но все это смешалось, отошло в какую-то мутную, неправдоподобную даль, и нельзя было вспомнить, где, когда, в какой последовательности это происходило. По временам легкий сон смыкал глаза Кашинцеву, и тогда его отуманенному сознанию слышались странные визги, скрежет, собачий лай, человеческие крики, хохот и бормотание; но он открывал глаза, и фантастические звуки превращались в простой скрип полозьев, в звон колокольчика на дышле; и по-прежнему расстилались налево и направо спящие белые поля, по-прежнему торчала перед ним черная, согнутая спина очередного ямщика, по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы и мотались завязанные в узел хвосты...

– Вас куда везти, пане, прямо на почту или в заезд? – спросил ямщик.

Кашинцев поднял голову. Теперь он ехал по длинной, прямой улице какого-то села. Накатанная дорога блестела впереди в лучах месяца, как полированная синяя сталь. По обеим ее сторонам едва выглядывали из глубоких сугробов темные, жалкие домики, придавленные сверху тяжелыми снежными шапками. Село точно вымерло: не лаяли собаки, огонь не светился в окнах, не попадались навстречу люди. Было что-то жуткое и печальное в этом безмолвии человеческих жилищ, которые, затерявшись в глубоких снегах, боязливо жались друг к другу.

– Куда это – в заезд? – спросил Кашинцев.

– А пан не знает? В заезд к Мойше Хацкелю... Там всегда паны стоят. Например, самовар, яишница, чего закусить... Заночевать тоже можно. Пять номерей...

– Ну, хорошо, поедем в заезд, – согласился Кашинцев.

Только теперь, при мысли о еде и теплом помещении, Кашинцев почувствовал, как сильно он озяб и проголодался. А низенькие, слепые, зарывшиеся в снег домики все шли навстречу и уходили назад, и казалось, им не будет конца.

– Когда же мы приедем? – нетерпеливо спросил Кашинцев.

– А скоро. Село великое, на версту с половиной... Вье, малы! – сипло и свирепо крикнул ямщик на лошадей и, привстав, завертел над головой кнутом и задергал вожжи.

Вдали показалась красная светлая точка и стала расти, то прячась за темные невидимые преграды, то выныривая на мгновение из мрака. Наконец лошади, точно игрушки, у которых кончился завод, сами остановились у ворот заезжего дома и тотчас же расслабленно опустили головы к земле. Сводчатый полукруглый въезд тянулся черным, огромным, зияющим коридором через весь дом, но дальше, во дворе, ярко освещенном луной, виднелись повозки с поднятыми вверх оглоблями, солома на снегу и очертания лошадиных фигур под плоскими навесами. Слева от ворот два окна, сплошь занесенные снегом, сияли теплым, невидимым, внутренним огнем.

Кто-то отворил дверь, пронзительно завизжавшую на блоке, и Кашинцев вошел в комнату. Белые облака морозного воздуха, которые, казалось, только этого и ждали, ворвались следом за ним, бешено крутясь. Сначала Кашинцев ничего не мог рассмотреть: стекла его очков сразу запотели от тепла, и он видел перед собою только два сияющих, мутно-радужных круга. Ямщик, вошедший сзади, крикнул:

– Слухай, Мовша, до тебя пан приехал. Где ты тут? Откуда-то поспешно выскочил низенький, коренастый светлородый еврей в высоком картузе и в вязаной жилетке табачного цвета. Он что-то дожевывал на ходу и суетливо вытирал рот рукой.

– Добрый вечер, пане, добрый вечер, – сказал он дружелюбно и тотчас же с участливым видом закачал головой и зачмокал губами. – Тце, тце, тце... Ой, как пан смерз, не дай бог! Позвольте, позвольте мне вашу шубу, я ее повешу на гвоздь. Пан прикажет самовар? Может,

что-нибудь покушать? Ой, ой, как пан смерз!

– Благодарю вас. Пожалуйста, – проговорил Кашинцев.

От холода у него так съежились губы, что он с трудом ими ворочал; подбородок сделался неподвижным и точно чужим, а собственные ноги казались ему такими мягкими, слабыми и нечувствительными, как будто они были из ваты. Когда его очки отошли в тепле, он оглянулся кругом. Большая комната, с кривыми окнами и земляным полом, была вся вымазана светло-голубой известкой, которая в иных местах отвалилась большими кусками, обнаружив переплет из деревянной драни. Вдоль стен тянулись узкие скамейки и стояли раскосые столы, с мокрыми и жирными от времени досками. Под самым потолком горела лампа-молния. Задняя, меньшая часть комнаты была отгорожена пестрой, ситцевой занавеской, из-за которой шел запах грязных постелей, детских пеленок и какой-то острой еды. Перед занавеской помещалась деревянная стойка.

За одним из столов, напротив Кашинцева, сидел, положив лохматую голову на расставленные локти, мужик в коричневой свитке и в бараньей шапке. Он был пьян тяжелым, бессильным опьянением, мотался головой по столу, икал и все время бурлил что-то невнятное хриплым, надсаженным, клокочущим от слюней голосом.

– Что вы мне дадите поесть? – спросил Кашинцев. – Я очень проголодался.

Хацкель поднял кверху плечи, расставил врозь руки; прищурил левый глаз и несколько секунд оставался в таком положении.

– Чего я дам пану поесть? – переспросил он с лукаво-проницательным видом. – А что пан хочет? Можно достать все. Можно поставить самовар, можно заварить яйца, можно достать молока... Ну, вы сами понимаете, пане, что можно достать в такой паршивой деревне! Можно сварить куру, но только это будет очень долго времени.

– Давайте яйца, давайте молока. Еще что?

– Что еще-е? – как будто удивился Хацкель. – Я мог бы предложить пану фаршированную еврейскую рыбу. Но может быть, пан не любит еврейской кухни? Знаете, обыкновенная еврейская рыба, фиш, которую моя жинка готовит на шабес.

– Давайте и фиш. И, пожалуйста, рюмку водки. Еврей закрыл оба глаза, затряс головой и зачмокал с сокрушением.

– Водки нема, – сказал он шепотом. – Вы же знаете, как нынче строго. А пан далеко едет?

– В Гусятин.

– Пан, извините, служит по полиции?

– Нет, я доктор. Военный врач.

– Ах, пан – доктор! Это очень приятно. Поверьте моей совести, я очень жалею, что не могу вам достать водки. Впрочем... Этля! – крикнул Хацкель, отходя от стола. – Этля!

Он скрылся за занавеску и заговорил по-еврейски быстро, точно сердясь. И потом он несколько раз то появлялся в общей комнате, то опять исчезал и, видимо, очень суетился. В это время мужик, лежавший за столом, вдруг поднял кверху голову с раскрытым мокрым ртом и остекленевшими глазами и запел хриплым голосом, причем у него в горле что-то щелкало и хлопало:

Ой, чи не мо-ожно б бу-у-уло...

Хацкель поспешно подбежал к нему и затряс его за плечо.

– Трохим... Слушайте, Трохиме... Я ж вас так просил, щоб вы не разорялись! Вон пан обижается... Ну, выпили вы, и хорошо, и дай вам бог счастья, и идите себе до дому, Трохим!

– Жиды! – заревел вдруг мужик страшным голосом и изо всей силы треснул кулаком по столу. – Жиды, матери вашей черт! Убь-бью!..

Он грузно упал головой на стол и забормотал. Хацкель с побледневшим лицом отскочил от стола. Его губы кривились презрительной и в то же время смущенной и бессильной улыбкой.

– Вот видите, пан доктор, какой мой кусок хлеба! – сказал он с горечью, обращаясь к Кашинцеву. – Ну, скажите мне, что я могу с этим человеком сделать? Что я могу? Этля! – крикнул он в сторону занавески. – Когда же ты наконец подашь пану щупака?

Он опять нырнул в отгороженную часть комнаты, но тотчас же вернулся с блюдом, на ко-

тором лежала рыба, нарезанная тонкими ломтями и облитая темным соусом. Он

также принес с собою большой белый хлеб с твердой плетеной коркой, испещренной черными зернышками какой-то ароматной приправы.

– Пане, – сказал Хацкель таинственно. – Там у жены отыскалось немного водки. Попробуйте, это хорошая фруктовая водка. Мы ее пьем на нашу пасху, и она так и называется пейсачная. Вот.

Он извлек из-за жилета крошечный узкогорлый графинчик и рюмку и поставил их перед Кашинцевым. Водка была желтоватого цвета, слегка пахла коньяком, но когда доктор проглотил рюмку, ему показалось, что весь его рот и гортань наполнились каким-то жгучим и душистым газом. Тотчас же он почувствовал в животе холод, а потом мягкую теплоту и страшный аппетит. Рыба оказалась чрезвычайно вкусной и такой пряной, что от нее щипало язык. «Как ее готовят?» – мелькнула было у Кашинцева опасливая мысль, но он тут же засмеялся, вспомнив один из знакомых ему вечерних афоризмов доктора фон Рюля: «Никогда не надо думать о том, что ешь и кого любишь».

А Хацкель стоял поодаль, заложив руки за спину. Точно угадывая, о чем думал Кашинцев, он говорил с угодливым и ласковым видом:

– Может, пану кажется, что это приготовлено как-нибудь грязно? Пес... никогда в жизни! Наши еврейские женщины все делают по святым книгам, а там уж все сказано: и как чистить, и как резать, и когда мыть руки. А если не так – это у нас считается грех. Пусть пан кушает себе на здоровье... Этля, принеси еще рыбы!

Из-за занавески вышла женщина и стала сзади прилавка, кутаясь с головой в большой серый платок. Когда Кашинцев повернулся к ней лицом, ему показалось, что какая-то невидимая сила внезапно толкнула его в грудь и чья-то холодная рука сжала его затрепыхавшееся сердце. Он никогда не только не видал такой сияющей, гордой, совершенной красоты, но даже не смел и думать, что она может существовать на свете. Прежде, когда ему случалось видеть прекрасные женские головки на картинах знаменитых художников, он про себя, внутренне, был уверен, что таких правильных, безукоризненных лиц не бывает в натуре, что они – вымысел творческой фантазии. И тем удивительнее, тем неправдоподобнее было для него это ослепительно прекрасное лицо, которое он теперь видел в грязном заезжем доме, пропахшем запахом нечистого жилья, в этой ободранной, пустой и холодной комнате, за прилавком, рядом с пьяным, храпящим и икающим во сне мужиком.

– Кто это? – шепотом спросил Кашинцев. – Вот эта... – он хотел по привычке сказать – жиловка, но запнулся, – эта женщина?

– Кто? Это? – небрежно спросил Хацкель, кивнув головой назад. – Это, пане, моя жинка.

– Как она красива!

Хацкель коротко засмеялся и с презрением пожал плечами.

– Пан с меня смеется? – спросил он укоризненно. – Что такое она? Обыкновенная бедная еврейка, и больше ничего. Разве пан не видал в больших городах настоящих красивых женщин? Этля! – обернулся он к жене и проговорил что-то скороговоркой по-еврейски, от чего она вдруг засмеялась, блеснув множеством белых ровных зубов, и повела так высоко одним плечом, точно хотела потереть об него щеку.

– А пан холостой чи женатый? – спросил Хацкель с вкрадчивой осторожностью.

– Нет, я холостой. А что?

– Нет, я только так себе... Значит, пан холостой. А почему же пан, такой солидный и образованный человек, не захотел жениться?

– Ну, это длинная история... По многим причинам. Да, я думаю, еще и теперь не поздно. Не так уж я стар. А?

Хацкель вдруг придвинулся вплотную к доктору, оглянулся с боязливым видом по сторонам и сказал, выразительно понизив голос:

– А может, вы, пане, заночуете у нас в заезде? Вы, пожалуйста, не беспокойтесь, у меня всегда останавливаются самые хорошие паны: пан Варпаховский из Монастырища, пан посессор Луцкий, бывают из господ офицеров...

– Нет, мне надо торопиться. Некогда.

Но Хацкель с лукавым, проницательным и заманивающим видом, прищуривая то один, то другой глаз, продолжал настаивать:

– Лучше ж, ей-богу, заночуйте, пане. Куда пан поедет по такой холодюке? Дай мне бог не видеть завтрашнего дня, если я говорю неправду!.. Послушайте только, что я вам скажу, пане доктор... Тут есть одна бывшая гувернантка...

Одна быстрая сумасшедшая мысль блеснула у Кашинцева. Он украдкой, воровато взглянул на Этлю, которая равнодушно, как будто не понимая, о чем идет разговор между ее мужем и гостем, глядела издали в запорошенное белое окно, но ему в ту же минуту стало стыдно.

– Оставьте меня в покое, уйдите! – резко приказал он Хацкелю.

Кашинцев, не столько по словам, сколько по выражению лица Хацкеля, понимал, о чем он говорит, но не мог рассердиться, как, вероятно, счел бы долгом рассердиться при других обстоятельствах. Теплота комнаты, после долгой холодной дороги, разморила и разнежила его тело. От выпитой водки голова тихо и сладко кружилась, кожа на лице приятно горела. Хотелось сидеть, не шевелясь, испытывая томное чувство сытости, теплоты и легкого опьянения, не думая о том, что через несколько минут надо опять садиться в сани и ехать бесконечной, скучной, морозной дорогой.

И в этом странном, легком и блаженном состоянии ему доставляло невыразимое удовольствие время от времени, как будто нечаянно, точно обманывая самого себя, останавливаться на прекрасном лице еврейки и думать о ней, но не мыслями, а словами, как будто разговаривая с каким-то невидимым собеседником.

«Можно ли описать кому-нибудь это лицо? – говорил про себя Кашинцев. – Можно ли передать обыкновенным, бедным, повседневным языком эти изумительные черты, эти нежные и яркие краски? Вот она теперь повернулась почти прямо ко мне лицом. Как чиста, как изумительно изящна эта линия, что идет от виска к уху и опускается вниз, к подбородку, определяя щеку. Лоб низкий, заросший сбоку тонкими, пушистыми волосами, – как это прелестно, и женственно, и колоритно! Глаза огромные, черные, до того огромные и черные, что кажутся подрисованными, и в них, около зрачков, сияют живые, прозрачные золотые точки, точно светлые блики в желтом топазе. Глаза окружены темной, чуть-чуть влажной тенью, и как неуловимо переходит этот темный тон, придающий взгляду такое ленивое и страстное выражение, в смуглый, крепкий румянец щек. Губы полные, красные, и хотя в настоящую минуту сомкнуты, но кажутся раскрытыми, отдающимися, а на верхней губе, несколько затененной, хорошенькая черная родинка около угла рта. Какой прямой, благородный нос и какие тонкие, гордые ноздри! О, милая, прекрасная!» – повторял про себя с умилением Кашинцев, и ему хотелось заплакать от восторга и нежности, которые овладели им и стесняли ему грудь и щекотали глаза.

Сверх яркого и смуглого румянца щек видны были коричневые полосы засохшей грязи, но Кашинцеву казалось, что никакая небрежность не может исказить этой торжествующей, цветущей красоты. Он также заметил, когда она выходила из-за прилавка, что нижний край ее розовой ситцевой короткой юбки был тяжел и мокр от грязи и шлепался при каждом шаге и что на ногах у нее были огромные истасканные башмаки с торчащими ушками; он заметил, что иногда, разговаривая с мужем, она быстро дергала себя за кончик носа двумя пальцами, делая при этом шмыгающий звук, и потом так же быстро проводила под носом ребром указательного пальца. Но все-таки ничто вульгарное, ничто смешное и жалкое не могло повредить ее красоте.

«В чем счастье? – спросил самого себя Кашинцев и тотчас же ответил: – Единственное счастье – обладать такой женщиной, знать, что эта божественная красота – твоя. Гм... пошлое, армейское слово – обладать, но что в сравнении с этим все остальное в жизни: служебная карьера, честолюбие, философия, известность, твердость убеждений, общественные вопросы?.. Вот пройдет год, два или три, и, может быть, я женюсь. Жена моя будет из благородной фамилии, тощая белобрысая девица, с жидкими завитушками на лбу, образованная и истеричная, с узким тазом и с холодным синим телом в пупырышках, как у ошипанной курицы, она будет играть на рояле, толковать о вопросах и страдать женскими болезнями, и мы оба, как самец и самка, будем чувствовать друг к другу равнодушие, если не отвращение. А почему знать, не заключается ли вся цель, весь смысл, вся радость моей жизни в том, чтобы всеми правдами и неправдами завладеть вот такой женщиной, как эта, украсть, отнять, соблазнить, – не все ли равно? Пусть она будет грязна, невежественна, неразвита, жадна, – о, боже мой! – какие это мелочи в сравнении с ее чудесной красотой!»

Хацкель опять подошел, остановился около Кашинцева, засунув руки в карманы панталон, и вздохнул.

– А вы не читали, пане, что пишут в газетах? – спросил он с вежливой осторожностью. – Что слышно нового за войну?

– Да все по-прежнему. Мы отступаем, нас бьют... Впрочем, я сегодня газет не читал, – ответил Кашинцев.

– Пан не читал! Как жаль! Мы, знаете, пане, живем здесь в степи и ничего не слышим, что делается на свете. Вот тоже писали за сионистов. Пан читал, что в Париже собирался конгресс?

– Как же. Конечно.

Кашинцев внимательно поглядел на него. В нем, под внешней расторопной проницательностью, чувствовалось что-то замороженное, хилое, говорящее о бедности, приниженности и плохом питании. Самое жалкое впечатление производила его длинная шея, выходящая из гарусного шарфа, – худая, грязно-желтая; на ней, точно толстые струны, выступали вперед, по бокам глотки, две длинные, напряженные жилы с провалом посредине.

– Чем вы здесь вообще занимаетесь? – спросил Кашинцев, охваченный каким-то виноватым сожалением.

– Ну-ну! – Хацкель пожал плечами с безнадежным и презрительным видом. – Ну, чем может заниматься бедный еврей в черте оседлости? Крутимся как-нибудь. Покупаем и продаем, когда бывает базар. Отбиваем друг у друга последний кусочек хлеба. Эх! Что много говорить? Разве же кому интересно знать, как мы здесь страдаем?

Он устало махнул рукой и ушел за занавеску, а Кашинцев опять вернулся к прерванным мыслям. Эти мысли были похожи на те подвижные разноцветные полуслова, полуобразы, которые приходят к человеку утром, на границе между сном и пробуждением, и которые, пока не проснешься окончательно, кажутся такими тонкими, послушно-легкими и в то же время полными такой глубокой важности. Никогда еще Кашинцев не испытывал такого удовольствия мечтать, как теперь, когда, разнеженный теплом и сытостью, он сидел, опираясь спиной о стену и вытянув вперед ноги. Большое значение имела в этом удовольствии какая-то неопределенная точка на рисунке пестрой занавески. Нужно было непременно отыскать ее глазами, остановиться на ней, и тогда мысли начинали сами собою течь ровно, свободно и ярко, не задерживаясь в голове, не оставляя следа и принося с собою какую-то тихую, щекоющую радость. И тогда все исчезало в голубоватом, колеблющемся тумане: и оббитые стены заезжей комнаты, и покосившиеся столы, и грязный прилавок. Оставалось только одно прекрасное лицо, которое Кашинцев видел и которое чувствовал, несмотря на то, что глядел не на него, а на ту же неопределенную, неизвестную ему самому точку.

«Удивительный, непостижимый еврейский народ! – думал Кашинцев. – Что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, брезгливо обособляясь от всех наций, тая в своем сердце вековую скорбь и вековой пламень. Пестрая, огромная жизнь Рима, Греции и Египта давным-давно сделалась достоянием музейных коллекций, стала историческим бредом, далекой сказкой, а этот таинственный народ, бывший уже патриархом во дни их младенчества, не только существует, но сохранил повсюду свой крепкий, горячий южный тип, сохранил свою веру, полную великих надежд и мелочных обрядов, сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг, сохранил свою мистическую азбуку, от самого начертания которой веет тысячелетней древностью! Что он перенес в дни своей юности? С кем торговал и заключал союзы, с кем воевал? Нигде не осталось следа от его загадочных врагов, от всех этих филистимлян, амаликитян, моавитян и других полумифических народов, а он, гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняя чье-то сверхъестественное предопределение. Его история вся проникнута трагическим ужасом и вся залита собственной кровью: столетние пленения, насилие, ненависть, рабство, пытки, костры из человеческого мяса, изгнание, бесправие... Как мог он оставаться в живых? Или в самом деле у судьбы народов есть свои, непонятные нам, таинственные цели?.. Почему знать: может быть, какой-нибудь высшей силе было угодно, чтобы евреи, потеряв свою родину, играли роль вечной закваски в огромном мировом брожении?

Вот стоит эта женщина, на лице которой отражается божественная красота, внушающая священный восторг. Сколько тысячелетий ее народ должен был ни с кем не смешиваться, чтобы сохранить эти изумительные библейские черты. С тем же гладким платком на голове, с теми же глубокими глазами и скорбной складкой около губ рисуют мать Иисуса Христа. Той же самой безукоризненной чистой прелестью сияли и мрачная Юдифь, и кроткая Руфь, и нежная Лия, и

прекрасная Рахиль, и Агарь, и Сарра. Глядя на нее, веришь, чувствуешь и точно видишь, как этот народ идет в своей умопомрачительной генеалогии к Моисею, подымается к Аврааму и выше, еще выше – прямо до великого, грозного, мстительного библейского бога!

С кем я спорил недавно? – вдруг вспомнилось Кашинцеву. – Спорил об евреях. Кажется, с полковником генерального штаба в вагоне? Или, впрочем, нет: это было с городским врачом из Степани. Он говорил: евреи одряхлели, евреи потеряли национальность и родину, еврейский народ должен выродиться, так как в него не проникает ни одна капля свежей крови. Ему остается одно из двух: или слиться с другими народами, рассосаться в них, или погибнуть... Да, тогда я не находил возражений, но теперь я подвел бы его к этой женщине за прилавком и сказал бы: вот он, поглядите, вот залог бессмертия еврейского народа! Пусть Хацкель хил, жалок и болезнен, пусть вечная борьба с жизнью положила на его лицо жестокие следы плутовства, робости и недоверия: ведь он тысячи лет «крутился как-нибудь», задыхался в разных гетто. Но еврейская женщина стережет дух и тип расы, бережно несет сквозь ручьи крови, под гнетом насилия, священный огонь народного гения и никогда не даст потушить его. Вот я гляжу на нее и чувствую, как за ней раскрывается черная бездна веков. Здесь чудо, здесь какая-то божественная тайна. О, что же я, вчерашний дикарь, а сегодняшней интеллигент, – что я значу в ее глазах, что я значу в сравнении с этой живой загадкой, может быть, самой необъяснимой и самой великой в истории человечества?»

Кашинцев вдруг очнулся. В заезде поднялась суета. Хацкель метался от окна к окну и, прикладывая ладони к вискам, старался что-то разглядеть в ночной темноте. Этля с отвращением и досадой дергала за ворот пьяного мужика, который то подымал, то опускал красное, бессмысленное, опухшее от сна лицо с набрякшими под глазами гулями и дико хрипел.

– Трохиме, слушайте – ну! Трохи-им! Я ж вас прошу: встаньте! – нетерпеливо говорила еврейка, коверкая малорусский язык.

– Ша! Пристав! – закричал вдруг испуганным шепотом Хацкель. Он скоро-скоро зачмокал губами, с отчаянием затряс головой и, стремительно бросившись к двери, распахнул ее как раз в тот момент, когда в нее входил высокий полицейский чиновник, освобождавший на ходу свою голову из густого бараньего воротника шубы.

– Слушайте ж, Трохим. Вставайте! – воскликнула Этля трагическим шепотом.

Мужик поднял налившееся кровью лицо и, перекосив рот, заорал:

Ой, чи не мо-о-ожно б...

– Эт-то чтó-т-такое! – крикнул пристав, грозно выкатывая глаза. Он с негодованием сбросил баранью шубу на руки подбежавшему Хацкелю и, выпятив грудь колесом, сделал несколько шагов вперед великолепной походкой оперного полководца.

Мужик поднялся, шатаясь и задевая руками, ногами и туловищем за стол. Что-то похожее на сознательный испуг мелькнуло на его сизом, оплывшем лице.

– Вашесоко... пане... пане коханий! – забормотал он, колеблясь беспомощно на месте.

– Вон! – загремел вдруг пристав таким страшным голосом, что нервный Кашинцев вздрогнул и съезился за своим столом. – Сейчас вон!

Мужик качнулся было вперед и расслабленно протянул руки, чтобы поймать и поцеловать начальственную десницу, но Хацкель уже тащил его, схватив сзади за ворот, к дверям.

– Ты!.. – закричал пристав, сердито сверкая глазами на Этлю. – Водкой торгуешь? Бесплатно? Конокрадов принимаешь? См-мот-три! Я т-тебя зак-катаю!

Женщина уродливо подняла кверху плечи, совсем склонила набок голову и с жалостным и покорным выражением закрыла глаза, точно ожидая удара сверху.

Кашинцев почувствовал, что цепь его легких, приятных и важных мыслей внезапно разбилась и больше не восстановится, и ему стало неловко, стыдно перед самим собою за эти мысли.

– Нехай меня бог покарает, пане полковник! – клялась со страстной убедительностью Этля. – Дай мне бог ослепнуть и не видеть завтрашнего дня и моих собственных детей! Пан полковник сам знает, ну что я могу сделать, если к нам в заезд зайдет пьяный мужик? Мой муж больной человек, а я слабая, бедная женщина.

– Ну ладно! – сурово остановил ее пристав. – Будет. В это мгновение он заметил Кашинцева и тотчас же, победоносно и строго закинув вверх голову, напряжил грудь и размахнул рукой

налево и направо свои прекрасные русые бакенбарды. Но вдруг на лице его показалась улыбка.

– Базиль Базилич! Старый крокодил! Какими попутными ветрами? – воскликнул он театрально радостным тоном. – Черт тебя знает, сколько времени не видались!.. Виноват, – круто остановился пристав у стола. – Я, кажется... обознался.

Он щегольски приложил ладонь к козырьку фуражки. Кашинцев, полупривстав, довольно неуклюже сделал то же самое.

– Простите великодушно... Принял вас за своего коллегу, почайновского пристава, – этокое фатальное совпадение. Еще раз – виноват... Впрочем, знаете, такое сходство формы, что-о... Во всяком случае, позвольте представиться: местный пристав и, так сказать, громовержец – Ирисов, Павел Афиногеныч.

Кашинцев опять встал и назвал себя.

– Если уж все так необычайно вышло, то, позвольте, уж присяду к вам, – сказал Ирисов и опять ловко прикоснулся к козырьку и прищелкнул каблуками. – Очень, очень приятно познакомиться. Эй, Хацкель, принеси из моих саней кожаный ящик, он в ногах под сиденьем. Извините, вы далеко изволите ехать, доктор?

– В Гусятин. Я только что назначен туда.

– А-а! В пехотный полк! Есть между офицерами претеплые ребята, хотя пьют, как лошади! Городишко паршивый, но по нашим местам в некотором роде, так сказать, резиденция. Значит, будем с вами встречаться? Оч-чень рад... А вы только что... ха-ха!.. были свидетелем отеческого внушения, которое я делал.

– Да... отчасти, – сказал, насильно улыбнувшись, Кашинцев.

– Что́ делать-с... Что́ делать... Такой уж у меня характер: люблю построжить... Я, знаете, не охотник до всяких кляуз и жалоб и тому подобной дребедени – у меня своя собственная расправа-с.

Пристав был представительный, как говорят провинциальные дамы, красивый, рослый мужчина, с растущими в стороны лихими скобелевскими баками и высоким, белым, безмятежным лбом. Глаза у него были прекрасного голубого цвета, со всегдашним выражением томной и какой-то неприличной, не мужской, капризной усталости; все лицо имело нежный, ровный, фарфорово-розовый оттенок, а малиновые, гибкие губы постоянно кокетливо шевелились и растягивались, точно два подвижных красных червяка. Видно было по всему, что пристав Ирисов – местный красавец, молодчинище и сердцеед, бывший кавалерист, вероятно, игрок и кутила, который в состоянии не спать трое суток подряд и никогда не бывает пьяным. Говорил он быстро и отчетливо, делая преувеличенно внимательное лицо на слова собеседника, но, очевидно, слушая только самого себя.

– Я им всем отец, но отец строгий, – продолжал пристав, внушительно приподняв кверху указательный палец. – Поставь ящик на стол, Хацкель, вот так. Я строг, это действительно, я себе не позволю на шею сесть, как другие, но зато я знаю наизусть каждого из своих... хе-хе-хе... так сказать, подданных. Видали сейчас мужичонку? Это ореховский крестьянин Трофим, по-уличному Хвост. Вы думаете, я не знаю, что он конокрад? Знаю великолепно. Но до времени я молчу, а в одно прекрасное майское утро – чик!.. и Трофим Хвост изъят из употребления. Вот поглядите вы на этого самого Хацкеля. Не правда ли, пархатый жидишка? А я, поверьте, знаю, чем он, каналья, дышит. Что? Неверно я говорю, Хацкель?

– Ой, боже мой, разве ж пан полковник может говорить неправду! – выкрикнул Хацкель с подобострастной укоризной. – Мы все, сколько нас есть, бедных, несчастных еврейчиков, постоянно молимся богу за пана пристава. Мы так и говорим промеж себя: «Зачем нам родной отец, когда наш добрый, любимый господин пристав нам лучше всякого родного отца?..»

– Видали? – небрежно спросил пристав, указав через плечо большим пальцем на Хацкеля и значительно сощурился. – Глас народа! Но вы не беспокойтесь, я их вот где держу. Что? Правду я сказал?

– Что я буду на это говорить? – Хацкель весь сжался, присел почти на корточки и протянул вперед руки, точно отталкивая от себя какое-то чудовищное, несправедливое обвинение. – Мы еще не успеем что-нибудь подумать, а уж господин пристав наперед все знает!

– Слыхали? – спросил коротко Ирисов. – Прошу, сказал Собакевич, – произнес он, указывая на раскрытый поставец. – Не прикажете ли жареной домашней утки? Шикарная утка!.. А это вот зубровка. Пирожки с рыбой, луком. Здесь ром. Нет, вы не сомневайтесь, настоящий ямай-

ский ром и даже пахнет клопами... А это – вы только, пожалуйста, надо мной не смейтесь, – это шоколад. Так сказать, дамское развлечение. Рекомендую вам: в дороге – самое питательное средство. Это уж я узнал, так сказать, из печального опыта, по роду своей неблагодарной службы. Зимой, случается, во время метели в такое место тебя занесет, что торчишь двое суток и корки хлеба ни за какие деньги не допросишься. Но что я болтаю? Пожалуйста...

Кашинцев вежливо отказывался от угощения, но пристав проявил самую энергичную настойчивость. Пришлось выпить рюмку рома, от которого пахло чем угодно, только не ромом. Кашинцеву было грустно, и стеснительно, и тоскливо. Украдкой он взглядывал иногда на Этю, которая шепотом оживленно разговаривала за прилавком со своим мужем. Фантастическое обаяние точно сошло с нее. Что-то жалкое, приниженное, ужасное своей будничной современностью чувствовалось теперь в ее лице, но оно все-таки было по-прежнему трогательно прекрасно.

– А... а! Вот вы куда нацелились! – лукаво сказал вдруг пристав, прожевывая курицу и сочно шевеля своими гибкими, влажными губами. – Хорошенькая жидовочка. Что?

– Необыкновенно красива. Прелесть! – невольно вырвалось у Кашинцева.

– Н-д-а... Товар... Н-но!.. – Пристав развел руками, деланно вздохнул и закрыл на секунду глаза. – Но ничего не поделаешь. Пробовали. Нет никакой физической возможности. Нельзя... Хоть видит око... Да вот, позвольте, я его сейчас спрошу. Эй, Хацкель, кимёр...

– Ради бога... Я вас прошу! – умоляюще протянул к нему руку Кашинцев и встал с лавки. – Я вас убедительно прошу.

– Э, пустяки... Хацкель.

В эту минуту отворилась дверь, и в нее вошел очередной ямщик с кнутом в руке и в шапке, в виде конфедератки, на голове.

– Кому из панов кони до Гусятина? – спросил ямщик.

Но, увидев пристава, он торопливо сдернул шапку и гаркнул по-военному:

– Здравием желаем вашему высокоблагородию!

– Здравствуй, Юрко! – снисходительно ответил Ирисов. – Эх, посидели бы еще немного, – с сожалением сказал он доктору. – В кои-то веки удастся поболтать с интеллигентным человеком!

– Простите, некогда, – говорил Кашинцев, поспешно застегиваясь. – Сами знаете, долг службы. Сколько с меня следует?

Он расплатился и, заранее вздрагивая при мысли о холоде, о ночи, об утомительной дороге, пошел к выходу. По наивной, сохранившейся у него с детства привычке загадывать по мелким приметам, он, берясь за скобку двери, подумал: «Если она поглядит на меня, то исполнится». Что должно было исполниться – он сам не знал, так же как не знал имени той скуки, усталости и чувства неопределенного разочарования, которые теперь его угнетали. Но еврейка не оглянулась. Она стояла, повернувшись к нему своим чудесным нежным профилем, ярко озаренная светом лампы, и что-то делала на прилавке, опустив вниз глаза.

– До свидания, – сказал Кашинцев, отворяя дверь. Упругие облака пара ворвались с улицы, застлали прекрасное лицо и обдали доктора сухим холодом. У крыльца стояли, уныло понуриив головы, почтовые лошади.

Миновали деревню, переехали по льду через речку, и опять потянулась длинная, тоскливая дорога с мертвыми белыми полями направо и налево. Кашинцев задремал. Тотчас же заговорили и запели странные, обманчивые звуки спереди и сзади саней и сбоку их. Залилась визгом и лаем собачья стая, зароптала человеческая толпа, зазвенел серебряный детский смех, залепетали, как безумные, бубенчики, выговаривая отчетливые слова. «Первое дело – строгость, строгость!» – крикнул голос пристава.

Кашинцев ударился локтем о бок саней и очнулся. По обе стороны дороги бежали ему навстречу высокие, точно белые лапы, отягощенные снегом ветви. Между ними, далеко впереди, мерещились стройные тонкие колонны, каменные ограды и балконы, высокие, белые стены с черными готическими окнами, фантастические линии какого-то спящего, заколдованного дворца. Но сани заворачивали по изгибу дороги, и призрачный дворец исчезал, обращаясь в темные ряды деревьев и в навесы из оснеженных веток.

«Где я? Куда я еду? – спросил себя Кашинцев с недоумением и испугом. – Что со мной только что было? Такое большое, радостное и важное?»

В его памяти с поразительной ясностью всплыло прелестное женское лицо, нежный очерк

щек и подбородка, влажные, спокойно-страстные глаза, прекрасный изгиб цветущих губ... И вдруг вся его собственная жизнь, – и та, что прошла, и та, что еще лежала впереди, – представилась ему такой же печальной и одинокой, как эта ночная дорога, с ее скукой, холодом, пустотой и безлюдьем, с ее раздражающими сонными обманами.

Мимоходом властная красота чуждой незнакомой женщины осветила и согрела ему душу, наполнила ее счастьем, чудными мыслями и сладкой тревогой, но уже пробежала, исчезла позади эта полоса жизни, и о ней осталось только одно воспоминание, как о скрывшемся вдали огоньке случайной станции. А впереди не видно другого огня; лошади бегут мерной рысью, и равнодушный ямщик – Время – безучастно дремлет на козлах.

1904

Брильянты

Южный вечер – жаркий и темный. Запыленные акации над горячим асфальтом тротуаров лениво просыпаются от тяжелой дневной дремоты. Нарядная толпа стремится двумя непрерывными потоками туда и обратно.

В одном месте образовался водоворот. Подходят, останавливаются, теснят друг друга, задерживают, сгущают общее движение и отходят прочь. Уходя, бросают последний, прощальный взгляд... Быстрый, тревожный взгляд.

Но другие подолгу стоят здесь, опершись грудью и локтями о круглую железную палку, ограждающую зеркальное стекло магазина, стоят, с бледными лицами, с широко раскрытыми, неподвижными глазами.

На белых плюшевых щитках, ряд над рядом, освещенные скрытыми рефлекторами, горят разноцветные капли огня. Как радуется, как очаровывает наш глаз в ночной темноте их волшебный блеск!

В середине два брильянта, каждый величиной в лесной орешек. Их граней, их очертаний не видно. Это не камни – это два странные таинственных огня. Они горят, дрожат, играют, переливаются, смеются тысячами неуловимых, сияющих, лукавых улыбок, и манят, и обещают, и обманывают...

Вот блеснул синий сноп лучей. Такого цвета не бывает ни на небе, ни в море: бывает только в раннем детстве, когда слушаешь сказку. Блеснул, затрепетал и скрылся, и вот уже льется оттуда, точно кровавое вино, точно зарево огромного пожара, точно безумная, пьяная радость, красный торжествующий огонь. Но – мгновение, незаметный поворот головы, сотрясение мостовой под экипажем, – и загорелось зеленое сияние, тихое, глубокое, загадочное, похожее на мерцание июньского светляка в густой траве. Еще миг – и заструился веселый золотой свет солнца, и вдруг заметались, заплясали все цвета радуги...

Ах, человеческие лица! Сосредоточенные, хмурые, бледные под этим отраженным, рассеянным, матовым светом – как много говорят они печального, и злого, и глупого! У женщин хищно раздуваются ноздри, и зубы влажно блестят из-за полураскрытых губ. Их теснят, толкают, но они не чувствуют этого, обвороченные чудесным блеском, увлеченные одним стремлением.

Юноша и девушка. Оба стройные, гибкие, красивые. Может быть, они только что тайно встретились в условленном месте – встретились с волнением, с нежностью, с прелестной боязливостью. Кто-нибудь из них опоздал на свиданье. Была сцена притворной холодности, ревности, вражды сквозь неуправляемые, ласкающие, шаловливые улыбки. И вот они стоят здесь, забыв друг о друге, загипнотизированные лукавой игрой брильянтов, ушедшие в странные нездоровые грезы.

Жена с мужем. Старик. Беременная женщина. Двое юрких, прекрасно одетых пройдох с голодными глазами. Посыльный, задержавшийся впопыхах на секунду. Кокотка. Жена с мужем. Нет, впрочем, это не муж и жена... но все равно они забыли, потеряли, не чувствуют друг друга, хотя их руки еще соприкасаются.

И во всех этих лицах, во всех этих глазах, которые на минуту становятся бесцветными, бездонными и лживыми, я читаю одно и то же жадное слово:

Если бы!

Если бы чудо?.. Если бы найти на улице?.. Если бы чья-то неожиданная сказочная щедрость?.. Если бы... Если бы украсть, но так, чтобы никто никогда не знал об этом?..

Кто знает, что оказалось бы в лучших душах человеческих, если бы можно было незаметно проникать в них и наблюдать их самые тайные, самые скрытые изгибы? Сколько столпов, сколько твердых мужей, сколько честных граждан оказалось бы ворами, убийцами, прелюбодеяниями? И кто может сказать непоколебимо, что страшней – мысли или дело, и где их границы?

Самое странное, смешное, нелепое, необыкновенное в мире – это людские условности. Вот лежат два кусочка сгущенного углерода, два кусочка угля, две блестящие побрякушки. Но в них, как в фокусе, сосредоточены: богатство, роскошь, почет, женская любовь, власть...

Так сложилась жизнь, так условились люди.

Особенно власть. О, как понятно мне, почему самые прославленные историей, самые кровожадные тираны человечества были в то же время такими тонкими знатоками, ценителями и собирателями драгоценных камней! Для них, пресыщенных всеми крайними формами власти и наслаждения, драгоценности являлись жгучими, но пока еще сокрытыми символами дальнейшего бесконечного расширения их личности. Это была та же огромная, страстная власть одного над миллионами, но власть, чудесно сконцентрированная в маленьком предмете, который мог поместиться и в кулаке. Это была власть в потенциальном виде.

Из-за драгоценных камней велись кровопролитные войны. Земные владыки нелегко расстаются с этими маленькими вещицами. Подобострастная история сохранила нам анекдот о том, как улыбающаяся царица Клеопатра выпила, растворив в бокале вина, жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Но, вероятно, никто не знает, что случилось сейчас же после этого безумно-великолепного пиршества.

Случилось же вот что.

Возвратясь с пира в свою опочивальню, Клеопатра приказала раздеть себя. Нубийская рабыня неосторожно прикоснулась рукой к обнаженному плечу царицы, и царица в порыве гнева вонзила в ее черную грудь острую головную булавку. Когда же рабыня застонала, Клеопатра воскликнула в ярости:

– Не смей кричать! Дура!

В это время евнух, стоя почтительно на четвереньках, благоговейно напомнил императрице о судьбе пленного грека-философа. Прежде у Клеопатры был тонкий замысел: устроить с этим ученым публичный диспут в присутствии высоких римских гостей и, показав себя во всем блеске ума и красноречия, великодушно вернуть пленнику свободу. Но теперь, огорченная потерей многоценной жемчужины, она закричала с раздражением и со слезами в голосе:

– Что ты ко мне пристаешь с глупостями! Удавить его!

1904

Пустые дачи

О, как долго памятна будет мне эта таинственная ночь, в которую лето сделалось осенью.

Было в ней что-то напряженное, и страстное, и нежное, и больное, как в последней ласке перед разлукой, как в долгом прощальном поцелуе, смешанном со слезами. Неподвижные облака на небе, внимательные звезды, тихое море, томные деревья – все притаилось в чутком и тревожном ожидании, в молчании, в предчувствии... Может быть, они вспоминали о прошлой зиме, о снеге, о холоде, о ветре?

Мы сидели на самом краю обрыва, над морем. И вот настала тишина, – тот странный внезапный момент тишины, который слышишь иногда даже в городе, в разгар дневного шума. Оборвались дрожащие звуки мандолины, стихли разговоры, и замер золотой девический смех.

Кто-то произнес мечтательно и грустно:

– Это последняя ночь лета. Последняя ночь...

Помню: я тогда поглядел направо, на юг. Там – от земли до полнеба – сгрудились тяжкие сонные тучи и в них бегали зарницы. А под ними простирались кроткие усталые поля и черные холмы, и редкие деревья стояли, как черные печальные призраки.

И почудилось мне, что там, на полях, сверх холмов и деревьев, лежит кто-то большой, невидимый, всезнающий, жестокий и веселый, – лежит молча, на животе и на локтях, лежит, под-

перев ладонями густую курчавую бороду. Тихо, с злобной радостью улыбаются он чему-то идущему и молчит, и молчит, и лукаво щурит глаза, играющие беззвучными фиолетовыми молниями...

Потом сразу стало холодно. Поднялся ветер с востока. Мы ушли...

А под утро с моря, из-за той вон далекой прямой черты, оттуда, снизу, вырвалась буря – вся черная, в белой косматой пене. В страхе шарахнулись волны на берег, в ужасе заметались деревья, простирая в одну сторону дрожащие бессильные руки, и наш дом до утра трясся под напорами ветра.

Что делалось тогда на море! Там грохотали тысячи нагруженных телег, шумел лес, взрывались скалы, кто-то в ярости рвал пополам исполинские куски шелка... А когда мы проснулись, была осень.

Так началась осень...

И вот я еду сегодня на велосипеде по узкой извилистой дорожке парка. Хрустит и взвизгивает гравий под колесами. Левая сторона лица моего обращена к солнцу, и ей тепло, а правой холодно.

По бокам дорожки – плотные, мелкие кусты. Сквозь них теперь сквозит небо и кажется таким густым, таким невероятно синим. Все стало просторно, голо, неряшливо и неудобно, точно знакомая комната, из которой вынесли мебель. Шелестят серебряным звуком коричневые, скоробившиеся листья...

Гимназистом я однажды через две недели после летних каникул вернулся на дачу, где провел три месяца. Было все пустынно, тихо, глухо и грустно. О, как хорошо помню я эту задумчивую грусть, эту сладкую медленную тоску, от которой, как от вина, сжималось сердце и кружилась голова. Все, что прошло, – думал я, – все осталось в моей памяти, оно – мое, во мне, я могу его вызвать силой воображения. Но ничто, ничто не вернется больше! Ни одна черта!?

Так я думал тогда, но теперь моя душа не воспринимает уже более этой поэтической, нежной печали: в ней бессильно и горько шевелится только грусть по прежней грусти. Плачет беззлобная, смирившаяся зависть...

Оставленные пустые дачи. Окна криво забиты снаружи досками. Кругом сор – тот сор, который всегда остается от дачников. На клумбах среди обнаженной черной земли доцветают яркие астры и георгины. Я слышу их травянистый, меланхолический осенний запах... Здравствуй, осень моей жизни!

Вечером к нам на балкон приходят чужие, брошенные голодные собаки. Они тихо, без волнения жмутся к ногам и робко заглядывают в глаза просящими, испуганными глазами. Они останутся здесь на зиму. Мне страшно думать о тех лютых ночах, когда они будут дрожать от холода и ужаса, в снегу, под занесенными балконами... Море ревет в эти ночи, и деревья стонут от ветра, и кругом не горит ни одного огня... Бедные, ласковые друзья, что вы будете чувствовать, кому вы будете жаловаться в эти ночи?

По праздникам к нам уже не наезжают нарядные парочки, которые ходят, обнявшись и колеблясь от любви и оттого, что не смотрят на дорогу, а на небо или в глаза друг другу. Зато приезжают мрачные люди, с галстуками на боку, с растерянным взглядом, и ходят в одиночку по глухим местам у моря и в парке.

Гравий щурит под гуттаперчей колес. Вот место, где одной ночью в начале июня моего лица неожиданно коснулась ветка сирени, и я вздрогнул, сначала от испуга, а потом от счастья, потому что мне показалось, что это цветок поцеловал меня в щеку. Вот еще одно место. Здесь я встретил одну девушку. Она была мне незнакома, и я потом не встречал ее больше. Из глаз ее лился снопами голубой свет, в котором было все: радость жизни, восторг молодости, сияющее счастье первой любви. Помню, я улыбнулся, и она ответила мне – она улыбнулась так лучезарно, так эгоистично-виновато, так прекрасно-легкомысленно. Она прошла дальше. Я оглянулся. Она не шла, а точно танцевала, не касаясь ногами земли, как мотылек, опьяненный светом. И мне захотелось упасть на землю и целовать те места, на которые ступали ее белые туфли. Почему? Я не знал этого...

А вот старая гнилая скамейка. На ней вырезаны чьи-то имена и девизы. О, милая!

Здравствуй, моя осень. В моем сердце не осталось даже грусти. Но я благословляю и ветку, и девушку, и море, и холодное небо, и печальные последние георгины...

1904

С улицы

I

Да, совершенно верно. Это вы совершенно правильно определили, господин... извините, не имею высокой чести знать ваше имя, отчество... Главная причина, отчего я погиб и теперь так низко пресмыкаюсь, – это слабость моего характера. Так и присяжный поверенный объяснял на суде, когда меня судили. «Перед вами, господа присяжные заседатели, яркий пример физического и нравственного вырождения на почве наследственного алкоголизма, плохого питания, истощения и дурных болезней». Перед этим меня трое профессоров осматривали, и они то же самое сказали в один голос. Я тогда же эти слова занес себе в записную книжку. Потому что, должен признаться: я хоть и потерял облик и подобие интеллигентного человека, но люблю людей с образованием и уважаю науку.

Поглядев на меня, вы ведь, конечно, не скажете, что сей самый, сидящий перед вами субъект тоже в свое время стоял на хорошей дороге и мог сделать себе имя и карьеру. Но это поистине так. Выразусь символически. Тут есть на Пересыпи один трактирчик, под названием «Ягодка», с правом крепких напитков, самый – извините – вертеп. И в этом трактире висят за буфетом две картины, вроде как бы указание или напоминание, если кто еще в трезвом виде. На одной изображен некий оборванный мужчина, скажем, вроде меня; спит в грязи под забором, и тут же рядом хрюкает свинья. И подписано: «Мог бы быть человек» с восклицательным знаком. А на другой картине написано: «Покупал за наличные, – покупал в кредит», и нарисованы два индивидуума. Один худой, обдерганный, штаны снизу собачки обкусали, схватил себя за голову, и глаза у него наружу вылезли – это который в кредит. А другой сидит к нему задом, этакий, знаете, толстый буржуй с бакенбардами, развалился с сигарой и смеется, а перед ним касса, и вся набита золотыми столбиками. Картины эти – лубочные, дешевка, и я сам по торговой части никогда не занимался, но внимания заслуживают. Потому что это вроде намек на мою собственную жизнь. Ха-ха! Буфетчиком там Вукол Наумыч. Жестокий старик. Я ему раз говорю: «Ты бы, Вукол Наумов, заказал бы еще и третью картину нарисовать. Как будто бы этот общипанный схватил этого самого банкира одной рукой за манишку, а другой рукой нырнул в несгораемую кассу. А внизу подпись: «И что из этого вышло». Но конечно, буфетчик шуток не понимает. Я ему сказал просто для аллегии, а он хотел городского кричать. Что как будто бы я его самого угрожал таким способом. Известно – хам.

Про третью картину, то есть это про мою фантазию, я вам, милостивый мой государь, не напрасно сделал пример. Потому что я сам однажды попробовал такой практикой заняться, и через это вычеркнут из списка жизни. Слава еще богу, что коронный суд, с участием присяжных заседателей, признал меня в состоянии невменяемости и отпустил на свободу. А то пришлось бы мне идти добывать «медь и золото» в местах столь отдаленных.

Если уж к этому подошло, то, позвольте, я лучше все по порядку. Вы меня извините, господин, но по вашей внешности и по разговору я всего скорее заключу, что вы, должно быть, сотрудник. Ну, что ж, может быть, моя автобиография пригодится вам для воскресного фельетона или для популярно-научной статьи. Я с удовольствием. Например, озаглавьте: «К вопросу о том, как некоторые личности бестолково устраивают свою жизнь». Или, еще лучше – просто: «Исповедь преступного типа». Можно, кстати, вас разорить еще на парочку? Только уж позвольте спросить обыкновенного, за восемь копеек. Оно по крайности без глицерину. Эй, псст! чижик!.. Пару пива. Чего ты смотришь, дурак, как козел на новые ворота? Это барин угощают. Не видишь, кому служишь, болван?

Не доверяет, холуй. Правда, я здесь как-то однажды большой тарарам наделал. Ну, кроме того, и экипировка моя. Знаете, как в «Гранд-отеле» одна шансонетка поет:

Арри-ги-налиный мой костюм,
Блестящий мо-ой наряд,
Тара-тара, тири-тири...

Слушаю-с, господин буфетчик. Виноват, сам знаю, в таком месте и вдруг – куплеты. Не буду больше, молчу. Да. Так вот. Вы меня извините, пожалуйста, господин. Если по-настоящему рассуждать, то я с вами и в одной комнате быть недостоин. Кто вы – и кто я! Но вы почувствуете сострадание к человеку, убитому судьбой, и даже не побрезговали посадить с собой рядом. Позвольте, я вам за это ручку поцелую. Ну, ну, ну, не буду... Не сердитесь, извините.

Да. Так вот. Давеча я вам назвался бывшим студентом, но это все неправда. Просто увидел, что вы – человек интеллигентный, и думаю: он всего скорее клонет на студента. И стрельнул. Но вы обошлись со мной по-благородному, и потому я с вами буду совершенно откровенно... Был я в университете только один раз в жизни, и то на археологическом съезде, когда служил репортером в газете. Был, не утаю, сильно намочившись, и что там такое бормотали, ничего не понял. О каких-то каменных бабах какого-то периода...

Однако позвольте вам заметить, я все-таки не без образования. Помилуйте, до сих пор помню: Алкивиад был богат и знатен, природа щедро наделила его умственными способностями... и там еще про собаку, как он ей отрубил хвост... исключения на is и все такое прочее...

Отец мой был обойщик и драпировщик, имел собственную мастерскую в Кудрине, в Москве. А мать я плохо помню. Помню только, что была она женщина толстая и с одним глазом, а другим все как будто подмигивала кому-то. Помню еще, но это уж точно во сне, как ее при мне обнимал наш старший мастер Шикунов и говорил: «Ничего. Андрюшка маленький, он ничего не понимает, вот мы ему копейку дадим...» Пили они, должно быть, шибко, мой папаша с мамашей, – всегда от них вином пахло, – и лупили меня чем попало, как говорится: палкой, скалкой, трепалкой. Воспитанием моим неглижировали³³, и рос я, как сорная трава, на улице и на дворе. Настоящим же моим воспитателем был наш мальчик-подмастерье; его звали Юшка.

Должен я вам сказать, видал я в моей жизни множество самых разных фигур. Достаточно того одного, что сидел в тюрьме. Но вот, ей-богу, такого безобразника и бесстыдника, как он, я ни разу не встречал. Чему он нас, мальчишек, учил, что заставлял нас делать там, за каретным сараем, между дровами, я вам даже не смею сказать – совестно. Ей-богу. А ведь был он сам почти ребенок...

Это еще пустяки, что курили, пили водку, играли в орлянку и в карты – налево, направо – и что я таскал у отца потихоньку деньги. Отец и сам по праздникам, когда у нас бывали гости, забавлялся тем, что накачивал меня допьяна и заставлял плясать... С Юшкой хуже бывало. Одинадцати лет узнал я женщину; это было опять-таки на задворках, под руководством того же самого Юшки. Удивительно, право! Этот человек совсем исчез с моего горизонта, и я не знаю, где он: на каторге или его убили где-нибудь, как собаку... Но никто никогда не имел на меня такого адского влияния. Боялся я его до чрезвычайности. Поверите ли: даже теперь иногда вижу его во сне, будто он меня дубасит, и от страха просыпаюсь... За ваше здоровье! А вы сами? Нет? Ну, как изволите. Хорошо! Холодное.

Однако я тем временем подрос. Не знаю уж, какой чудотворец пропихнул меня в гимназию, в приготовительный класс. Думаю, что не обошлось здесь без барашка в бумажке, – сунули, должно быть, кому следует. Вот тут-то и началось хождение моей грешной души по мытарствам. В три года я, кажется, во всех учебных заведениях перебывал, в классических и реальных. Где учителю жеванной бумаги в карман насовал, где попался пьяным на улице. В одном месте у товарища украл коллекцию перышек... е цетерá, е цетерá³⁴, в том же роде.

Приду, бывало, домой – отец сразу по глазам видит. «Вышибли?» Я молчу. «Ах ты с... сын! Вот погоди, отдам я тебя в сапожники, тогда взвоешь. Ступай принеси веревку».

Наконец больше поступать стало некуда. Осталась всего только одна частная гимназия Хацимовского. Может быть, слышали? Зам-меч-чательнейшее было, доложу вам, учреждение, одним словом – замок чудес и волшебств. Какой-нибудь купеческий оболтус до пятнадцати лет голубей гонял, папу-маму без ошибки написать не может, а, глядишь, от Хацимовского лет через пять вышел с аттестатом зрелости. Это правда: сидели там в последних классах очень зрелые

³³ пренебрегали — от франц. *negliger*.

³⁴ и так далее и так далее (франц. *et caetera*).

мужики, годов по двадцати пяти, – бородатые, почтенные люди. Про одного такого эфиопа рассказывали, что он в гимназию вместе с сыном ходил. Сын в приготовительный, а он в седьмой. И обоим им дома делали на завтрак бутерброды.

Помещали туда больше купеческих сыновей и дворянчиков – все исключительно тех, которых отовсюду уже вышвырнули. Деньги брали за учение солидные. И было это заведение вроде зверинца: архаровцы, скандалисты, обломы; все как на подбор – самые развращенные мальчишки. На учителях верхом ездили. Ну, уж и учителя у нас были! Та-акие гуси!..

У Хацимовского я окончательный лоск получил. Но и оттуда меня в скором времени – фить! За что? Да за разное. Длинная история. Началось это с того, что отобрал у меня надзиратель альбом этаких, знаете, карточек со стихотворными пояснениями моей собственной музыки, ну и так далее... Что вспоминать! Пассон³⁵, как говорят французы.

Пришел я домой. Отец опять было за веревку, но увидел, что я сильнее его стал, и осекся, – стоп! Рассердился очень.

– Одна, – говорит, – тебе дорога осталась, орясина ты непутевая. Ступай в солдаты!

Поступил я вольноопределяющимся. Четыре года подряд держал экзамен в юнкерское училище, никак не мог одолеть бездны премудрости. Наконец надоела, должно быть, моя физиономия экзаменаторам, – пропустили.

Да из училища в полк обратно отчисляли три раза за всякие художества. Из училища был выпущен подпрапорщиком, протрубил в этом кислом звании два года и был произведен в офицеры.

II

Ну, о том, что я в офицерских чинах выкомаривал, не буду распространяться. Подробности письмом. Скажу коротко: пил, буянил, писал векселя, танцевал кадрили в публичных домах, бил жидов, сидел на гауптвахте. Но одно скажу: вот вам честное мое благородное слово – в картах всегда бывал корректен. А выкинули меня все-таки из-за карт. Впрочем, настоящая-то причина была, пожалуй, и похуже. Эх, не следовало бы. Ну, да все едино – расскажу.

Была у меня в полку любовница, жена одного офицера. Знаете: глушь, скверный южный городишко, тоска, грязь – только и было у нас у всех развлечения: служба – солдат по мордасам щелкать, да водка, да еще карты, да еще эти самые романы. И так мы усердно романсовали, что все, как есть, приходились родственниками друг другу. И никто в этом не видел ничего особенного. Так все и знали: такой-то живет с такою-то, а ее мужа застали с такой-то, а с ней живет поручик Иванов, а раньше поручик Иванов жил... словом – маседуан.

Звали ее Марьей Николаевной. Была она тоненькая, хрупкая, лицо, как у печального ангела, – худенькое, нежненькое, ротик маленький, розовый, блондинка, глаза большущие, светлые, голубые. Образованная. Кончила институт с медалью, играла наизусть господина Шопена, хорошей дворянской фамилии была и со средствами. Много у нас вокруг нее народу вертелось, как тетеревей на току, но – никому ничего. А я, знаете, подошел и взял ее наглостью, да еще так нечаянно вышло это, что я и сам не ожидал. Двое детей у нее было, две девочки.

Делал я на пасху визиты. Собственно говоря, визиты – это просто был предлог для сугубого пьянства. Наймешь на целый день фаэтон и жаришь из одного дома в другой. Приедешь куда-нибудь, а там целый стол выпивки и закуски: барашки эти самые из сливочного масла, мазурки, бабы с розанами, ветчина в бумажных завитках, терновки, зубровки, сливовица. Трах, трах, рюмок пять-шесть хлопнул, наврал-наврал и поехал к следующим знакомым. «Ах, что вы, мы ни с кем не целуемся!» – «Нет, па-азвольте-с, какие же вы, барышни, после этого христианки? Не-ет. Даже и в Священном писании поется: друг друга обымем, рцем»... и так далее. Программа известная.

Приехал я к Марье Николаевне уже под вечер. Сижу – и ничего не соображаю, что ем, что пью, что болтаю. Муж ее, подполковник, рядом храпит в спальне, тоже с визитов вернулся. Время такое серенькое было, не то день, не то вечер, на дворе дождик, скука, часы стучат, разговор не клеится. Тоска на меня нашла. Стал я Марье Николаевне про свое детство рассказывать,

³⁵ Переменим тему (от франц. passons).

про Юшку, про отца, про веревку, про то, как меня из гимназии гоняли. И заплакал. И ведь как человек бывает подл, послушайте. Сам плачу, сморкаюсь, слезы у меня и из глаз и из носу текут, трясусь весь, рассказываю красивой образованной даме самые грязные ужасы – уж, кажется, всю душу вывернул наизнанку! А ведь нет, – себя-то я все-таки в привлекательном виде выставил: что, мол, никем я не понятая, этакая возвышенная хреновина, вроде, что ли, Евгения Онегина; тяжелое детство, ожесточенная душа, ласки никогда не видел – чего я тут только не намотал. Гляжу, а она тоже плачет. Склонила, знаете, голову набок, руки на коленях сложила, глаза огромные стали, светлые, а слезы по щекам бегут быстро, быстро, быстро. Тут и подхватило меня. Слышу я, что муж рядом храпит, кинулся к ней и точно первый любовник в театре: «О! неужели ты можешь плакать? О ко-ом? Обо мне? О, эти святые слезы! Чем я искуплю их?» И уже мну ее руками. Не сопротивлялась она, ни одного слова не сказала – отдалась мне, как овечка. И лицо у нее все мокрое от слез было.

Узнал я тогда, что это за штука – власть над человеком. Сделалась Марья Николаевна с того вечера моей рабой. В буквальном смысле. Что хотел – то с ней и делал. И она мне потом часто сама говорила: «Да, я знаю, что ты негодяй; ты – грязный человек, ты развратник, ты, кроме того, еще маленький-маленький, подленький человечиска, ты алкоголик, ты изменяешь мне с самыми низкими тварями; ты всякой мало-мальски себя уважающей женщине должен быть омерзителен и физически и нравственно... и все-таки я люблю тебя. Я твоя раба, твоя собственность, твоя вещь. Если ты убьешь кого-нибудь, ограбишь, изнасилуешь ребенка, – от тебя ведь всего можно ожидать, – я все-таки не перестану тебя любить всю мою жизнь. Ты – моя болезнь».

Подобные акафисты она мне нередко читала, а также писала в письмах, и я эти слова запомнил хорошо... И отчего это, скажите мне, – вот вы человек, видимо, образованный и начитанный, – отчего это так часто умные, милые, прекрасные женщины любят различных прохвостов? От противоположности, может быть? Ведь сколько, сколько я таких случаев видел в своей жизни. Вы думаете, она была какая-нибудь особенно страстная, Марья Николаевна? О, ничуть. Уступала всегда только моим настояниям, а то относилась ко мне, как мать. Не так, как моя родная мамашенька, которая меня произвела на свет, а по-настоящему: кротко, терпеливо, нежно, заботливо...

Да. Я говорил сейчас про власть, и, можете себе представить, стала мне Марья Николаевна до того противна, что и сказать нельзя. Измывался я над ней зверским образом: гнал ее от себя, когда приходила; назначал свидания и раз по пяти не являлся; письма ее – милые, ласковые, добрые письма – на диване, на полу у меня по неделям валялись нераспечатанными. Деньги я тянул у нес постоянно, на кутеж, на игру, а то и на женщин брал. И знаете, что я вам скажу? Философская мысль. Никакое зло на сем свете не пропадает. Если ты еще мальчишкой у жука крылья оторвал, то и это тебе зачтется и приложится. Господь бог нам всем, у себя наверху, двойную итальянскую бухгалтерию ведет: приход и расход – все у него разнесено по графам. Впрочем, по Дарвину, бога нет. Ну, тогда – судьба, это все равно. И я твердо уверен, что если меня впоследствии, ух, как здорово по затылку стукало, то это за нее, за Марию Николаевну. Оборвал я ей крылышки, погубил ее, затоптал, загрязнил ее душу, и все это делал без пощады, и ее самое ненавидел до дрожи, до бешенства!..

Раз собралась у меня холостая компания. Пили, играли, пели, потом опять пили и опять играли. Я проферпшилился дотла. Посылал дважды денщика к Марье Николаевне за подкреплением и опять прогорал. Помню, во второй раз она мне прислала записку: «Дорогой мой, постарайтесь воздержаться от таких поступков, в которых завтра будете сами раскаиваться. И что бы ни случилось, помните, что у вас есть друг, который все для вас готов сделать». Я это письмо в сених, когда принимал от денщика деньги, разорвал на мелкие кусочки и швырнул на пол.

Поручик Парфененко забрал все деньги, какие у нас у всех были в сложности, и вдруг заболел животом и убежал домой, потому что не хотел на мелок играть. А мы опять пить. Шли уже вторые сутки, без просыпу. Вот мы разговорились о наших дамах. У той ноги длинные, это хорошо, но зато худые очень: в платье красиво, а разденешь – швах. У этой родинка на пояснице. У другой словечки есть такие особенные, излюбленные, в тайные минуточки-то. Третья вот так-то целуется. Одним словом, всех разобрали до последней жилочки. Что нам стесняться в родном отечестве? Вал-ляй!

Стали про мою спрашивать. А я в пьяном задоре и ляпни: да хотите, только свистну, и она, как собачка, сюда прибежит и все вам сама покажет? Усомнились. Я сейчас же, моментально, с

денщиком записку: «Так и так, дорогая Мари, приходите немедленно, иначе никогда меня больше не увидите. И чтобы вы не думали, что это шутка или праздная угроза, то, как только приедет ваш муж, в тот же день все ему открою»... и слово «все» три раза подчеркнул.

Что вы думаете? Прибежала. Бледная, запыхалась, еле на ногах держится. Вошла и стала в дверях, оперлась о косяк, губы синие, как у трупа, зубы стучат. «Здравствуйте, Андрей Михайлович! Шла мимо, вижу, свет, думаю, не у вас ли муж? Боялась, как бы вы его в карты не засадили. Вы ведь такой совратитель». Словом, невесть что бормочет, точно в бреду; ведь всему полку известно, что муж ее поехал в округ принимать боевые патроны! Говорит и сама старается улыбаться, а глаза – огромные, синие – глядят на меня с ужасом. Ух, ненависть меня взяла на нее. «Раздевайся», – говорю. Сняла она тальму – руки так и ходят, точно у пьяницы. Поняла ведь она, поняла с первой же секунды, чего я от нее хочу. Сняла тальму. А я кричу: «Дальше раздевайся, снимай лиф, юбку долой!» Она и не моргнула даже, глаз от меня отвести не могла. Взялась за верхнюю пуговицу – растегнула, стала вторую нащупывать, да сразу-то не найдет, пальцы прыгают. И ни слова, ни звука. Ну, тут товарищи вступились. Были они все пьяные, озверелые, красные, опухшие, но их эта пантомима уязвила. До того уязвила, что, когда она ушла, – мы глядим, – подпоручик Баканов в обмороке лежит. Был он совсем зеленый мальчик, застенчивый, вежливый такой, приличнейший, хоть и пил крепко. Обещались они – и ей и мне – все сохранить в тайне, но где же удержаться. Сделалась история известна всему полку, и чаша моих злодеяний, выражаясь высоким штилем, переполнилась. Стали все на меня глядеть этаким басом, вижу – руку избегают подавать, а кто и подаст, так глазами шнырит по бокам, точно виноватый. Открыто не решались мне ничего сказать, потому что жалели Марью Николаевну. Как-то *сразу* тогда догадались, что здесь не романец, не пустая связушка от скуки, а что-то нелепое, огромное, больное – какая-то не то психология, не то психиатрия. И мужа ее жалели. Был он заслуженный шипкинский подполковник и пребывал и, кажется, до сих пор пребывает в сладком неведении.

И все ждали случая.

Как-то играли в собрании в ландскнехт. Игра – официально недозволенная в офицерском клубе, но на это смотрели – вот так! Подошел и я. Везло мне зверски в этот вечер, просто до глупости везло, но сердце у меня было какое-то тревожное, невеселое. И еще вот что странно: встретился я в передней с подпоручиком Бакановым, не поздоровались мы даже с ним, а только так, мельком взглянули друг на друга, но отчего-то сделалось мне вдруг как-то грустно и противно.

Обошел круг раз семь или восемь, наступила опять моя очередь держать банк. Положил я, как теперь помню, направо двойку бубен, налево короля пик и выметываю середину, раз, два, три, пять, девять, вижу – заметалась карта, и про себя твержу: «Заметалась – в пользу банкюмета» – известное игрецкое суеверие. Наконец – хлоп! – выбрасываю двойку. Моя! Но – ведь какая судьба! – обмишулился: выпало сразу две карты. И вдруг слышу сзади: «Вы, подпоручик, кроме того, что негодяй, еще и шулер!» Я обернулся, а Баканов как швырнет мне целой колодой в лицо. И кто-то еще рядом по щеке ударил, и еще, и еще, – со всех сторон! Я кричу: «Господа, позвольте же! Что такое? Это недоразумение!» А мне кричат: «Вон из собрания! Выгнать его! Выбросить в окно! Шулер! Завтра же вон из полка!»

Вы понимаете: они не хотели Марью Николаевну скандалить перед всем обществом, и вот и придрались к случаю. Через два дня суд общества офицеров предложил мне подать прошение об увольнении в запас. Так и выкинули из полка, точно шелудивую собачонку... И поделом. Что ж... я справедлив: сам знаю, что заслужил. Ну... да, ничего... пассон! Еще пива? Благодарю, я не откажусь. Ву зот тре земабль³⁶. Только мне как-то неловко все одному да одному...

III

Чем я был потом? Вы спросите лучше, чем я не был. Та-акая пошла со мной кувырколегия! Был я десятником при устройстве канализации, был кочегаром в Азовском пароходстве, чертежником, коммивояжером, учеником у зубного врача, таскал кули на пристани, вот в этом са-

³⁶ Вы очень любезны (от франц. *Vuoz etes tres aimable*).

мом городе наборщиком служил в типолитографии. Между прочим, в то время, когда был наборщиком, женился. По-дурацки это как-то произошло. Да все равно через полтора года я ушел и жену бросил с мальчишкой. Занятный был у нас ребяенок – ах, какая прелесть! Да я и вообще-то детей до безумия люблю! – детей и животных. И не было у нас при прощании ничего: ни ссоры, ни драки, ни измены. А просто меня в одно прекрасное майское утро потянуло в бега. Была, кроме того, у меня еще и другая мысль, что без меня еще жена как-нибудь устроится, а со мной все равно ей надо пропадать. И потому, «не говоря ни с кем ни слова, плащом прикрывши пол-лица», сунул я паспорт в боковой карман и фур-фур в другой город.

Был я потом певчим, служил в оперетке в хоре; послужил также и в драматической труппе, ампула мое было – простак и второй комик с пением. Послушником прожил в монастыре около года. Господи, всего и не упомнишь!

Из монастыря меня ловко турнули – в один момент! Был я приставлен служкой в монастырскую гостиницу. Ничего, весело жилось. Из кружечного сбора причиталось десять целковых в месяц, на всем готовом, да еще кое-какие доходишки были посторонние. Выпивали мы изрядно, и насчет прочего... Вообще – занятно. Лукавый-то, он всегда около святых мест бродит... Искушение! Летом к нам, к престолу, до тысячи баб стекалось, крестьянки больше, мещаночки, купчихи, мелкие помещицы, – всякие: и молодые и старые. Поразительно: нет для женщины больше сладости, как грешить и каяться, каяться и грешить. А уж тем паче, когда кругом этакая молитвенная обстановка, благолепие всякое, смирение, воздыхание, умиление... А попросили меня из святого места вот почему.

Висели у нас по стенам в гостинице этикие печатные листы: не молитвы, а так... стихотворное упражнение некоего отца Павсикакия. Озаглавлено было так: «Духовная борьба против невидимого врага». Я и теперь помню кусочками: «Брате, затворяй с молитвою дверь, дабы не ворвался душевредный зверь... Разинет он греха огнепылающую пасть, а ты не медли кресты и поклоны класть... Тщится он ужалить тебя лености хвостом, а ты отгоняй его сокрушеньем и постом... Против его любострастья батарей – траншею воздержанья возводи скорей... Будет опускать в тебя зависти картечь, но щитом тебе да послужит спасительная речь...» И так далее, с гранатами и с бомбами, с патронами и пулями... А я как-то с одним гостиничным монашком, Прохором, урезал муху да взял карандашом кое-где сверху строк и написал свои собственные рифмочки, вроде тех, извините, которые в известных уединенных местах пишутся на стенках. И совсем забыл об этом обстоятельстве.

А тут вдруг назначили к нам нового преосвященного. Приехал владыка в монастырь, все осмотрел, все благословил, остался очень доволен порядком. Наконец шествует в гостиницу, видный такой пастырь, осанистый, бородатый – не архиерей, а конфета! За ним отец игумен, отец казначей, отец эконома, иеромонахи, вся соборная братия. И мы, гостиничные служки, жмемся вдоль стен и, аки некие безгласные тени, благоговейно трепещем.

Владыка вдруг спрашивает: «А это у вас что такое на стенах?» – «А это, – говорит эконома, – у нас развешано для поучения темного народа... как бы в стихотворной форме». Подошел преосвященный, поглядел с минутку, потом повернулся к братии, весь красный от гнева. «Чей же грязный карандаш написал эти гнусности?» Обвел нас всех очами. Прозорливый был архипастырь: увидел, что на Прохоре лица нет, и тотчас в него перстом. «Ты!» Прохор – бац в ноги! «Прости, преосвященный владыка, был лишь свидетелем сего и, по слабости, не остановил. Писал послушник Андрей». Тогда владыка ко мне. «Если, говорит, в яблоке завелся червь, то вырезают сердцевину и отмечают, дабы не погиб весь плод. Завтра же убрать этого писателя из монастыря. Пусть упражняет свое скверное воображение в уличных газетках».

И – что вы думаете – истинный провидец оказался владыка! Не прошло и трех месяцев, как, по воле судьбы, я действительно примазался к одной газетке – сначала корректором, а потом репортером.

Воздух там был легкий и веселый, ни грамоты, ни таланта не требовалось, дела делались больше по кабачкам, по кофейням, народ кругом тебя всё – аховый, тертый. Любо! Но и тут я сорвался. Такая моя участь.

Пропитывались мы все, по малости, разными вспомогательными путями. Например, в загородных садах, в кафешантанах около буфета. Упомянешь в десяти строках, что вот, мол, вчера мы видели вновь ангажированную неутомимым хозяином «Гвадалквивира» мексиканскую эту-

аль³⁷ Пузу-Лаперузу, являющуюся несравненной исполнительницей... ну и... кредит. Фельетонисты рекламировали, как будто мимоходом, гастрономические магазины, романисты водили своих героев в известные рестораны и так далее. Кормились мы также вокруг мировых судей. Привлекают булочника за то, что у него мастера спят на кадках, трактирщика тянут за грязь, бакалейщика – за сахарин, но больше всего булочников и кондитеров. А я сижу в камере на видном месте и нет-нет черкну что-нибудь в записную книжку. Ну, кому же лестно попасть в газетную хронику? А глазом-то я все-таки кошу вбок: вижу – мой булочник не уходит, хоть его дело давно и кончилось, и все на меня с беспокойством поглядывает. Выжду я минут с десятков и совершенно неглиже, как будто у себя дома, выхожу из камеры. Он за мной. На улице таким сдобным голоском спрашивает: «А позвольте узнать, вы не репортер?» Я на него барбосом: «Репортер. А вам что?» – «Да так-с... хе-хе-хе-с!.. Вот и мое тоже сейчас дельце разбиралось, может быть, слышали?» – «Слышал». – «И записали?» – «Записал-с». – «Эх, дела-то какие! А ведь совершенно понапрасну меня запротоколили... У нас, видите ли, околоточный... Да, позвольте, что же мы на улице стоим? Не угодно ли вам зайти со мной на минуточку... Здесь рядом есть ресторанчик... я бы вам все по порядку... Знаете, и время теперь такое, что на рюмку позывает. А тут замечательно готовят фляки по-польски. Право, не завернем ли?» Я моментально на себя строгость напускаю. «Да, пож-жалуй, я бы и сам, собственно говоря, не прочь, но только вперед уговор: платить пополам. У нас в редакции насчет разных угощений ни-ни!» Ну, конечно, уходишь из кабачка и сыт, и пьян, и четвертной билет в кармане.

Но повторяю, сорвался; сорвался потому, что кус не по себе заглотил. Был у нас в газете некий фрукт, вел он городскую хронику и писал воскресный фельетон. Прямо вам скажу – лев был, а не человек! Посудите сами, много ли на думе наколотишь да на двух тысячах строк фельетона? Ну, скажем, двести, триста рублей. А он лихача помесечно держал, обедал в «Бельвию» и у Бьянки, имел содержанку-французенку, одевался – как царь Соломон во всей славе своей. Пил одно шампанское – так прямо к супу ему и подавали флакон. Словом, рвач был.

Вот он однажды в редакции отзывает меня в угол. Таинственно. «Слушайте, говорит, есть дело. Можно обоим заработать тысячу. Хотите?» – «Ну, как не хотеть!» – «Хорошо, так вот вам готовые цифры. Поедете к Дехтяренке. Знаете?» – «Знаю». – «Через две недели он объявит себя несостоятельным, но теперь для него страшно важно, чтобы никто не знал, в каком у него состоянии дело. А мне по некоторым причинам самому неловко. Понимаете?» И дал мне самую подробную инструкцию.

Приехал я к Дехтяренке. «Принимают?» – «Принимают». – «Передайте карточку». А на карточке у меня: сотрудник такой-то газеты, корреспондент такого-то столичного листка, ли-те-ра-тор и сверху еще, на страх врагам, дворянская корона! Выходит. «Имею честь с господином Дехтяренко?» – «Эге ж, я самый, що треба?» – «А вот, видите ли, собираюсь я написать целый ряд популярно-экономических статей по вопросам южной промышленности. Конечно, одно из самых крупных мест будет отведено вашей фирме, широкий район которой...», словом – воз комплиментов. Он ничего, слушает, молчит, здоровенный этакий хохлище, сивый, усатый, глазки маленькие, жуликоватые. «Все это так, говорит, а только какое же мое тут дело?» – «А вот, говорю, собрал я кое-какие цифровые данные, вот в этой самой книжечке, и приехал для верности, на всякий случай: может быть, вы, достоуважаемый Тарас Кирилыч, что-нибудь до-ба-вите?» Засмеялся хохол, взял книжечку, ушел. Через минуту появляется. «Нет, говорит, тут ловко состряпано. Кое-что я, впрочем, до-ба-вил... Но печатать вы все-таки подождите трошки. Может быть, я через неделю вам другие цифры сообщу. До свидания».

Вышел я на подъезд, поглядел, – пять радужных. Мало. Тут, знаете, этот самый монастырский душевредный зверь и выстрелил в меня бомбой жадности. Приехал в редакцию – маг и волшебник меня ждет. «Ну, что?» – «Да ровно ничего, говорю, выслушал меня, посмотрел в книжку и вернул обратно: «Это, говорит, меня не касается». – «Слушайте, крокодил, вы не врите?» – «Ей-богу, как честный человек!..» – «Ага, говорит, когда так... хорошо же. Я ему пропишу ижицу». На другой день закатил статью. Да ведь как ловко, шельма, сделал-то, ни фамилии не назвал, ни имени, а каждому младенцу ясно, что Дехтяренко в трубу летит. Ну, тут плохая штука вышла. Дехтяренко, как прочитал номер, взъерепенился и сейчас же к губернатору; губернатор

³⁷ звезду — фр.

редактора к себе вызвал, и в тот же вечер меня, раба божьего, из редакции – киш на улицу, к чертовой матери.

IV

Два года после этого я существовал, но чем? – ей-богу, до сих пор не знаю. Не платил за квартиру, – это само собой, – должен по кабачкам, бегал в ломбарды. А главное, жил займами. Знакомых пропасть было в городе, еще по газетному делу. Тут я глубоко постиг изречение: остричь и занимать деньги надо внезапно. Встретишься с кем-нибудь на бульваре, поговоришь-поговоришь, а потом вдруг с таким небрежным видом: «Ах, кстати, нет ли у вас до завтрашнего дня рубля или двух?» Рубль – такие деньги, что ведь совестно не одолжить. И так, ничего не делая, умудрялся я не только не умереть с голоду, но еще каждый день к вечеру бывал в легком подпитии.

Изредка перепадала кое-какая работишка. Один профессор как-то пожалел меня, поручил мне привести в порядок его библиотеку и составить каталог. Славный был старикан, весь серебряный, красивый такой и доброты неопишуемой. Месяцев семь я у него устраивал библиотеку, а как вздумал он однажды ее проверить, – так и ахнул, бедняга. Заплакал даже. «Хоть скажите мне, говорит, ради бога, кому продавали? Я втрое, вчетверо дороже отдам, это ведь все редкости, единственные экземпляры!» Жалко мне его стало ужасно, сам я прослезился, только где же упомянуть? Продавал все больше на толкучке из рук в руки. А то на вес.

Женщины меня тоже поддерживали. И вот судьба моя какая проклятая: все мне попадались бабы самые душевные, самые кроткие – даже между кухарками, торговками, номерантками, даже между обыкновенными панельными девицами. Почему уж это так выходило – черт их знает! Я не знаю...

Но все-таки жить приходилось со всячинкой. Узнал я ход в ночлежки. Раз ночевал я во Флоровском монастыре (вообще мне пришлось довольно-таки много потереться около разных богоспасаемых мест). Это хоть и женский монастырь, но есть там спальные учреждения для особ того и другого пола, в отдельности. Дворянское отделение стоит гривенник. Мы эту странно-приимницу называли, по имени монастыря, отель «Флорида», а иначе – гостиница «Флоренция». Пришел я поздно, сильно дрызгнувши. Там, знаете, этакая длинная стеклянная галерея, и направо все каморки, на четыре человека каждая. Мне показали свободную койку, я и лег.

Рано утром дворник всех будит, по положению. Я не выспался, голова трещит с похмелья, зол – как сто дьяблов. Смотрю, напротив меня копошится молодой человек, острижен ежиком, борода а-ля Анри Катр³⁸, но белье на нем, с позволения сказать, заносено до последнего градуса. Я гляжу с неудовольствием: что будет дальше? Начинает молодой человек чистить сапоги. Чистил-чистил, кряхтел-кряхтел, наконец кончил: в сапоги хоть смотришь; потом принимается так же рачительно чистить пиджачок, желеточку; потом вдруг вынимает из-под матраса панталоны; оказывается, он на них всю ночь спал. Я спрашиваю: «Это вы что же, юноша, для сохранности? Чтобы не украли?» Он смеется. «Нет, это я для того, чтобы фасон не терялся, лучше будут сидеть». Я говорю: «Не все ли равно, как, в нашем с вами положении, сидят панталоны? Была бы только чистая совесть и рюмка водки». А он смеется и спрашивает: «Что такое совесть? Ее едят?» Понравился он мне, вижу – человек не скучный, предлагаю ему спорхнуть вместе в трактирчик. «Я, говорит, вообще-то приемлю и даже очень, но по утрам боюсь, будет пахнуть, а мне на дело идти». – «Э, пустяки, возьмите чаю, пожуйте, и все пройдет». Стал он колебаться: «Разве что в самом деле чаю?» А сам тем временем оделся: манишку бумажную с гвоздя снял, воротничок чистенький, галстук черный с синими звездами, – смотрю, ах ты, черт! – прямо член паргокского жокей-клуба из журнала мод, и даже на панталонах спереди складки. Я говорю: «Вот так превращение!» А он только улыбается: «Нам иначе нельзя».

Слово за слово, закатились мы с ним в один кабачок, в другой, в бильярдную... Наконец вижу – иссякли наши фонды окончательно, и расплатиться нам нечем. Тогда он спрашивает, который час. «Четыре? Подождите меня с четверть часа». Шапку с дворянским околышком на голову и в дверь. Повесил я нос на квинту и говорю самому себе: «Ну, старый дружище, теперь

³⁸ под Генриха Четвертого — фр.

центр тяжести перенесен на тебя. Очевидно, дело без участка не обойдется. Ловкий, однако, пассаж устроил юноша». Но тем не менее жду. Спросил газету. Проходит четверть часа, и двадцать минут, и полчаса, и больше... Я уж успел даже все объявления перечитать: сбежал черный пудель, ищут репетитора... Признаюсь, упал духом. Лакей ходит мимо меня с самым наглым видом. Подойдет к столу и давай салфеткой у меня под носом скатерть обмахивать и посуду без нужды переставлять. Что делать? Набрал я уж было воздуха, чтобы счет спросить, как вдруг вбегают мой молодой человек. «Что? Заждались небось?» – «Н-да-а, признаться...» – «Ну, это пустяки. Человек, сколько следует?» – «Два двадцать». – «Дай еще бутылку красного вина и поллучи». Бряк – золотой на стол.

Сдружились мы с ним за этот день, а вечером он мне во всем открылся. «Дело мое, говорит, очень простое, хотя и не такое легкое, как кажется спервоначалу. Я – стреляю». – «То есть как это стреляете? Просите на бедность?» – «Н-нет, не совсем так. Просят на бедность на улице личности небритые, с сизыми носами и в рубище; для таких двугривенный – богатство Шехеразады. А вы сами посудите, кто же мне рискнет предложить двугривенный, если у меня форменная фуражка, чистенький костюмчик и вдобавок хорошая дворянская фамилия? Являюсь я прямо на дом, приказываю о себе доложить, представляюсь, как равный, за ручку. «Прошу извинить меня за беспокойство, временно нахожусь в стесненных обстоятельствах, со дня на день ожидаю получения места...» и прочее и прочее... Как у него хватит духу дать мне меньше рубля? Ни в жизнь не хватит».

Понравилось мне все, что он рассказывал. Попробовал и я на другой день эту тактику. Страшно было сначала, но ничего, понемногу обтерпелся, привык, и стал стрелять почем зря. Если бы не заболел, так бы и не отстал от этой жизни. Оно – и унижительно и опасно, но занимательно и всегда деньги в кармане – большие, легкие деньги.

Рассчитываешь всегда на психологию. Являюсь я, например, к инженеру – сейчас бью на техника по строительной части: высокие сапоги, из кармана торчит деревянный складной аршин; с купцом я – бывший приказчик; с покровителем искусства – актер; с издателем – литератор; среди офицеров мне, как бывшему офицеру, устраивают складчину. Энциклопедия!.. Лавируешь и скользишь, как змея, каждую минуту начеку, весь внимание: не сорваться, не переборщить, не впасть в нищенский тон. Все время смотришь ему в глаза, нет, и не в глаза, а в переносицу – так, по крайней мере, и сам неловкости не испытываешь, и ему кажется, что это у тебя такой прямой и честный взгляд бедного труженика, преследуемого судьбой. Главное – жди, пока он не сконфузится: за тебя, или за себя ему станет стыдно, или за свой роскошный кабинет. Самого твердого человека можно в конце концов так застыдить, что он глазами забегает и начнет рукой в кармане нащупывать портмоне. Тут сейчас же нажми педаль, тут уж не бойся перестараться. Все равно он тебе в душе не верит и гадок ты ему до последней степени, но уж не дать он не посмеет, не решится. Здесь – психология.

Правда, бывали обратные случаи. Стрелял я однажды у члена какого-то не то Славянского, не то Балканского общества в Одессе. Нет, позвольте, не Славянского общества, а – я потом узнал – он сам какое-то общество затевал. Был он, кажется, чех, или хорват, или что-то в этом роде. Общество же его было такое: чтобы собирались в известные дни, по праздникам, дети и взрослые – по преимуществу из простого народа – в большое помещение и, между прочим, чтобы никому запрету не было: и студент, и офицер, и гимназистка может прийти. Нужно также высшее начальство заинтересовать, – хорошо, если губернатор посетит, архиерей, полицеймейстер; словом, идиллия под сенью деревьев. И чтобы все в этом обществе, под управлением этого самого далмата, пели бы песни – исключительно патриотические и духовно-нравственные. Ох, сильно я подозреваю, что все это духовно-певческое общество было не что иное, как та же стрельба, только в более широком масштабе. По крайней мере, известно мне наверное, что писал он постоянно письма разным высокопоставленным особам и все клячил пособия на поддержку патриотической идеи.

Размахнулся я к нему. Ба-альшой, рослый барин, борода по грудь, лицо этакое открытое, благожелательное, лоб лысый. «Вы – председатель этого прекрасного, симпатичного общества?» – «Как же, я, я, я! Весь к вашим услугам». И обеими руками жмет мою руку. Начал я ему петь; пел-пел, а он все ласковее становится и головой в такт качает, точно фарфоровый слон. Наконец говорит: «Все это прекрасно; я, конечно, готов, чем могу, но мне, простите, надо быть уверенным, то ли вы именно лицо, каким рекомендуетесь. Позвольте посмотреть ваш паспорт». Коль-

нуло меня что-то в сердце, но по неопытности и легкомыслию вынимаю из бокового кармана вид, – в стрелковом деле его всегда надо при себе носить, – подаю ему. Он моментально паспорт в стол, дринь! – ящик на ключ и пальцем в электрический звонок. «Даша! Сходите позовите сейчас же полицию!» Стал я его молить, на колени становился, руки его волосатые целовал – куда тебе! Заговорил я было с ним потверже, а он преспокойно вынул из другого ящика револьвер и положил перед собой. «Попробуйте», – говорит. Энергический мужчина. Пришлось мне тогда отсидеть два месяца за профессиональное прошение милостыни.

Но это был случай единственный. О других подобных я даже и не слышал никогда. Потому что, – говорю это, как перед богом, положа руку на сердце, – потому что люди, если только их брать не гуртом, а по отдельности, большею частью хорошие, добрые, славные люди, отзывчивые к бедности. Правда, помогают они чаще не тем, кому следует. Ну, что ж поделаешь: наглость всегда правдоподобнее нужды. Чему вы смеетесь? За ваше здоровье!..

Потом, еще чем эта жизнь была приятна, так это свободой. Надоело в одном городе – стрельнул на дорогу, иногда даже билет второго класса выудишь, уложил чемодан, – айда в другой, в третий, в столицу, в уезд, по помещикам, в Крым, на Волгу, на Кавказ. Денег всегда масса, – иногда я по двадцати пяти рублей в день зарабатывал – пьешь, женщин меняешь, сколько хочешь – раздолье!

Правда, приходилось временами поджимать живот. Бывало, приедешь в город, где все адреса испорчены: или слишком много стрелков съехалось, или некоторые пьяные являлись, или кто-нибудь влопался в полицию и попал в газеты, и – стоп! – не везет совсем. Жмешься, жмешься, из гостиницы в ночлежку переедешь, одежду лишнюю спустишь, белье... Тогда уж приходилось не брезговать на улице палить. Тут, я вам скажу, выработался шаблон. Надо стрелять быстро, чтобы не надоесть, не задержать, да и фараоновых мышей опасаться, поэтому и стараешься совместить все сразу: и кроткость, и убедительность, и цветы красноречия. Бьешь на актера, например: «Милостивый государь, минуту внимания! Драматический актер – в роли нищего! Контраст поистине ужасный! Злая ирония судьбы! Не одолжите ли несколько сантимов на обед?» Студенту говорю так: «Коллега! Помогите бывшему рабочему, административно лишённому столицы. Три дня во рту маковой росинки не было!» Если идет веселая компания в подпитии, вали на оригинальность: «Господа, вы срываете розы жизни, мне же достаются тернии. Вы сыты, я – голоден, Вы пьете лафит и сотерн, а моя душа жаждет казенной водки. Помогите на сооружение полдиковинки бывшему профессору белой и черной магии, а ныне кавалеру зеленого змия!» Ничего... засмеются и дадут. Часто больше, чем ждешь!

Какие козыри между нами были! Один, например, по фамилии Заблонский: высокого роста, красавец, усы и бороду брил, лицо полное, нос орлиный – ну, точка в точку первый любовник со столичной сцены! Тот тысячи четыре в год наколачивал. И не пил, с женщинами не путался. Была у него слабость – шикарно одеваться. Сюртук всегда самый модный, фрак на всякий случай, коричневые перчатки, костюмчик цвета этакого электрик, трость с серебряным набалдашником, пальто сезонное балахоном. Гордится: «Я с пятнадцати лет своим родным ни копейки не стою». Удивительно, как он знал географию России! Бывало, назовешь ему для шутки какой-нибудь дрянненький уездный городишко, а он – моментально: «Стоит на реке Вихляди; вальцовая мельница, мукомол – светлая личность; председатель земской управы – такой-то, дает, но скуп; исправник свирепый, предводитель дворянства, когда трезв – гонит, пьяный – даст, сколько просишь». И так все подробности.

Чудной народишка! Были между нами такие, которые сами не стреляли, а только указывали адреса, служили вроде справочных книжек. Тот всегда выходит вместе с тобой на дело; идет по улице и вдруг начинает в нос бормотать, таинственно: «Направо каменный особняк, Шпехт Арнольд Карлович, архитектор; непременно лично; будет сначала ругать скверными словами; не смущайся, уговаривай его, как верблюда; пятерка». Или: «Аристархов, Павел Павлович; дома не дает, надо ловить в земельном банке, от трех до пяти; не терпит длинных разговоров». «Гирчич, пароходчик, мимо; избитое место, ни одного пенса». «Маргарита Францевна Паули; прекрасная женщина; к ней надо письменно, отличным почерком и книжным языком; любит хорошую литературу». И так далее. Понятно, такому путеводителю полагается половина или треть, смотря по условию.

Были и такие, которые только писали письма для слабых в грамоте. Тут опять шаблон: «Премного всеми уважаемая, милостивая государыня! Ваше великодушное сердце и сострада-

тельность к ближним, обездоленным судьбой, дают мне смелость» и прочее и прочее. Таких писем с собой носят на всякий случай пять или шесть, без имени, кому попадет. Другие при письме влагают свой паспорт и потом приходят за ним.

Были старички, которые в двух-трех местах получали ежемесячно пенсию и этим жили. Для такого старца главное – благообразная наружность, украшенная сединами. Да у них какие и потребности! Чай, табак, рюмка, водки, газета – и больше ничего,

Был еще, помню, некто Богоявленский, из семинаристов; умнейшая, золотая голова, но на вид – чистый сапожник и притом косою. Тот, бывало, сидит целый день у себя в номере, в одном белье, и пьет, и пишет письма. А около него всегда несколько человек ютятся для рассылки. Ах, как он писал! Прежде всего почерк – круглый, черный, – писал он тушью, – красоты неописанной и четкий, как самая крупная печать. А потом – слог. Делал он письмами чудеса. Известно, например, что духовную особу нет никакой возможности растрогать – это уж факт! Кремни. Мы их всегда избегали. А он закатит какому-нибудь архипастырю страниц восемь, да с текстами разными, да и тексты-то подбирал не такие, что «рука дающего не оскудеет» или «просите, и дастся вам», а, например, из «Премудростей сына Сирахова», из пророка Варуха, да еще в скобках обозначит: глава такая-то, стих такой-то. Блестящие писал письма и отказа не знал никогда.

Нет, денег никто не копил, все проживалось. Женщины – те иногда откладывали на сберегательные книжки, но и то до первого любовного увлечения. У женщин манера известная – стрелять на швейную машину. Помогают им иногда довольно крупно, но если хорошенькая – редко задаром.

Если хотите, пожалуй, и интересно. Но только сначала, а потом... Уж очень народ они сволочь, эти стрелки, хуже арестантов. У тех, по крайней мере, есть хоть какое-нибудь товарищество, дерзость, удаль есть. У этих – ничего. За рубль продадут и выдадут друг друга, напако-стят, донесут, насплетничают. Завистники, лгуны, трусишки, жадные. Да и вообще я вам скажу: сколько я шатущего народа ни видал, нет хуже, как те, которые из образованных свихнулись: все эти корнеты отставные, пропившиеся студенты или вот еще – актеры. Мразь! До сладенького куса охочи, а работу ненавидят всеми фибрами души. Что ж, я ведь и о себе здесь говорю, я правду говорю. Эх, не то, что настоящие бродяжки, по призванию. Тот лежит на солнце кверху пузом, и ничего ему не надо. Лопают воблу, черный хлеб с арбузом. Отлежался – пошел на пристань хребет ломать. Ему что: ничего он не боится, никого не уважает, никому не кланяется. И надо признаться, глядели они на нас, стрелков по профессии, как на гадов. Да что! Воришки мелкие, марвихеры, и те нас презирали. Тоже ведь и с ними приходилось в ночлежках встречаться.

V

Ну-с, попал я таким стрелковым порядком в Крым. Крым, знаете, да и вообще юг, это настоящее гнездо всех шатунов и аферистов; кто раз побывал там, того уж непременно опять туда потянет. Тепло, море, горы, красота, деньги кругом шальные. Оттого там всегда так и кишит бездельный народ.

Застрял и я. С одной стороны, с бабой связался, а кроме того, стала у меня идти кровь горлом. Вот я там и пустил корни.

Сначала везло мне, но вдруг оборвалось, Наступила зима, холодно, а я совсем ослаб, ночью потею, днем трясет меня, начну кашлять – чуть с ног не валюсь. Беда! Главное – сезон кончился, золотые овцы уехали в Москву, в Петербург, осталась только одна болящая голь. А местным жителям, аборигенам, так сказать, моя личность до тошноты примелькалась. Встречают сухо: «По-звольте-с, это опять вы? В четвертый раз? Извините, я не Вандербильт, чтобы всех содержать на субсидии. До свидания-с». Или иное что-нибудь в этом духе.

Женщина меня бросила. Красивая она была, бестия, горячая, злая, нетерпеливая, алчная, – одна такая мне за всю жизнь и попала. Жить любила широко. Полька. Ее звали Зося. Напоследок оскандалила меня на улице, – рассердилась, что я ничего не достал. «Ты, кричит, стрелок несчастный, гадина острожная, дохлая падаль!» Ушла и домой не вернулась.

Потерял я голову. Кое-как, по милости одного капитана, перебрался пароходом из Крыма сюда. Здесь пошло еще хуже, просто – шабаш! Зима суровая, хожу в летнем пальтишке, сапоги дырявые, от кашля корчусь в три погибели. А ветер с моря жарит, – ух! – так и шатает во

все стороны. Как я жив тогда остался – удивляюсь! И хуже всего – всякую смелость потерял. Прошу – голос срывается, слезы душат. И тут-то я узнал, что на истинную, заправдашную нужду трудно найти сожаление. Настоящее горе всегда почему-то ненатуральным выходит. «Ты пьян, мерзавец, от тебя несет, как из погребя, ступай prospись». А я не то что не пил – не ел со вчерашнего дня.

Пошел я к доктору. Нарочно со злобы выбрал самого дорогого. И что вы думаете? – оказался распрекраснейшим человеком. Не говорю уже, что лечил задаром. Надо сказать, что на докторов мы никогда не жаловались. Если уж очень важный, то, бывало, скажет: «Эх, некогда мне с вами возиться, вот вам карточка, идите к моему ассистенту». Да еще вдогонку крикнет: «Постойте, куда же вы? Вам ведь деньги нужны? Нате и проваливайте поскорее». А этот – просто душа-человек был, хоть и жид. Лечил даром, деньги давал на лекарство, костюмами снабжал, которые, знаете, второго срока. Пальто подарил теплое на шерстяной вате.

Стал я понемногу поправляться. Однажды мой доктор и говорит: «Слушайте, сэр, не все же вам без дела околачиваться; у меня есть для вас в виду место. Хотите поступить конторщиком в «Южную звезду»?» – «Помилуйте, с руками, ногами!» – «Ну, так отправляйтесь туда завтра к одиннадцати часам, спросите хозяина и скажите, что от меня пришли. Он уже знает».

Поступил я в гостиницу и немного вздохнул. Обязанность легкая – сиди и пиши отъезжающим счета. Жалованья двадцать пять рублей, стол, чай – хозяйский, номер, правда, под лестницей, как у Хлестакова, но все-таки номер, свое логово. Оглядевшись, я еще несколько на счетах наживал. Делалось это очень просто: жильцу пишешь счет преувеличенный, а в книгу заносишь настоящий – разницу себе. Недоразумения выходили очень редко. Случалось, вломится в контору какой-нибудь ольгопольский помещик в парусиновом балахоне и начинает делать гармидер, а ты ему моментально с любезной улыбкой: «Ах, да неужели? Такому почтенному гостю? О, это мы сейчас же расследуем... Знаете, сто двадцать номеров, суматоха...» Заговоришь его, он и размякнет.

А все-таки положение было довольно угловое. Стал я понемногу оглядываться вокруг себя и вдруг вижу, что лакеи в сто раз лучше моего живут. Худо-худо четыре-пять рублей в день зарабатывают, а то шесть, семь – даже десять, при удаче. И надо отдать справедливость, ко мне они относились довольно-таки санфасонисто³⁹.

Подумал я, подумал, и вот как-то раз освободилась одна лакейская вакансия, пошел я к хозяину и попросился. Тот сначала было глазами захолопал. «Помилуйте, вы – бывший офицер, вам ведь «ты» будут говорить: да, знаете, и мне будет неловко с вами обращаться, как с официантом, а делать разницу – вы сами понимаете – неудобно». Но я его успокоил тем, что открыл ему часть моей жизни – не самые, конечно, темные места, но все-таки рассказал кое-какие приключения. Согласился. Умный был мужик.

На первых порах крепко меня лакеи утесняли: все-таки вроде как благородный, был офицером, недавно в конторе барином сидел. Но ненадолго. Во-первых, я и сам с острыми зубами, а во-вторых, есть у меня дорогая способность: во всякую жизнь вживаться. И еще чем я внушил им уважение – это познаниями по судебной части. У лакеев постоянно дела у мировых судей и в съезде. Все больше в области дебоша и неуплаченных счетов.

Трудно также было привыкать к службе. Лакейское дело только с виду кажется таким легким. Прежде всего целый день торчишь на ногах – бывают дни, что и присесть некогда. Старые лакеи меня, впрочем, с самого начала учили, что лучше и совсем не садиться, а то разомлеешь и весь разобьешься. Первое время, когда я приходил домой, так ныла спина и ноги, что хоть кричи.

Потом память нужна особая: на какой стол подаешь, что на кухне заказано, сколько марок за буфет надо отдать, а когда счет потребовали, надо все сразу вспомнить. Перепутаешь – сердятся.

Но и тут я скоро освоился и стал работать не то что не хуже, а даже лучше других. Страшно меня полюбили постоянные гости, особенно те, которые в кабинеты ездили с порядочными дамами. Должно быть, оттого, что был я в жизни все-таки поопытнее прочих. Знаю свое дело: глаз не пялю на даму, без дела в кабинет не лезу, у двери не торчу, держу себя скромно и свободно. Другой и старый официант, зубы проел на лакейском занятии, а не понимает, как в этих

³⁹ бесцеремонно — фр.

случаях надо служить. Ведет себя каким-то заговорщиком, чуть не подмигивает. Лезет без спросу занавески спускать в окнах. «Мы, мол, понимаем, для чего вы приехали. Понимаем, но молчим». Ну, а я всю эту политику скоро постиг. Любили меня и те компании, в которых широко кутили. Бывало, навезут певичек, шансонеток этих самых. Такие безобразия делают, что другой только плюнул бы, а я ничего – служу, точно вокруг меня не люди, а неодушевленные предметы. И мои гости так обыкновенно и говорили официантам: «Нет, голубчик, на тебе лучше на чай, а ты ступай и позови сюда служить Андрея, мы к нему привыкли».

Когда у нас в гостинице кончались ужины, то у буфета оставался только один дежурный лакей, на случай если из номеров что потребуют. А мы, большею частью, фраки в узелки и уходили в рестораник «Венецию» посидеть час-другой, поиграть в карты и на бильярде.

Как мы там с прислугой обращались, боже мой! Развалимся на стульях, ноги чуть не на стол положим. «Эй, ты, лакуза! шестерка!» Других и названий не было для служащих. «Не видишь, с... сын, кому служишь? Какой ликер принес? В морду вас бить, хамов». Тот, конечно, видит, что над ним кочевряжится свой же брат, холуй несчастный, но, по должности, молчит. И на чай при этом мы давали туго.

Ух, как мы господ промеж себя чихвостили, которые к нам в ресторан ходили. Да ведь и то, правду сказать, господа думают, что мы – вроде манекенов, ничего не видим, не слышим и не понимаем. А от нас ничто не скроется. И кто на чужой счет выпить любит, и кто деньги тайком от товарищей в узелок платка завязывает или потихоньку в башмак опустит, и что один про другого говорят в отсутствие. А уж если дама в кабинет пришла сначала с одним мужчиной, а потом с другим, то, будьте покойны, мы отлично разберем, который муж и который так. И не было у нас для них других слов, как сволочь, шантрапа и прохвост.

Еще у нас был любимый разговор о хозяевах гостиницы: как кто из них пошел в гору. Вот где я узнал настоящие «Тайны мадридского двора»! Что ни имя – то преступление: грабеж, убийство или еще хуже.

Не угодно ли, вот вам коллекция. Ищенко: отель «Берлин», первоклассная гостиница, в ресторане по вечерам играют румыны, двадцать тысяч чистого дохода. И сейчас же историческая справка: служил швейцаром в публичном доме, через три года открыл темный кабачок, через пять – «Берлин», теперь держит своих рысаков на бегах. Замечательно, что именно в том доме, где он был швейцаром, видели в последний раз помещика Оноприенко, который – может быть, помните? – исчез бесследно. По этому поводу держали Ищенко шесть месяцев в тюрьме, но выпустили по недостатку улик.

Цыпенюк и Лещенецкий. Один держит буфеты на пароходах, другой – гостиницу «Варшава». У обоих собственные дома. Цыпенюк – гласный. У Лещенецкого – содержанка венская этуаль. А раньше оба служили коридорными в «Киеве». При них один купец из Москвы скоропостижно скончался в номере и как будто не по собственному почину. Цыпенюка схватили, – царапины у него оказались на руках и на лбу, – мариновали в остроге полтора года, но ничего не могли с ним поделаться: уперся, как бык. Тоже выпустили.

Теперь – Казимир Хржановский. Сад «Тиволи» с кафешантаном. Ездит на автомобиле. Занимался сводничеством; трех своих сестер пустил в оборот, каждую по пятнадцатому году, чем и положил основание дальнейшей карьере. Нагурский был на содержании у шестидесятилетней старухи. Малиевич – меблированный дом на Большой Дворянской, триста номеров – то же самое, только еще хуже, стыдно говорить, И так далее. Словом, все «Уложение о наказаниях» в лицах. Да и вообще, должен заметить, что я в эти рассказы о мужичках-простаках, которые приходят в столицу с лаптями за спиной, а умирают в тридцати миллионах, – я в эти рассказы плохо верю. В фундаменте таких внезапных богатств лежит всегда мошенничество, если не кровь.

Вы думаете, мы их осуждали? О, наоборот. Только, бывало, и слышишь: «Эх, молодчище, как ловко обтяпал! Чего зевать? Дай мне в руки такой случай, я бы и сам по голове кокнул!» Разгорались мы все, когда об этих вещах говорили.

VI

Особенно один. Был у нас такой официант, Михайла, хохол... Виноват, господин буфетчик, сейчас кончаем. Пожалуйста, господин, меня он не послушает, а вы попросите у него еще

одну бутылочку, последнюю. Скажите, что, мол, единым духом. Сейчас и истории моей конец...

Вот так. Мерси. Чего ты, болван, на часы вылутился? Слышал – хозяин разрешил. То-то!

Ире гезундхейт!⁴⁰ Был этот Михайла человек сложения жидковатого, характером – меланхолик, по происхождению – из Мазеп. Обожал до безумия церковные службы; все, бывало, мурлычет: «Изра-иллю пеше-ходя-ашу». Говорить много не любил, но когда эти разговоры пойдут, его и силой не оттащить. Да как, да что, да куда деньги спрятали – даже надоест иногда. И глаза станут черные такие, масляные. Служил он лакеем в первом этаже.

Почему я так ему понравился, уж не умею сказать. Должно быть, общая у нас судьба была, и потому тянуло нас друг к другу. Стали мы с ним как будто от прочих товарищей уединяться. И все у нас разговор об одном, все об одном. И наконец мы оба в этих разговорах последний стыд потеряли. Некоторым образом вроде как голые ходили друг перед другом. Настоящего слова еще не сказали, но уже чувствовали, что нам даром не разойтись.

А я к тому времени опять прихварываться начал. Перемогался изо всех сил. Случалось – подаю на стол, вдруг как забьет меня кашель. Сначала держусь, а потом, когда не станет возможности, брошу приборы на стол и бегом в коридор. Кашляю, кашляю, даже в глазах потемнеет. Этаких вещей ведь в хороших ресторанах не любят. Ты, скажут, или служи, или ступай в больницу ложись. Здесь не богадельня. У нас публика чистая.

Так и я чувствовал, что мне вот-вот по шапке дадут. И думал я: опять улица, холод, клопы в ночлежках, конская колбаса, грязь, гадость. Кстати, и моя Зоська ко мне вернулась в эту пору, – пронюхала, гадюка, что из меня опять можно деньги сосать. Есть деньги – она спокойна, ласкова, даже чересчур ласкова, так что невмоготу бывало, а нет – кричит мне при соседях: «Лакей вонючий! хам! шестерка! продажная тварь!» Только у ней тогда и оказывалось слов.

Самое тяжелое это время было в моей жизни, на что уж я, кажется, сквозь всякие горнила протлел. Бывало, в мой выходной день брожу по улицам и мечтаю: вдруг кто-нибудь бумажник потерял, а я найду, а в нем три тысячи... Или вдруг подходит ко мне старенький, добренький миллионер и спрашивает с участием: «Почему у вас такой грустный вид, симпатичный молодой человек? Скажите откровенно, что вас тревожит? Может быть, я смогу помочь вам?»

В это время и приехал к нам в гостиницу этот человек, царствие ему небесное. Что? Странно вам, что я крещусь? Нет, вы не думайте: я к ночи в господа бога очень верую. Днем, правда, впопыхах и в пьянстве, забываю его, моего благодетеля.

Рассказывать ли дальше? Неприятно вам это будет, тяжело?.. Ну, если так, буду продолжать по порядку.

Был он крупная шишка. Управлял какими-то имениями в Крыму и на Кавказе; на Волге, под его начальством, состояло более двадцати тысяч десятин, кроме того, что-то орудовал с нефтью и с железом. Видел я его каждый день. Утром, бывало, выйдет к завтраку – в час или в два, – просто страшно на него смотреть. Огромный, опухший, лицо земляное, под глазами черные мешки, а глаза оловянные, бессмысленные, чуть не выскакивают наружу. Дышать ему очень трудно было; что-то такое делалось у него с легкими или с сердцем, – кажется, была грудная жаба. Ляжет грудью на стол, локти растопырит и дышит не то что горлом, а спиной, и животом, и головой. Набирает воздуха – голову и грудь подымет вверх, рот раскроет, а как выпустит воздух, так весь и рухнет опять на стол. Так и трепыхается, бедный, с полчаса. Но ничего: ошаршит перед завтраком сколько-нибудь водки, бутылку гретого красного вина, глядишь – и поправился и повеселел.

Крупные он, должно быть, дела делал, и все с шуточками, с приговорками, за обедом, за шампанским. Но и в карты сильно играл и развратничал широко. Щедрый был. Много от него нашему брату перепало.

Остановился он в четвертом номере, у Михайлы, в бельэтаже, и странно, – с этих пор у нас с Михайлой нашу дружбу – чик! – точно ножом отрезало. Охладели друг к другу – и шабаш. Только раз, помню: кончил я службу и иду вниз по лестнице, а он меня сверху кличет: «Андрей!» Гляжу, он через перила перевесился и манит меня пальцем. И лицо все у него кривится, как у дьявола: не то смеется, не то нарочно рожи строит. Я поднялся к нему, спрашиваю: «Что?» А он говорит: «Вчера Николай Яковлевич (это так номера четвертого звали), вчера Николай

⁴⁰ Ваше здоровье! — нем.

Яковлевич пьяный вернулся, и, когда лег, сейчас же захрапел, и двери не успел запереть. Я его толкал, толкал: «Не угодно ли, мол, раздеться?» Ку-да!» Понял я, поглядел на Михайлу, он на меня. «Так что же?» – шепотом спрашиваю. А он этак, с растяжкой: «Да н-ниче-го». – «Прощай, говорю, Михайла». А он опять так же лениво: «Прощай, Андрей».

А потом и случилось это самое. Подал я вечером в красный кабиет устрицы, матлот из налима и какое-то белое вино и стою в коридоре около часов. Было четверть первого. Вдруг точно меня кто-то сзади толкнул в спину. Обернулся, гляжу – в конце коридора стоит Михайла. Лицо белое, – такое белое, что от манишки не отличишь. Стоит – и ни звука. И знаете, – удивительно: сразу я понял, в чем дело. И ни он мне не сказал ничего, ни я ему. Но заметил я, что у него на руках белые перчатки.

Он впереди шел, я сзади. Подошли к номеру четвертому. В коридоре ни души, и уж лампы потушены. Я шепчу ему: «Тише!» А он нарочно со всего размаха как дернет дверь! И сейчас же меня вперед пропихнул и запер дверь на ключ.

Темно было в номере, – так темно, что я Михайлу сразу же потерял, да и сам не могу понять, куда я попал, где двери, в какую сторону идти? Заблудился. Вдруг слышу – чиркнули спичкой, огонь. Гляжу, Михайла в комнате около зеркала зажигает свечку; думаю: «Что же он, болван, такое делает?» А он со свечкой моментально на перегородку в спальню. Слышу, говорит: «Барин, а барин, Николай Яковлевич, извольте раздеваться, неудобно вам так будет. Позвольте, я вас в кроватку уложу».

Помолчал немного и вдруг опять: «Эй, ты, бугай черкасский, вставай! А то как дам каблуком в живот!» И опять тихо, только слышать, дышит барин тяжело так, с натугой. Вдруг Михайла зовет меня: «Андрей, поди сюда».

Вошел я за перегородку. Лежит Николай Яковлевич на спине, живот огромный, как гора, рот раскрыт, и по бороде слюни потекли, одна нога на кровати, другая вниз свесилась. Ох, как же он дышал! Видали рыбу, когда ее на берег вытащат? Точь-в-точь. Видно, попадала ему в легкие всего одна чайная ложечка воздуха, так он ее ртом, и носом, и горлом... Стонет, кричит, нудится, и лицо все искривилось, а проснуться не может...

А Михайла опять: «Просыпайся, что ли, нечистая душа! Вот мы вдвоем пришли тебя раздевать!» Да с этими словами моментально хват у него одну подушку из-под головы. Тот ничего, только головой, как теленок, мотнул, всхлипнул и опять давай воздух ловить. Обернулся ко мне Михайла, страшный такой, точно зверь. «Садись, говорит, на ноги и держи». А сам подушку ему на лицо и – навалился.

Что Михайла делал, я не видал, не знаю: спиной он ко мне был. Помню, дрыгнул барин ногами раз, два, три, но совсем слабо, потом как будто икнул один раз, – и все. Должно быть, и сам не заметил, как умирал. Был я точно в оцепении. Чувствую, тянет меня Михайла с кровати: «Слезай!» Встал я, ничего не понимаю! Вижу, Михайла шарит по комодам, по столам, в одежде; вижу, Николай Яковлевич лежит уж на двух подушках и ноги вместе, точно спит, а я, как идиот, ничего не понимаю. Помню только, что в другой комнате все какой-то стакан дребезжал: должно быть, ехала по улице телега.

Потом стало опять темно... Михайла мне шепчет: «Пойдем... кончено...» У меня ни страха, ни жалости, – одеревенел весь. Подошли к двери, послушали – тихо, вышли в коридор – никого! Поглядел на меня Михайла и говорит: «Эх, дурень, на что ты похож! Иди ко мне в буфетную, выпей водки». Я ушел, а он еще остался в коридоре.

Знаете, сколько времени это все заняло? Восемь минут! Меня даже ни в одном кабинете не успели хватиться. Я нарочно в оба забежал и спросил: «Не вы изволили звонить?» – «Нет, говорят, мы не звонили». И ведь сложилось же так: ни один официант не заметил, что я уходил. И весь этот вечер я служил точно заводной автомат, даже не сбился ни разу, даже не кашлял.

Не сердитесь, господин хозяин. Сейчас уходим. Вы себе гасите лампы, мы сейчас.

Все равно мне осталось два слова. Пришел я домой. Зоська, по обыкновению, на меня наскочила было с руганью, но мне – можете себе представить – все равно, точно машине! И она вдруг притихла. Разделась молча и легла около меня и ко мне прижалась. И долгое время я чувствовал, как ее ресницы мне лицо щекотали.

Спал я в эту ночь чудесно. Даже ни разу не проснулся. Это уж потом, в тюрьме, мне все мерещилось, как его ноги у меня под руками дрыгали и как рядом стакан дребезжал... Зато как утром проснулся, так и ошалел от ужаса. «Господи, думаю, да неужели же *это* было не во сне?

Ведь человека, человека мы убили с Михайлой!» Оделся я.

Уходим, уходим, не раздражайтесь. До свидания, хозяин. Спасибо вам...

Эка, какой ветрило! Брр!.. Чтó, не надоел я вам своими приключениями? Ну, я сейчас кончу.

Оделся я, вышел на улицу. Было утро раннее, часов шесть-семь. На улицах никого не было. Толкнулся я к Михайле – говорят, дома не ночевал, должно быть, в гостинице остался. В ресторан мне идти рано, да и не могу туда идти – противно. Ходил я, ходил по городу. Отворили турецкие кофейни, там посидел, чашку кофе выпил черного. Гляжу на людей и думаю: «Все, все вы счастливые, у каждого свое дело, у каждого чистые руки... а я!»

Потом пошел на бульвар. Солнце взошло. Сыро на дорожках. Гимназистки идут в гимназию – маленькие болтушки, личики свеженькие, только что вымытые... Сел я на скамейку и задремал. Вдруг вижу, идет городовик и этак сызбоку на меня посматривает, точно ворона на мерзлую кость. А у меня сейчас же мысль: «Подозревает»... Подошел он ко мне. «Сидеть, господин, на бульваре каждому дозволяется, которые проходящие, этого мы не запрещаем, а чтобы спать – нельзя. У нас пальцимейстер. Строго».

И что тут такое со мною случилось, – я до сих пор понять не могу. Встал я со скамейки и говорю ему: «Городовой, веди меня в участок, я этой ночью человека убил».

Не поверил он сначала. «Иди, проспись. Вино в тебе вчерашнее бродит!» Подумал я было одну секунду: «Может быть, это сама судьба благоприятствует? Уйти разве?» Но почему-то не смог уйти. Отвел он меня.

Вот и все. Михайла упирался сначала, но под конец не выдержал, сдался. Улик против него никаких не было, кроме меня. Ох, какой же твердый человек он был! Представьте себе, пока я ходил к нему водку пить, что он сделал. Гостиница у нас была хоть первоклассная, но старинной постройки, и на дверях еще оставались внутренние крючки. Так он, прежде чем уйти, поставил крючок стоймя да как дверью-то хлопнул, так крючок и запал сам собой в петлю. Руки у него осматривали – ни одной ссадины: недаром он перчатки тогда надел. Словом, не признайся я, никогда бы на нас и подозрения не пало.

Защитник у меня был знаменитый, из Петербурга. Он так и говорил: «Во всех действиях подсудимого видна бессмысленность, слабоволие и слабоумие. Его одинаково можно вовлечь и в хорошее и в дурное». Здорово он во мне разобрался – до нитки. И про отца вспомнил, и про Юшку, и про разные мои болезни, и про Зоську. Меня оправдали, а Михайлу, как главного зачинщика, а также за его упорство, закатали на шесть лет. Держали меня потом полгода в сумасшедшем доме, но решили, что я хоть и не того... психически... но безвреден, – и выпустили на волю. Вот и все.

Я знаю, господин, что таких вещей вообще не рассказывают, и теперь поэтому нам с вами дорога: если вам налево, то мне направо, и наоборот. Вы уж не сердитесь, но я еще раз злоупотреблю вашей гуманностью. Знаете: ночлежка, завтра рюмку водки, пожевать что-нибудь... О, куда же мне так много!.. Ну, а впрочем, мерси бьен⁴¹.

Куда я пойду? Да пока что на улицу. Я – человек с улицы. Не скрою от вас, что, по щедротам вашим, завинчу сегодня в какую-нибудь веселенькую трущобку. Вы говорите – подняться? Э-эх, что там! Мой цикл свершен окончательно, и никуда мне больше нет ходу, кроме улицы.

Знаете ли-с... Позвольте, я вам краткую притчу... Все мы у господа бога нашего квартиранты. Но одни занимают бельэтаж и платят за десять лет вперед, и старший дворник при виде их не знает, как ему лучше кувыркнуться. Другие живут себе под крышей, но честно, аккуратно, и просрочку считают для себя несмываемым позором. Есть и такие, которые самовольно контракт разрывают, – это уж прямо скандалисты... А есть и такие, вот и я в том числе, которые и денег не платят, и осточертели всем до черта, а выжить их с квартиры никакими силами нельзя.

Вот так-то-с... Однако что же это я вас на холоде держу? Простите великодушно...

О резервуар⁴², мусью, как говорят французы, и глубокое вам мерси.

Чувствую, в темноте чувствую, как вы тревожитесь: «Протянуть ему руку или нет?» По-

⁴¹ очень благодарен — фр.

⁴² До свиданья — искаж. фр.

жалуйста, не беспокойте себя пустяками. Что за предрассудки? Ну-с, желаю вам... У, какой дьявольский ветер!..

1904

Черный туман

Петербургский случай

Помню отлично, как он приехал в первый раз в Петербург с своего ленивого, жаркого, чувственного юга. Так от него и веяло черноземной силой, сухим и знойным запахом ковыля, простой поэзией тихих зорь, гаснувших за деревьями вишневых садилов. Казалось, что конца не будет его неистощимому степному здоровью и его свежей, наивной непосредственности.

Прямо с поезда вторгся он в меблированные комнаты, где я жил. Это было зимою, в семь часов утра, когда на петербургских улицах еще горят фонари, а усталые клячи влекут по домам спящих ночных извозчиков. Он был неумолим. Он не хотел слушать никаких доводов номерной девушки и говорил зычным голосом на весь коридор:

– Что ты мне будешь рассказывать? Хиба ж я его не знаю? Он же мне больше, чем родной брат! Ну, чего там... показывай где!..

Мы вместе с ним учились в одной южной гимназии, где он, однако, курса не окончил. Я любил его, правда, не больше, чем родного брата, – это он преувеличил впопыхах, – но все-таки любил искренно и тепло. Однако, хотя я и сразу узнал его голос с этими гортанными, мягкими?г? с провинциальной широтой диапазона, – я не могу сказать, чтобы в первый момент я особенно сильно обрадовался. Знаете, если человек проваландался целую ночь, по случаю первопутка, за городом и лег в постель около четырех часов утра, да еще лег с не совсем свежей головой, и если еще при этом ему предстоит днем серьезная и срочная работа... Словом, я ругался под своим одеялом и твердо решил, если он войдет, притвориться спящим или мертвым, как жук, которого положили на ладонь.

Не тут-то было. Он ураганом ворвался ко мне в номер, облобызал меня со стремительной радостью, поднял на руках с кровати, как ребенка, еще раз облобызал и принялся тормошить. На него невозможно было сердиться. С мороза от него так вкусно пахло яблоками и еще чем-то здоровым, крепким, усы и борода были мокры, лицо горело свежим румянцем, глаза блестели.

– Ну, ну, чего там валяться, вставай! – кричал он возбужденно. – Вставай, а не то я тебе сазки сейчас загну.

– Послушай, ты, жалкий, несчастный провинциал, – пробовал я его усовестить, – у нас в Петербурге никто не встает раньше одиннадцати. Приляг на диван, или спроси чаю, или пошли за газетами и читай, но дай мне подремать хоть с полчаса.

Нет, на него ничто не действовало. Он был так начинен рассказами о прошлом и планами на будущее, так переполнен новыми впечатлениями, что, кажется, готов был лопнуть под их напором, не служи я ему в виде спасительного клапана. Во-первых, поклоны: оказывается, все меня до сих пор помнят, любят и с удовольствием читают мои экономические статьи. Я был польщен и делал вид, что не забыл ни одно из этих диковинных имен, всех этих Гузиков, Палабух, Лядушенко, Чернышей и прочих добрых знакомых. Во-вторых, Петербург совершенно ошеломил его:

– Черт его батька знает, какой городище! Что ты думаешь: у вокзала только одни лихачи стоят. Ни одного ваньки!

– Лихачи? – спросил я с сомнением.

– А ей-богу! Я, не разобравши, сел на одного, гляжу, а он на резинах. Ну, думаю, влетел я. Хотел было уже назад лезть, да стыдно стало, тут городской стоит и всех торопит. Хорошо еще, что дешево отделался, всего полтора целковых.

– Гмм... самое большое нужно было платить полтинник, – заметил я.

– Ну, это ты, братец, тоже бре-бре... Чтобы лихачу в такой конец полтинник?.. Ох, и улица же у вас! А народ-то, господи, – точно у нас на пароме. Так и бегут, так и бегут. А на одном мосту, братец, четыре лошади. Ты видел? Здорово! Хорошо, братец, у вас живут!

Он так все время и говорил: у вас и у нас – черточка, общая всем провинциалам. Немало поразили его также и костры, разложенные по случаю сильного холода на перекрестках улиц.

– Это же для чего? – спрашивал он меня с наивным любопытством.

Я ответил совершенно серьезно:

– Это, видишь ли, городская управа отапливает улицы. Для того чтобы в казенных учреждениях выходило меньше дров...

Он сделал круглые глаза и совершенно круглый, глупый рот и от удивления мог произнести только один звук:

– О?!

Но потом опомнился и принялся хохотать – хохотать раскатисто, оглушительно, молодо. Я вынужден был ему напомнить, что все жильцы в номерах еще спят, что перегородки сделаны из папье-маше и что мне не хотелось бы выслушивать от хозяйки замечания.

Пришла Ириша с самоваром. Она искоса посматривала на Бориса с таким же выражением недоверия и тревоги, как глядела бы на лошадь, которую ввели в комнату. Она была истая петербургская горничная, девушка щепетильная и «не без понятиев».

В пять часов мы обедали на Невском в огромном и скверном ресторане. Двухсветная зала, румыны, плюшевая мебель, электричество, зеркала, вид монументального метрдотеля, а в особенности зрелище восьмипудовых, величественно-наглых лакеев во фраках, с крутыми усищами на толстых мордах, – все это совершенно ошеломило моего наивного друга. Во все время обеда он сидел растерянный, неловкий, заплетая ноги за передние ножки стула, и только за кофе сказал со вздохом, медленно качая головой:

– Н-да-а... ресторация... У нас бы не поверили... Прямо капище Ваала и жрецов его. Уж лучше бы ты меня привел куда попроще. А здесь я вижу все одну только аристократию. Наверно, все князья и графы. (Увы, я должен сознаться, что он выговаривал «грах-вы», с мягким «г» и с ударением на последнем слоге.)

Но вечером, у меня в номере, он опять оживился. Тут я его спросил в первый раз серьезным и положительным образом, что он, однако, намерен с собою делать дальше. До сих пор мы касались этого вопроса второпях, как-то разбросанно и фантастично.

Он напыжился, точно молодой петушок, и ответил гордо:

– Я приехал завоевывать Петербург!

Такие именно слова часто произносят у французских романистов их молодые герои, только что приехавшие в Париж и глядящие на него с высоты какого-нибудь чердака. Я улыбнулся скептически. Он заметил это и стал с особенной горячностью, комичность которой усиливалась его хохлацким говором, убеждать меня, что в его лице даровитый, широкий провинциальный юг побеждает анемичный, бестемпераментный, сухой столичный север. Это неизбежный закон борьбы двух характеров, и исход ее всегда легко предугадать. О, можно привести сколько угодно имен. Министры, писатели, художники, адвокаты. Берегись, дряблый, холодный, бледный, скучный Петербург! Юг идет!

Мне хотелось ему верить или, вернее, не хотелось его разочаровывать. Мы помечтали вместе. Он достал из корзины бутылку славной домашней сливянки, и мы ее дружно распили.

– А шо (он выговаривал вместо «что» – «шо»)? А шо? Делают у вас в Питере такую сливицу? – спрашивал он презрительно и гордо. – Вот то-то. А ты еще споришь!..

Понемногу он устроился. Я поселил его рядом с собою, в тех же самых меблированных комнатах, пока в кредит, в чаянии трофеев от будущих побед над дряблым севером. Удивительно, он сразу завоевал общую благосклонность, оттеснив на задний план прежнего фаворита – поэта с рыжими, курчавыми волосами, как у картинного дьякона. Хозяйка (всем известно, что такое петербургская хозяйка меблированных комнат: полная сорокапятилетняя дама, с завитушками вроде штопоров на лбу, всегда в черном платье и затянутая в корсет) – хозяйка часто приглашала его по утрам к себе пить кофе – высокая честь, о которой многие, даже старинные жильцы никогда не смели мечтать. Он за эту любезность рассказывал ей содержание утренних газет и давал ей дельные советы в бесчисленных сутяжнических делах («ведь всякому лестно обидеть бедную вдову!..»). Черт возьми, он, как истый хохол, был, при всей своей кажущейся простоте, очень ловким и практичным малым, с быстрой сметкой и с добродушным лукавством. Привыкла к нему и Ириша и даже, кажется, поглядывала на него с таким... впрочем, я не хочу сплетничать. Скажу, однако, что он был очень красив в эту пору; высокий, крепкий, с меланхо-

лическими черными глазами и со смеющимся молодым, красным ртом под темными хохлацкими усами.

Он был более прав, чем я, старый петербургский скептик. Ему повезло. Может быть, это происходило оттого, что вообще человек бодрый и самоуверенный в такой же степени умеет подчинить себе судьбу, в какой степени судьба вертит и швыряет в разные стороны людей растерянных и слабых. А может быть, ему просто помогали те своеобразные черты характера, которые он привез с собою из недр провинциального юга: хитрость, наблюдательность, безмятежный и открытый тон речи, природная склонность к юмору, здоровые нервы, не издерганные столичной сутолокой? Может быть, тут было и то и другое, но, во всяком случае, я должен был признать, что в его лице юг наглядно и успешно завоевывает север.

Мой приятель быстро, в каких-нибудь три-четыре дня, нашел себе занятия в управлении одной из крупнейших железных дорог и уже через месяц обратил на себя внимание начальства. Ему поручили проверить какие-то там графики движений поездов или что-то в этом роде. Все дело можно было легко окончить в неделю или в две, но Борис почему-то особенно упорно и настойчиво им заинтересовался. Он бегал зачем-то в Публичную библиотеку, таскал к себе на дом толстые справочники, сплошь наполненные цифрами, делал по вечерам таинственные математические выкладки. Кончилось все это тем, что он представил своему начальству такую схему движения пассажирских и товарных поездов, которая совмещала в себе и простоту, и наглядность, и многие другие практические удобства. Его похвалили и отметили. Через полгода он уже получал полтора ста рублей в месяц и заведовал почти самостоятельной службой.

Но, кроме того, он имел постоянные уроки музыки – он был отличный музыкант, писал для газет статьи, и дельные статьи, по железнодорожным вопросам, пел по субботам и воскресеньям в известном церковном хоре, а также иногда и в оперных и в опереточных хорах. Работать он мог поразительно много, но без натуги, без насилия над собой, а как-то естественно-легко, с развалцем, с шуточкой, с наружной ленивой манерой. И, всегда с лукавой усмешечкой, он все к чему-то присматривался и примеривался, и выходило так, как будто бы он только играл с настоящим, разминал свои непочатые силы, но в то же время зорко и терпеливо поджидал своей линии. Для каких-то тайных, далеких, известных только ему одному целей изучал он по самоучителям Туссена и Лангеншейдта французский, немецкий и английский языки. Я слышал иногда, как он за стенкой повторял с ужасающим прононсом: «Л'абель бурдон, ла муш воль»⁴³. Когда я спрашивал, для чего это ему нужно, он отвечал с лукавым простодушием: «А так. Все равно нема никакого дела».

Он умел веселиться. Где-то на Васильевском острове он отыскал своих земляков, «полтавских хлопцев», которые ходили в вышитых рубашках с ленточками вместо галстуков и в широчайших шароварах, засунутых в сапоги, курили люльки, причем демонстративно сплевывали на пол, через губу, говорили «эге ж» и «хиба» и презирали кацапов с их городской культурой. Я был раза два на их вечеринках. Там пили «горилку», но не здешнюю, а какую-то особенную, привезенную «видтыля», ели ломтями розовое свиное сало; ели толстые, огромные колбасы, которые были так велики, что их надо было укладывать на тарелке спиралью в десять или пятнадцать оборотов. Но также там и пели – пели чудесно, с необыкновенной грустью и стройностью. И как теперь, помню я Бориса, когда, проведя нервно рукой по своим длинным, красивым, волнистым волосам, он начинал запев старинной казацкой песни:

Ой, у поли жито
Копытами сбито...

Голос был у него теплый, нежный, чуть-чуть вибрирующий, и когда я его слышал, то каждый раз у меня что-то щекотало и вздрагивало в груди и хотелось беспричинно плакать.

А потом опять пили горилку и под конец «вдаряли гопака». Пиджак летел с широких плеч Бориса в угол комнаты, а сам он лихо носился из конца в конец, и притопывал «чоботами», и присвистывал, и лукаво поводил черными бровями.

⁴³ «Пчела жужжит, муха летает» — фр. l abeille bourdonne, la mouche vole.

Ой, кто до кого,
А я до Параски,
Бо у меня черт ма штанив,
А в нее запаски...

Он сделался главой этого милого хохлацкого хутора, затерявшегося среди суровых параллельных улиц Петербурга. Было в нем что-то влекущее, чарующее, неотразимое. И все удавалось ему шутя, словно мимоходом. Теперь я уже окончательно верил в его победу над севером, но что-то необъяснимое, что-то тревожное не выходило из моей души, когда я думал о нем.

Началось это весной. Вскоре после пасхи, которая была в том году поздней, мы поехали с ним однажды на острова. Был ясный, задумчивый, ласковый вечер. Тихие воды рек и каналов мирно дремали в своих берегах, отражая розовый и лиловый свет погасавшего неба. Молодая, сероватая зелень прибрежных ив и черных столетних лип так наивно и так радостно смотрелась в воду. Мы долго молчали. Наконец, под обаянием этого прелестного вечера я сказал медленно:

– Как хорошо! За один такой вечер можно влюбиться в Петербург.

Он не ответил. Я поглядел на него украдкой, сбоку. Лицо его было пасмурно и точно сердито.

– Тебе не нравится? – спросил я.

Борис слабо, с выражением досады, махнул рукой.

– Э, декорация! – произнес он брезгливо. – Все одно, как в опере. Разве же это природа?..

Черные глаза его вдруг приняли странное, мечтательное выражение, и он заговорил тихим, отрывистым, волнующим голосом:

– Теперь вот в Малороссии так настоящая весна. Цветет черемуха, калина... лягушки кричат по заводям, поют соловьи... Там ночь так уж ночь – черная, жуткая, с тайной страстью... А дни какие теперь там стоят!.. Какое солнце, какое небо! Что ваша Чухония? Слякоть...

Он отвернулся в сторону и замолчал. Но я понял уже инстинктом, что в сердце моего друга совершается что-то неладное, нездоровое.

И вправду, начиная с этого вечера Борис затосковал и точно опустил плечи. Я уже не слышал за стеной его мелодичного мурлыканья; он уже не влетал ко мне бомбой в комнату по утрам; пропала его обычная разговорчивость. И только когда заходила речь о Малороссии, он оживлялся, глаза его делались мечтательными, прекрасными и жалкими и точно глядели вдаль, за многие сотни верст.

– Поеду я на лето туда! – говорил он решительно. – Какого черта! Хоть отдохну немного от проклятого Питера.

Но поехать ему «туда» так и не удалось. Служба задержала его. Среди лета мы простились, – обстоятельства гнали меня за границу. Я оставил его грустным, раздраженным, вконец измученным белыми ночами, которые вызывали в нем бессонницу и тоску, доходившую до отчаяния. Он проводил меня на Варшавский вокзал.

Вернулся я обратно в самый разгар отвратительной, мокрой, туманной петербургской осени. О, как памятны мне эти первые печальные, озлобляющие впечатления. Грязные тротуары, мелкий, неперестающий дождик, серое, какое-то ослизлое небо, и на фоне этой картины грубые дворники со своими метлами, обдерганные, запуганные извозчики, женщины в уродливых барашковых калошах, с мокрыми подолами юбок, желчные, сердитые люди с вечным флюсом, кашлем и человеконенавистничеством. Но еще более поразила и огорчила меня перемена, происшедшая с Борисом.

Когда я вошел к нему, он лежал одетый на неубранной постели, заложив под голову руки, и не поднялся при моем появлении.

– Борис, здравствуй! – сказал я, уже что-то предчувствуя, и встретил холодный, отчужденный взгляд.

Потом он, очевидно, решил, что нужно поздороваться, встал, как будто по обязанности поцеловался со мной и опять лег. Больших усилий стоило мне уговорить его пойти пообедать куда-нибудь в ресторан. Дорогой он молчал, шел сутулый, безучастный, точно его вели по веревочке, и всякий вопрос мне приходилось повторять по два раза.

– Послушай, да что это наконец с тобой? Подменили тебя, что ли? – говорил я, трогая его за плечо.

Он досадливо отмахнулся.

– Так... надоело мне...

Некоторое время мы шли рядом, не разговаривая. Я вспомнил его неубранную, затхлую комнату, беспорядок, сухие куски хлеба на столе, окурки на блюдечках и сказал решительно и с возбуждением:

– Знаешь что, милый друг, – ты, по-моему, просто-напросто болен... да нет, ты не маши руками, а слушай, что я тебе скажу. Эти вещи запускать не следует... деньги-то у тебя есть...

У меня быстро созрел план лечения моего захандрившего друга, немного, правда, устаревший, немного пошлый и, если хотите, немного даже гнусный. Просто-напросто я решил свезти его в какое-нибудь место злачное, где поют и танцуют, где люди сами не знают, что делают, но уверены, что веселятся, и этой уверенностью заражают других.

Пообедав где-то, к одиннадцати часам отправились мы в «Аквариум», чтобы создать настроение кутежа. Взял я лихача, и помчал он нас мимо брани встречных извозчиков, мимо облитых грязью пешеходов.

Я поддерживал колеблющуюся, исхудавшую спину Бориса; он по-прежнему упорно молчал и только раз недовольно сказал:

– Куда мы так спешим?

Густая толпа, дым, гам оркестра, голые плечи женщин, подкрашенные глаза, белые пятна столов, красные, оскотинившиеся лица мужчин – весь этот шабаш пьяного веселья подействовал на Бориса совсем не так, как я ожидал. По моей просьбе он пил, но не пьянел, и взгляд его становился все тоскливее. Толстая напудренная женщина в страусовом боа на голой жирной шее подседа к нам на минуту, попробовала заговорить с Борисом, потом испуганно посмотрела на него, и молча быстро ушла, и в толпе еще раз оглянулась на наш столик. И мне от этого взгляда сделалось жутко, точно я заразился чем-то смертельным, точно возле нас стоял кто-то черный и молчаливый.

– Выпьем, Борис! – крикнул я, пересиливая шум оркестра и звон посуды. Сморщившись, как от зубной боли, он сказал что-то немимым движением губ, и я угадал фразу:

– Уйдем отсюда...

По моему настоянию, из «Аквариума» мы поехали еще в одно место и вышли из него на рассвете в холодные, синие сумерки раннего петербургского утра. Улица, по которой мы шли, была длинная и узкая, как коридор. От сонных каменных пятиэтажных ящиков веяло холодом ночи. Невыспавшиеся дворники шаркали метлами, передергивали плечами озябшие ночные извозчики и ругались хрипло. Спотыкаясь, навалиясь грудью на веревку, серединой улицы везли мальчишки нагруженные платформы. В дверях мясных лавок висели красные, развороченные туши мертвой, отвратительной говядины. Борис шел понуро, потом вдруг схватил меня за руку и крикнул, указывая в конец улицы:

– Вот он... вот...

– Что такое? – спросил я испуганно.

– Видишь... туман.

Пятые этажи тонули во мгле, которая, точно обвисшее брюхо черной змеи, спускалась в коридор улицы и затаилась и замерла, нависнув, как будто приготовилась кого-то схватить...

Борис тряс меня за руку и говорил с глазами, загоревшимися внезапной злобой:

– Понимаешь ты, что это такое? Понимаешь – это город дышит, это не туман, а дыхание этих камней с дырами. Здесь вонючая сырость прачечных, копоть каменного угля, здесь грех людей, их злоба, ненависть, испарения их матрацев, запах пота и гнилых ртов... Будь ты проклят, анафема, зверь, зверь – ненавижу!

Голос Бориса ломался и звенел. Костлявыми кулаками он тряс в воздухе.

– Успокойся, – говорил я, обнимая его за плечи. – Ну, успокойся, – смотри, ты пугаешь людей.

Борис поперхнулся и закашлялся надолго.

– Смотри, – сказал он, корчась от кашля, и показал мне платок, в который плюнул.

И я увидел на белизне платка большое кровавое пятно.

– Это он меня съел... туман...

Молча мы подходили к его квартире.

В апреле, перед пасхой, я зашел как-то к Борису. День был на редкость теплый. Пахло талым снегом, землей, и солнце светило застенчиво и робко, как улыбается помирившаяся женщина после слез. Он стоял у открытой форточки и нюхал воздух. Когда я вошел, Борис обернулся медленно, и на лице у него было какое-то ровное, умиротворенное, детское выражение.

– Хорошо теперь у нас в Полтавской губернии, – улыбаясь, сказал он вместо приветствия.

И вдруг для меня стало совершенно ясно и понятно, что этот человек умрет скоро, может быть – даже в этот же месяц.

– Хорошо! – добавил он раздумчиво и, вдруг оживившись, торопясь, хватая меня за руки, заговорил: – Сашенька, милый мой, отвези меня до дому... отвези, голубчик, ну, что тебе стоит, отвези!

– Да разве я отказываюсь? Конечно, поедем.

И вот перед самой пасхой мы тронулись в путь. Когда мы отъезжали от Петербурга, был сырой, холодный день, и над городом висел густой и черный туман, тот черный туман, который отравил душу и съел тело моего бедного друга.

Но чем больше подвигались мы на юг, тем возбужденнее и радостнее становился мой Борис. Весна как будто шла нам навстречу. И когда мы впервые увидели белые мазаные хатенки Малороссии, она была уже в полном расцвете. Борис не отрывался от окна. На насыпи синели большие, крупные простые цветы, носящие поэтическое название «сна», и Борис с восторгом рассказывал о том, как при помощи этих цветов у них в Малороссии красят пасхальные яйца.

Дома, у себя, под голубым ласковым небом, под пышными, еще не жаркими лучами солнца, Борис стал быстро оживать, точно он отходил душой от какого-то долгого, цепкого, ледяного кошмара.

Но телом он слабел с каждым днем. Черный туман убил в нем что-то главное, дающее жизнь и желание жизни.

Спустя две недели по приезде он уже не вставал с кровати.

Все время он не сомневался в том, что скоро умрет, и умер мужественно и просто.

Я был у него за день до его смерти. Крепко пожимая своей сухой, горячей, исхудавшей рукой мою руку и улыбаясь ласково и грустно, он говорил:

– Помнишь наш разговор о севере и юге, еще тогда давно, помнишь? Не думай, я от своих слов не отпираюсь. Ну, положим, я не выдержал борьбы, я погиб... Но за мной идут другие – сотни, тысячи других. Ты пойми – они должны одержать победу, они не могут не победить. Потому что там черный туман на улицах и в сердце и в головах у людей, а мы приходим с ликующего юга, с радостными песнями, с милым ярким солнцем в душе. Друг мой, люди не могут жить без солнца!

Я поглядел на него внимательно. Он только что умылся и причесал гладко назад свои волосы, смочив их водой; они были еще влажны, и это придавало его лицу жалкое, и невинное, и праздничное выражение, за которым всего яснее чувствовалась близость смерти. Помню также, что он все время пристально и как будто с удивлением рассматривал свои ногти и ладони, точно они были чужие.

На другой день меня спешно позвали к нему, но я застал уже не моего друга, а только его тело, умиравшее бессознательно, в быстрой агонии.

Еще рано утром он попросил отворить окно, и оно так и оставалось открытым. В комнату из старого сада лезли ветки белой сирени с ее упругими, свежими, благоухающими цветами. Светило солнце. Как сумасшедшие кричали дрозды...

Борис затихал. Но в самую последнюю минуту он вдруг быстро поднялся и сел на кровати; и в его широко раскрывшихся глазах показался безумный ужас. И когда он опять упал на подушки и, глубоко вздохнув, вытянулся всем телом, точно он хотел потянуться перед крепким длинным сном, – это выражение ужаса еще долго не сходило с его лица.

Что он увидел в эту последнюю минуту? Может быть, его душевным глазам представился тот бездонный, вечный, черный туман, который неизбежно и безжалостно поглощает и людей, и зверей, и травы, и звезды, и целые миры?..

Когда его одевали, я не мог видеть его страшных желтых ног и вышел из комнаты. Но когда я вернулся, он уже лежал на столе и таинственная улыбка смерти тихо лежала вокруг его глаз и губ. Окно все еще было открыто. Я отломил ветку сирени – мокрую, тяжелую от белых гроздьев – и положил ее Борису на грудь.

Светило солнце, такое радостное, и нежное, и равнодушное... В саду кричали дрозды... За рекой, на той стороне, звонили к поздней обедне.

<1905>

Хорошее общество

I

Собираясь войти в гостиную, Дружинин вытирал платком запотевшие стекла пенсне. За малиновой бархатной портьерой послышалось твердое, уверенное, хорошо знакомое ему постукивание каблучков. Щеголеватой походкой нестаряющегося сорокапятилетнего мужчины Башкирцев шел через переднюю с какими-то чертежами и планами.

– А-а! соль земли русской... Ну, как поживает международно-литературная конвенция? – не останавливаясь, с наигранной любезностью приветствовал он гостя и на ходу же добавил, взявшись за хрустальную ручку дубовой двери в кабинет: – Сара Бернар очень обрадуется, у нее там какие-то дела к вам...

На секунду Дружинин увидел чью-то поддевку, рыжую бороду, инженерские петлицы и серую атмосферу комнаты, в которой долго сидели и много курили. В кабинет прошел лакей с подносом, уставленным стаканами, горкой нарезанного лимона и «сушками».

Недолго, пока отворялась дверь, слышался убежденный, звучный голос Башкирцева и видно было, что он уже совершенно забыл, кого видел и с кем говорил минуту назад.

Как всегда, от приветствия Башкирцева Дружинин вместе с беспокойной подавленностью почувствовал себя глупо-молодым, отгороженным чем-то крепким и непроницаемым от этого умного, занятого барина. И он мучительно злился, что по бесхарактерности не может ответить человеку, которого, в сущности, не уважал, чем-нибудь вроде «неунывающий россиянин».

Много раз Дружинин давал себе слово не ходить в это «сыто-бюрократическое заведение», и за каждый визит свой к Башкирцевым оправдывался перед собственным самолюбием тем, что ему нет дела ни до madame, ни до monsieur Башкирцевых, а ходит он ради Риты. Рита, по его мнению, была сделана «совсем из другого теста, как ее папа и мама». Это милый ребенок, чуткая, талантливая девушка, из которой выйдет далеко не заурядная артистка с удивительно интересными настроениями.

Получая иногда от Риты какую-нибудь оригинальную открытку или журнальную вырезку, где говорилось о нем, Дружинин умиленно улыбался и говорил: – Милая козочка – не забыла...

Но, кроме Риты, все в доме Башкирцевых неприятно действовало на Дружинина. Раздражал его нелепый крик попугая, развязная балованность до противного вымытых собак, многочисленная, хамски угодливая прислуга, делающая различие между гостями, благотворительность madame. Даже самое покровительство Башкирцевых дружбе их дочери с Дружининым больно уязвляло его самолюбие: «Точно за человека не считают».

Однажды, на именинном обеде, лакей за шампанским подал Дружинину обыкновенного белого вина. Этот случай заставил Дружинина не бывать у Башкирцевых несколько недель. Тогда Рита написала ему:

«Голубчик Павел Дмитриевич, я по вас соскучилась – отчего вы к нам не приходите? Я думала, что вы хоть сегодня придете, – не пришли. Жаль ужасно. Впрочем, если почему-либо не хотите, то, конечно, не стесняясь, не приходите до тех пор, пока не захочется. Только, когда придете, не говорите нашим, что я вам написала, а то мне будет влетанция, так как это не хорошо, не принято. Но вы симпатичны мне кажется, голубчик. И мне, в моей обстановке ужасных людей, ужасно радостно вас видеть. Ну, до свидания, очень буду рада, если до скорого.

Р.Б. ».

На боках письма было приписано с одного конца:

«Сейчас только вспомнила, что вы красный цвет ненавидите. Ну, да письмо переписывать

лень». С другого: «Господи, не вы ли это мне прислали что-то? Я получила городскую повестку. Кстати, поздравьте, сегодня я нашла двугривенный. Не правда ли, смешно?»; Сегодня она написала ему на клочке торопливым, взволнованным почерком:

«Голубчик Павл. Дмитр. Непременно, непременно, сейчас же приходите, как получите это. У меня ужасно, ужасно большая неприятность...
Ваша Р. ».

Проходя через гостиную, Дружинин с улыбкой под усами вспоминал это письмо и думал: «Ужасно большая неприятность заключается в том, что татап не разрешила играть на клубной сцене».

Риту он застал в полутемной диванной. Она сейчас же схватила его за руку и повлекла в глубь комнаты.

– Вы знаете, что случилось? – начала она трагическим шепотом.

– Нет, не знаю... – улыбаясь, глядя сверху вниз на Риту, ответил Дружинин.

– Да нет, вы не смейте смеяться, – закричала она сквозь слезы.

И, опять понизив голос до шепота, Рита начала говорить размеренно и таинственно, широко и с ужасом округлив глаза, точно старая нянюшка, когда она вечером рассказывает страшную сказку.

– Вы знаете, Верочка Снежко... – говорила она внушительно, с ударениями и дергая на этих ударениях Дружинина за руку, – украла у своей квартирной хозяйки брошь и два браслета... И теперь она в тюрьме... Да. Ее будут судить... Вы понимаете, на нее, маленькую такую, беленькую, наденут арестантский халат, запрут с этими грязными преступниками... Милая моя Снежинка... – Голос Риты от шепота поднялся до истерической высоты и зазвенел: – Снежушка моя, милая Снежинка... Она заломила руки и замотала головой...

– Что вы говорите? – глухо произнес Дружинин, и в то же мгновение у него мелькнула мысль, что он уже где-то видел подобную сцену с заламыванием рук и припадочным мотанием головы. – Верочка Снежко украла...

Рита опустила руки.

– Ну да... взяла в комодке брошь, два браслета и заложила их.

Дружинин с силой двинул плечами и хрустнул пальцами.

– Что такое... Похоже на кошмар...

– Пойдите, – заговорила Рита, сразу успокоившись, – сядемте здесь, я вам все расскажу.

У Риты была манера складывать по-старушечьи руки пальцы в пальцы и сидеть сторбившись. И теперь она уселась в свою обычную позу и заговорила серьезно, повествовательно, время от времени заглядывая снизу Дружинину в лицо.

– Знаете, она страшно нуждалась... Вы этого не знали, она просила не говорить... Ведь она такая гордая была... Ну, так вот... И за ней ухаживал этот старик, знаете, этот противный с толстыми закопченными усами, что жил напротив, я еще смеялась, что Верочка влюблена в него... Но конечно, она не хотела себе позволить ничего такого гадкого... Потом ей нечем было заплачивать на курсах... Вы ведь знаете, у нас на драматических ужасно дорого берут... Я просила папа, и он обещал, а потом вышла ужасно глупая история, конечно, она сама виновата... Голубчик, я вам тогда солгала, за что поссорилась с Верочкой, не сердитесь, голубчик, потому что это, в сущности, и неинтересно... Папа ей что-то сказал, так знаете, вероятно, как он всегда

– Сара Бернар, Сара Бернар, а на нее – Снегурочка... но ведь он уже пожилой, не правда ли, ему можно... А она обиделась, обиделась и к нам перестала ходить. Потом мама на нее была недовольна... знаете, ведь татап страшно ревнива, у нас ведь и все горничные ужасные рожи... Ну, так вот... встретились мы как-то на курсах, я спросила, почему она не приходит, и она мне ужасную дерзость сказала. «Твой, говорит, отец...»; Но я даже не могу сказать – меня это ужасно тогда обидело... Ну, это, конечно, забылось, я уже хотела написать ей или самой сходить, как вдруг сегодня утром получается повестка... Меня вызывают к следователю свидетельницей... Поймите, какой ужас... Папа ездил туда, на прежнюю ее квартиру, и все это узнал. Голубчик, Павел Дмитриевич, поймите, какой ужас... Теперь папа говорит, что он возьмет докторское... это... как его, удостоверение, что ли, чтобы я не шла в свидетельницы. Но ведь, голубчик, может, ей это очень нужно... а...

– Конечно, вы многое можете показать, смягчающее ее вину... – мрачно и решительно отозвался Дружинин, перекручивая в пальцах и кусая бороду.

– Вот я то же самое говорю, а наши не хотят, у нас сегодня с утра война, то есть больше с тапан. Папа, тот ведь знаете какой, – он что-нибудь решит и на других даже внимания не обращает. И в разговор не вмешивается, как будто иначе и быть не может.

В полутьме из дверей, ведущих в комнаты, в которых Дружинин никогда не был, послышался слабый болезненный голос:

– Ри-и-та.

Рита вскочила с дивана.

– Что, мамуся?

– С кем это ты?

– Это Павел Дмитриевич, мамочка.

– Здравствуйте, Павел Дмитриевич, простите, я даже выйти к вам не могу, – умирающим голосом говорила Башкирцева. – Рита, пошли ко мне Машу, а потом приходи с Павлом Дмитриевичем – я, знаете, совсем больна, совсем больна...

За дверями послышался вздох и мягкие, как будто босые, шаги.

– Не говорите только, что я вам писала, – успела озабоченно бросить Дружинину Рита.

II

В будуаре Башкирцевой, глухом от материй, вместе с беспокойным, дразнящим ароматом, который оставался потом на платье, висел в воздухе острый запах туалетного уксуса и какой-то эссенции. Со всей обстановкой комнаты, пестрой и кокетливой, странно не гармонировал киот в углу и в зеленом стаканчике лампада.

– Вы знаете уже, что случилось... Вам говорила Рита, – устало и томно сказала Башкирцева, без пожатия подавая Дружинину мягкую, влажную, как будто бескостную, руку...

Дружинин не целовал у дам рук, и оттого, когда он и Башкирцева здоровались, у них всегда происходила какая-то заминка и Дружинин чувствовал себя неловко.

– Да, мне говорила Маргарита Ильинична, – ответил он, избегая взглядов зеленоватых, серых глаз Башкирцевой и не зная, где сесть.

С головой, обвязанной белой косынкой, она сидела на тахте в чем-то мягком и длинном, и обвислые контуры ее располневшего тела беспомощно лежали в ковровых подушках.

– Я не знаю, за что нас так наказывает господь бог... – говорила Башкирцева, взглянув на киот. – Два года назад муж ездил в Лондон, я с Ритой была на курорте, у нас служили муж и жена поляки... Так они знаете что изволили сделать? Достали Ильи Андреевича шубу, фрак, еще что-то и преспокойно заложили все это... У них, видите ли, дома там что-то случилось, погорел кто-то, что ли. Я понимаю, может случиться несчастье – ну, так попроси, не так ли? Помню, на меня тогда этот суд так ужасно подействовал. И знаете, они еще были на нас недовольны, что мы оценили вещи выше трехсот рублей: это им для чего-то там, для смягчения наказания нужно было... И теперь эта история с этой девчонкой! Нет, это просто, знаете, сил никаких нет. Идти в суд Рите... Господи помилуй...

Дружинин что-то замычал и нерешительно промолвил:

– Но я не вижу особенных причин так уж волноваться... хотя, впрочем...

– Как не волноваться, Павел Дмитриевич?... – возбужденно заговорила Башкирцева, задвигавшись на месте. – Ведь вы подумайте, какая это только грязь: ее подруга украла и она свидетельницей, ведь об этом и в газетах станут писать... это страшная грязь!

– Мамуся, тебе опять будет худо... – сказала стоявшая возле нее Рита, делая Дружинину знаки глазами.

– Оставь, пожалуйста, что может быть еще хуже того, что уже есть? Я всегда говорила тебе, что будь ты осторожна в этих знакомствах с людьми с улицы, – ну, вот видишь, на мое и вышло...

Переменив тон, Башкирцева повернула к Дружинину свое странно белое, как бумага, четырехугольное лицо.

– Я не знаю, Павел Дмитриевич, что это делается на свете. Куда мы идем, куда мы идем? Девочка, молоденькая, интеллигентная, крадет у своей хозяйки вещи... закладывает их...

– Но говорят, она сильно нуждалась, – нерешительно отозвался Дружинин, как будто сам в чем-то виновный. Большой вид Башкирцевой, будуар, все эти дамские вещи, духи связывали и делали его нерешительным.

– Ах, оставьте, пожалуйста: какая это нужда заставит меня украсть? Никогда не поверю, просто безграничная испорченность нашего времени. Ужасная грязь, ужасная грязь...

За дверями послышалась характерная походка и голос Башкирцева..

– Р-разумеется, конечно, – он мужик умный, понимает это, поверьте, лучше нас с вами, – говорил он кому-то.

– Мамочка, к тебе можно? – спросил он, заглядывая в дверь. – Я с Петром Петровичем...

И, войдя в комнату, Башкирцев сказал с своей веселой деланной улыбкой, с демонстраторским жестом обращаясь к вошедшему за ним господину во фраке:

– Вот рекомендую: совет трех. Причем самый главный мастер заболел от чрезвычайного потрясения нервов...

Адвокат Михно, благодушно улыбаясь хозяйскому остроумию, особенно галантно, вероятно, потому, что был во фраке, раскланялся с хозяйкой.

– Я вот позволил себе нарочно вызвать нашего Цицерона, чтобы успокоить тебя, – заявил Башкирцев. – Он говорит то же самое, что и я. Никто не станет ни приезжать на дом, ни оглашать показаний, раз человек болен и не может давать их...

– Да, конечно, конечно, – поддакивал Михно с не сходящей с лица, как казалось ему, светской улыбкой, стоя в позе оперного певца с шапокляком у ляжки.

– Так это можно? вы уверены, Петр Петрович? – сказала Башкирцева, с надеждой возводя на адвоката глаза.

– Да, конечно, конечно... что ж, это дело обыкновенное...

Потом Михно сощурился и мигнул в сторону Риты, стоявшей с сухими воспаленными глазами:

– Что, барышня, трусили?

– Я... нисколько, – обиженно отозвалась Рита.

– Ну, рассказывайте. Публика у нас страх суда боится... А что, она хорошенькая, эта юная преступница?

– Не хотите ли вы уж защищать ее? – с плутовской улыбкой сказала Башкирцева.

– Ну, что вы, что вы! Мало у меня своих дел!.. Вечно Мария Павловна придумает что-нибудь... – слабо защищаясь, говорил Михно со смущенной улыбкой избалованного женщинами светского льва.

– Ну да, рассказывайте!..

Башкирцева погрозила ему пальцем, и теперь, казалось, болезнь ее совершенно прошла.

– Подождите, я вот расскажу все Надежде Васильевне... Знаем мы эти ваши заседания!.. Кстати, как ее здоровье?

– Ну, друзья мои, вы беседуйте, а меня люди ждут, – озабоченно сказал Башкирцев, не любивший, когда говорил не он, а другие.

– Я ведь тоже на минутку, – заторопился Михно.

– Куда вы такой парадный?

– Нужно тут в одно место...

– Ой, смотрите, скажу Надежде Васильевне... – начала опять Башкирцева, подымая палец.

Но Илья Андреевич нашел, что этого жанра уже довольно, и деловито, по-хозяйски сказал, целуя ее в лоб:

– Тебе, мамочка, немного лучше, оденься, выйди, нужно будет легкую закуску соорудить... Пташников здесь... нельзя, он москвич, у них это водится... Башкирцева, недовольная, что муж ловит ее на выздоровлении и не дает немного поболтать, недружелюбно глянула на него своими серыми, сделавшимися вдруг злыми, глазами...

III

За ужином Дружинин испытывал чувство приживальщика, отказался есть и попросил себе стакан чаю. С особенной неприятной ясностью он не мог отделаться от мысли, что эти вина, серая глянцевиная икра в хрустальной вазочке, маринады, балыки поставлены не для него, а ис-

ключительно для тех пришедших из кабинета людей и, собственно, для одного из них – Пташникова.

В песочном визитном костюме, безусый и розовый Пташников держался застенчиво, и Дружинину странным казалось думать, что этот робкий, европейски аляповато одетый молодой человек имеет три миллиона. Его свежую молодость усиливали и подчеркивали рыжебородое обветренное лицо Дурдина, уверенное, пожившее Башкирцева и корректно-молодое, спокойное, как таблица умножения, лицо рано полысевшего инженера. Каждое из них носило тот отпечаток, о котором принято говорить «видел виды», и Дружинину становилось необъяснимо жаль Пташникова.

– Я, можно сказать, прошел огни и воды... – размеренно говорил Дурдин, из солидности не сразу выпивая налитую ему рюмку.

– И медные трубы, – добавил Башкирцев, дружелюбно-насмешливо кивнув Дурдину, и помог Пташнику ву взять с тарелки кусок.

Дурдин не улыбнулся и спокойно-уважительно смотрел на Башкирцева своими круглыми зоркими глазами.

– Нет, Илья Андреевич, в самом деле я много на своем веку всякого народа перевидал, но должен вам заметить... не потому што там в глаза или как, я человек простой и у меня такое заведение – што за столом, то и за столбом... Хотя вы и господин, но должен вам заметить, што в делах я редко видел таких дотошных людей и из нашего брата, чтоб так понимали. Это я не то што вам в глаза, а и где угодно...

Башкирцев слегка покраснел и, откинувшись на спинку, заговорил, покручивая усы:

– Да, жизнь, батюшка, учит... Раньше чем нажать первые свои сто тысяч, я свой миллион прожил... и не жалею. Теперь, что у меня есть, все мое, трудом доставшееся. Люди только у нас в России очень уж инертны... вы посмотрите за границей... там мальчишка-разносчик, он с товарищами в компании покупает уж какую-нибудь недорогую акцию. Знает все колебания биржи. А у нас десятки миллионов в сундуках лежат – мозоли натирают, купоны обрезают.

Пташников улыбнулся.

– Покойник папаша, бывало, дня три иногда сидит, а никого не допускал, все сам... – сказал он, и по лицу его видно было, что за этим у него проснулось еще много воспоминаний.

– Хороший, должно быть, был старик? – любезно-механически улыбаясь, сказала madame Башкирцева. – Они ужасно милые, эти старозаветные люди...

– Да как вам сказать, многие считали его сердитым, ну, только это у него так, наружное, а человек он был добрый. – Скажите, пожалуйста, у вашего батюшки какая торговля была? – спросил Дружинин и сразу же по беспокойно забегавшим глазам Башкирцева понял, что он задал неуместный почему-то вопрос.

– Что это, как будто немного угаром пахнет? – сказал Башкирцев жене... Пташников немного сконфузился, но сейчас же с доверчивым и благожелательным видом ответил Дружинину:

– Мы гостиницы держали... Вот, если бывали в Москве, «Эрмитаж», «Калифорния», «Белый лебедь»; – это все наше было... и так малых трактиров до двадцати...

– Зачем же вы их продали? ведь говорят, это очень выгодно? – выпалила Рита и посмотрела на всех.

Инженер чуть улыбнулся в углах рта... Пташников больше зарделся.

– Рита... – сказала Башкирцева, делая брезгливые глаза. Дружинин сам почему-то покраснел, но вступился за Риту:

– Действительно, это дело дает, кажется, хорошие барыши... На лицо Башкирцева набежала тень.

– Очень было бы печально, – внушительно и грустно заговорил он, барабаня по столу своими белыми крупными пальцами, – если бы молодые люди, полные сил и способностей, сидели в питейных заведениях. Кому же, как не молодым капиталистам, быть культуртрегерами нашей отсталой промышленности. Геннадий Васильевич вступает вот в наше общество химических заводов, и это, поверьте, интереснее, полезнее и почетнее, чем торговать рюмками. Вы вот сами говорите, что газетная работа выгодней чистой беллетристики, но, однако, пишете рассказы.

– Ну, это, мне кажется, одно с другим не сравнимо, – не согласился Дружинин. – Я, по крайней мере, думаю, что личное моральное значение всякой деятельности определяется ее целью. Цель торговли – нажива, а потому самая желательная торговля та, которая больше дает.

– Как на чей взгляд.

Башкирцев пожал плечами и обратился к Пташникову:

– Вы когда предполагаете возвратиться?..

– К десяти часам гости поднялись. Пташников и Дурдин уезжали с одиннадцатичасовым в Москву. Инженер провожал их, Башкирцев извинился усталостью. Дружинин тоже начал прощаться, но Башкирцев удержал его.

– Оставайтесь, я хочу попросить вас об одном деле... Когда гости и хозяева проходили через полутемную диванную, Башкирцев взял за локоть Дурдина и задержал шаги. Оставшийся сзади Дружинин успел услышать начало фразы...

– Ты же смотри...

И Дурдин громко ответил:

– Да что вы, Илья Андреич, рази я сам себе враг... Это обращение Башкирцева к Дурдину на «ты»; в связи с впечатлениями всего вечера вдруг без колебаний и переходов объяснило Дружинину многое, что раньше отпечатывалось в его мозгу туманно и неясно, как предчувствие. Он сразу вспомнил тысячу мелочей, наблюденных в доме Башкирцевых, которые, дополняя одна другую, объяснили ему нечто страшно неприятное, тяжелое и противное. Теперь небольшим фактам Дружинин придавал большое значение.

Перед ужином Башкирцев с гримасой оглядел костюм Риты и сказал:

– Ты бы, знаешь, тово... чужие люди, а у тебя этот артистический беспорядок.

Эта показная бутафорская роскошь и всегда какие-то деловые люди, шушуканье. Впечатление ожидания чего-то, что должно разрешиться и сделать всех счастливыми...

И Рита говорила часто: «Вот устроятся дела папы, мы поедем в Ниццу...»; А что это были за дела – никто точно не понимал, хоть при разговоре о них кивали сочувственно и на лица набегала тень глубокомыслия.

И когда Башкирцев, возвратившись из передней, расстегнул три пуговицы жилета и с облегченным видом актера, сошедшего со сцены, весело и громко по-домашнему сказал, – слушай, мамочка, нельзя ли нам чаю сюда, – Дружинин почувствовал, что он как будто состоит в молчаливом против кого-то заговоре.

– Вот, батюшка, видали синицу? Три миллиона нетронутых денег на текущем счету держит... – сказал Башкирцев, разваливаясь в кресле.

– Ну, что он, как? – с тревожным и униженным лицом нерешительно спросила Башкирцева.

– То есть, что это «как»? – строго сказал Башкирцев и дал этим понять, что вопрос, который затрагивает жена, чисто домашний, неудобный при посторонних.

– Павел Дмитриевич свой человек, – как бы оправдываясь, робко отозвалась жена.

Башкирцев выпустил из надутых щек воздух и расстегнул еще одну пуговицу жилета.

– Устал я сегодня зверски, – сказал он, подавив судорогу зевоты, и, помолчав, обратился к Дружинину с обычной у него уверенностью и определенностью голосовых интонаций: – Хотел я вас, дружище, попросить вот о чем: съездите, пожалуйста, ну, хоть завтра, в дом предварительного заключения и, если вам позволят увидеться с этой девицей, объясните ей, что это очень не деликатно с ее стороны – людей, которые относились к ней хорошо, принимали участие, таскать по судам. Должна же она это понимать.

Рита, перебиравшая у рояля ноты, бросила тетради, выпрямилась и, опустив вдоль тела руки, как бы приготовилась к чему-то. Она значительно взглянула на Дружинина, но тот сидел в кресле согнувшись и глядел не то в пол, не то себе в колени.

– Я бы это сделал и сам, но вы видите, у меня минуты свободной нет... – добавил Башкирцев, так как Дружинин молчал.

Последний и на это ничего не ответил, а когда заговорил, то в это же время начал что-то говорить и Башкирцев, они столкнулись первыми слогами и замолчали...

– Виноват, что вы хотели сказать? – извинился Башкирцев.

– Меня немало удивляет, Илья Андреевич, – глухо и медленно начал Дружинин, не подымая головы, – что вы, не зная даже, как я смотрю на этот предмет, предлагаете мне уже ехать куда-то, что-то устраивать по тому плану, который вам нравится.

– То есть это вы о чем же? – наморщившись, спросил Башкирцев, в первый раз повернув лицо в сторону Дружинина.

– Да видите ли, дело в том, – заговорил Дружинин громче и встал с кресла, – что я на всю

эту историю несчастья со Снежко смотрю, кажется, совершенно иначе, чем вы.

– Ах, вот как... тогда извините, пожалуйста, как же вы смотрите?

– Я смотрю так, что долг всякого порядочного человека помочь своему гибнущему ближнему... Тем более что и помощь эта в данном случае выражается в немногом: прийти в суд и сказать, что человек беспомощный, не умеющий заработать, страшно нуждался и выбрал из двух падений то, которое ему казалось легче... я так смотрю. Рита все время стояла, не меняя позы, с немигающими, сделавшимися огромными глазами, и два раза, пока говорил Дружинин, думая, что он кончил уже, сорвавшимся голосом говорила: «Папочка».

– Ну, вы что можете сказать? – обратился к ней Башкирцев, когда Дружининумолк и остановился у окна спиной к комнате.

– Папочка, ведь она действительно страшно нуждалась, ведь нужно же ей помочь, бедной, ведь иначе ее осудят...

– И помощь эта должна выражаться в том, – заговорил отдельно, сухо и металлически звонко Башкирцев, – чтобы в публичном заседании столичного суда mademoiselle Башкирцева выступила как близкий друг подсудимой? Ведь другого положения нет.

Рита подняла к подбородку стиснутые руки и зазвеневшим голосом быстро заговорила:

– Папочка, но ведь ее иначе осудить могут, ведь кто там за нее заступится. Если ее осудят, я никогда себе этого не прощу, мне все будет казаться, что в этом я виновата.

– Что ты говоришь, Рита, – болезненно отозвалась Башкирцева, все время боявшаяся вступить в разговор, видя, что он, благодаря данному Дружининым тону, принимает серьезный, обостренный характер, – что ты говоришь, опомнись! Пусть уж Павел Дмитриевич так говорит, он чужой человек, но как ты нас и себя не жалеешь... ведь это такая грязь, такой ужас!, ведь об этом станут в газетах писать... Я не говорю, конечно, но это может и на делах наших отразиться.

– Не говори глупостей! – сурово оборвал ее Башкирцев. Дружинин быстро и резко обернулся от окна.

– И что вы так настойчиво говорите, Мария Павловна, о грязи? Поверьте, в каждом из нас столько грязи, что ее хватит на сто таких несчастных девушек, как Снежко. Башкирцева вопросительно посмотрела на мужа.

– Я думаю, что тебе самое бы лучшее уйти отсюда, – сказал он дочери.

– Папочка... – вырвалось у Риты, и она, не отымая от подбородка рук, осталась на месте, как будто собираясь броситься перед кем-то на колени.

Все почувствовали, что какая-то струна, соединяющая находящихся в комнате, натянулась до последней возможности и собирается лопнуть.

Башкирцев близко начал рассматривать ногти и заговорил в нос и комкая слова:

– Я уже давно собирался вам сказать, Павел Дмитриевич, (Дружинин в эту минуту подумал, что за несколько месяцев Башкирцев его в первый раз назвал по имени и отчеству)... но все как-то откладывал, теперь это, кажется, наиболее удобно... Башкирцев похлопал пальцами правой руки по щиколоткам сжатой в кулак левой, потом быстро встал и почти весело, глядя прямо в глаза Дружинину, сказал:

– Я нахожу, что ваше общество вредно для моей дочери...

Как ни далек был Дружинин от слияния со всей этой, как он иногда называл, башкировщиной, но в эту минуту он почувствовал, что вся эта хорошо знакомая ему обстановка гостиной, эти люди, которых он видел довольно часто, и даже сама Рита – все вдруг как-то сразу отодвинулось и стало ему совершенно чужим и неприязненным. Сам Башкирцев, уверенный и неприятный, в расстегнутом сверху жилете, напоминал ему почему-то одно ресторанное столкновение, где пожилой господин коммерческо-кабинетного типа говорил с ним изысканно-вежливо, но Дружинин и бывшие с ним и даже лакей каждое мгновение ждали, что сейчас начнется свалка. Как и тогда, Дружинин почувствовал, что ему трудно дышать и легкий приступ какой-то общей нудности, похожей на тошноту. Вместе с тем в голове Дружинина быстро, вместе с приливом крови в виски, созрело решение, что теперь наступил «момент» и он должен сказать все то, что долго копилось в нем против Башкирцева и чего он никогда не собирался говорить ему.

– Вы это находите? – сказал Дружинин чужим голосом и высохшим ртом, и в переводе это значило: я тебя ненавижу...

– Да, я это нахожу, – ясно и резко ответил Башкирцев, прямо глядя в глаза Дружинину, и это означало: я тебя тоже.

– Рита, уйди отсюда, – крикнула Башкирцева.

– Папочка, папочка! – восклицала Рита... Но у двух стоявших друг против друга людей уже началось то «нечто», что не ищет ни логики, ни оснований, не замечает места, времени, разницы возрастов, положений...

– Так я же вам на это скажу, – заговорил Дружинин вдруг окрепшим голосом бешенства, – что самое вредное, самое развращающее, самое грязное общество у вашей дочери это вы сами, ваши темные операции, жулики, с которыми вы водите компанию и устраиваете ваши делишки... бездельная жизнь не по средствам, отсутствие принципов в вас самих, принципов и человечности, – вот отчего она может развратиться, а не от моего общества...

Все на минуту окаменело... Привлеченный голосом Дружинина, в двери выглянул лакей и сейчас скрылся. Башкирцев, зажав в руке горсть брелоков от часов, очевидно, не знал еще, что он сейчас сделает.

– Или вы сию минуту уйдете, или я выброшу вас, как щенка, – сказал он, не разжимая зубов, и глаза его неестественно округлились, лицо стало похожим на кусок вареного мяса – обнаженное от светскости приличий и напускного благодушия, оно представлялось только старым, животному необузданным и страшным.

– Поберегите эти угрозы для ваших лакеев, жалкий пройдоха!.. – крикнул Дружинин.

Башкирцев двинулся вперед, но его схватили сзади чьи-то руки. Это вскочила с места Башкирцева.

– Илья, что ты! Рита, уйди отсюда... – говорила она сквозь слезы.

Рита бросилась на середину комнаты.

– Папочка, Павел Дмитриевич, оставьте, голубчики вы мои, – говорила она, ломая руки и как будто опускаясь на колени.

– Павел Дмитриевич, уйдите, ради бога! – кричала Дружинину Башкирцева.

– Я завтра же еду к градоначальнику и этого мазурика вышлю в двадцать четыре часа, – хрипел Башкирцев.

Дружинин уже не соображал, что он делает, и с побелевшими губами, с пеной в углах рта наступал на Башкирцева.

– Раньше, чем ты поедешь к градоначальнику, я Пташникову напишу... я выведу тебя на свежую воду с твоими дурдинскими коммерциями... не бывать твоему акционерству, врешь!.. Ты его в зятя метишь – и это я скажу, врешь... я все махинации разоблачу, печатно разоблачу... и к процессу Снежко я тебя притяну... там тоже кое-что есть... врешь.

Послышался чей-то женский визг и одновременно хруп и топот ног, что-то тяжелое потащили по полу. Это Башкирцев с изуродованным лицом бросился к Дружинину, но на нем повисли жена и дочь. И странным было в это время совершенное отсутствие прислуги, наполнявшей дом...

– Павел Дмитриевич, уходите, голубчик, уходите, – кричала ему Рита... – оставила отца и потащила Дружинина к выходу...

Забрав в руки пальто, калоши и шапку, Дружинин вернулся к дверям. Рита не пускала его, но он продвинулся до половины и злорадно крикнул:

– О Пташникове, господин акционер, не забудьте, я вам покажу, кто кого вышлет...

Дома Дружинин, не раздеваясь, сел у стола и тупым, нежалеющим укусом зажал зубами мякоть пальца.

Прошло два дня. Дружинин получил письмо. На желтой дорогой бумаге с трепаными концами Башкирцев писал ему своим крупным министерским почерком:

«Павел Дмитриевич, в том, что произошло между нами, я думаю, не виноваты ни вы, ни я. Хорошие отношения не могут рваться между людьми только потому, что они очень нервны и не умеют сдерживать своих порывов. Приходите, мы будем вам очень рады. Сара Бернар даже заболела, бедняжка».

Дружинин ничего не ответил.

На другой день Башкирцев два раза приезжал к Дружинину, но не застал его дома.

I

Доктору Чудинову надоела его городская квартира, с зеркалами и альбомами для развлечения посетителей, опротивели и сами пациенты: вновь заболевшие – испуганные, бестолковые; старые, уже привыкшие – уныло-покорные. И все они казались Чудинову ужасно невежественными, неразвитыми, с детской наивностью, которая так не шла к усатым взрослым лицам.

Когда-то эта беспомощность умиляла доктора, заставляла работать; теперь же он, встречая виновато-доверчивый, вопрошающий взгляд больного, делал гримасы и кричал:

– Я не господь бог, поймите вы это раз навсегда. Я – врач, у меня лечебница, а не силоамская купель. Каждому из вас я сто раз твержу: не пейте, даже не нюхайте вина!.. Нет, свое... ну, теперь радуйтесь!..

Случалось, что он бросал на пол инструменты, женщинам говорил дерзости. В больнице его раздражал острый запах йодоформа. А раньше он ему нравился, и жалующимся на него Чудинов говорил, крепко потирая руки:

– Это потому, что вы не врач... А я нюхаю его и говорю – это здоровье, здоровье... Слышишь этот запах, и работать хочется.

Порою на Чудинова нападала тяжелая тупая хандра, грудь давило тошнотное ноющее чувство, и он проклинал свою известность, которая сделала его одиноким.

– Отчего это у меня? – недоумевал Чудинов и, боясь дать себе давно назревший у него, определенный ответ, принимал бром, успокаивал себя, что он заработался и все это пройдет, как только он съездит за границу. Поделиться мыслями ему было не с кем, так как странным показалось бы и неподобающим, чтобы знаменитый Чудинов, «авторитет», вдруг начал жаловаться на скуку и неудовлетворенность в жизни.

Во вторник на страстной его позвали на консилиум к умирающему паралитику. Посещение богатого знатного дома доктором с такой известностью, которой пользовался Чудинов, могло быть шокирующим, и молодой домашний врач, приглашавший его, объяснил, что для семьи больного Чудинов будет в некотором роде инкогнито.

– Допустим, что ваша фамилия Заславский, или нет, подумают – еврей, лучше Павлов, доктор Павлов... хотя это, впрочем, и не понадобится, вероятно... – говорил молодой доктор, входя с Чудиновым в бесшумно распахнувшуюся перед ними гигантскую стеклянную дверь подъезда на Сергиевской.

Чудинова охватила нравившаяся ему с детства прозрачная и пахучая атмосфера богатого барского жилья.

Лениво потягиваясь, от камина поднялся красавец пойнтер и доверчиво тыкался холодным носом в руки раздевавшихся докторов. На овальной вешалке, между ротондами, жакетами, висела шашка в металлических ножнах, несколько военных шинелей. Одна с красной подкладкой и кантами, другая – с вензелями на погонах и орлами на пуговицах.

И это издававшее аромат, брошенное на вешалку платье, странным образом возбуждая мечтательность, говорило Чудинову о владельцах вещей – беспечных, богатых, вероятно, веселых. Оттого, что он не видел их лиц, они представлялись ему интереснее, ярче, типичнее, и у Чудинова шевельнулось чувство, близкое к зависти: почему он сам не гусарский корнет, конфетно-красивый, имеющий успех у этих глупых, но интересных светских женщин?

Подымаясь за лакеем по ковровой дорожке, закрытой полотном и притянутой к отлогой лестнице бронзовыми прутьями, Чудинов думал: «А все же вы зовете меня...»

И то, что он являлся местью за эту праздную, дразнящую его по временам беспечную жизнь, служило ему злорадным удовлетворением.

Чудинов поймал себя на дурных мыслях и подумал то, что часто думал за последнее время: «Да, это старость подходит... преждевременная старость в сорок пять лет. Раньше все было впереди, теперь нечего ждать, и организм требует грубых удовольствий, простой, несложной жизни...»

В полутемной гостиной, с тускло блестящей мебелью и зеркалами, молодой коллега Чудинова сказал ему: «Одну минутку, я сейчас», – и бесшумно скрылся за портьерой. Не зная, что ему делать – стоять или сесть, Чудинов ожидал минут пять. Постепенно приближаясь, послышался разговор вполголоса, шелест юбок, и с молодым врачом позади к Чудинову вышла высокая девушка в черном, с той уверенной манерой держаться, которая дается воспитанием.

– Простите, мамап не совсем здорова, – заговорила она, подавая Чудинову руку без замедления и просто, как здороваются с людьми, позванными по делу. – Я не знаю, право, как быть... Папе теперь немного лучше, он уснул, и доктор Штроок не велел его будить, но мамап, если вы позволите, имеет еще к вам просьбу... осмотреть моего больного брата... Может быть, пока папа проснется, вы употребите на это время...

Чудинов угловато и сдержанно поклонился.

– Тогда пройдемте... – Привычным движением носком ботинки она откинула длинное завернувшееся наперед платье и, подобрав его, пошла впереди, легко посту кивая каблуками.

У Чудинова мелькнула мысль, зачем она нужна, когда здесь домашний врач, но сейчас же он понял, что это просто та любезность, по которой его не желали заставлять ждать и выдумали еще больного...

Незаметными, сделанными под обои боковыми дверями они вышли из зала и по трем ступенькам спустились в теплый коридор, далеко лоснившийся своим дубовым паркетом.

Потолок здесь был ниже, и Чудинов вместе с каким-то закулисным запахом краски и старой мебели, идя рядом с молодой девушкой, ощущал острый дразнящий аромат сильных духов, и беспокойное чувство, которое они сообщали, усиливалось шелестом юбок. Чтобы объяснить некоторую дальность пути и подготовить доктора, она говорила:

– Я должна сказать вам – брат мой всегда болен, то есть он болен от рождения... он страдает слабоумием... любезностью, ясно поглядывая в глаза доктору, и так просто и спокойно, как сообщают о насморке, лихорадке.

Чудинов с учтивой готовностью в глазах покачивал при каждом ее взгляде головой, точно ему очень приятно было слышать, что брат его шуршащей шелком, пропитанной духами собеседницы страдает идиотизмом.

– Раньше он был очень спокойным, – говорила она, – теперь же несколько месяцев страшно волнуется. Мамап очень встревожена. Если так продолжится, его придется отправить в лечебницу. Недавно укусил за руку сиделку... Вот здесь, направо...

Свернули еще в боковой полутемный коридор. В конце его желтым пятном светила лампочка. Здесь уже тянуло холодом, пахло крысами и чем-то подпольным. Откуда-то из глубины коридора неслись странные рыкающие звуки и чей-то визгливый женский голос не то бранил, не то убеждал кого-то.

– Он страшно беспокоится, – оправдываясь за помещение, говорила барышня, передергивая от сырости плечами. – Иногда ужасно кричит...

Рыканье вперемежку с каким-то поросычьим визгом послышалось близко.

– Видите, чем-то недоволен, – сказала она, остановившись у двери, и постучала в светлый квадрат стекла, завешенного белым.

В двери высунулась женская голова в батистовой наколке.

– К вам можно? я с доктором...

Голова исчезла, и через несколько минут дверь распахнулась, и открывшая ее сиделка посторонилась, давая дорогу...

Вошедших охватил спертый кислый воздух, и самолюбие Чудинова неприятно тронула мысль: «Как мало эта девушка интересуется им, как человеком, как мужчиной, если без особой нужды сама пришла сюда».

У стола, привинченного к полу железными кошками, в кожаном истрепанном кресле сидела огромная голова, подвязанная салфеткой. Рыканье замолкло, и в вошедших впились два белесых глаза, казавшиеся страшными отсутствием ресниц и бровей. Широкий, прямо разрезанный мокрый рот раздвинулся, обнаруживая желтые, клыковатые, лезшие вперед зубы, голый подбородок блестел слюной. На полу валялись игрушки, сделанные тяжело и прочно.

Рядом с креслом идиота стоял служитель, крепкий парень с осоловевшим, глупо-смущенным лицом. И на нем, и на сиделке, и на всей грязной, поцарапанной, упрощенной обстановке лежал отпечаток какой-то обособленной бесправной, не своей жизни. Казалось, эти нездоровые лица прислуги заражены были безумием и отверженностью, живущими в этой комнате...

– Ну здравствуй, Дима, – утрированно весело заговорила сестра, первой направляясь к брату. – Что ты, ужинаешь?..

– Он немного понимает, – тоном демонстранта сказала она, оборачиваясь к Чудинову, и

вслед за этим рыканье наполнило комнату.

Идиот тянулся к сестре, вскрикивая в промежутках между хрюканьем:

– Дай, дай... бба бба... д-а-д-а-й...

– Что он хочет? – тревожно спросила девушка, обращаясь к сиделке.

– Вот как видите... – ответила сиделка, – целый день сладу нет. Сегодня с утра связанный сидит...

– А вы давали то, что я вам оставил?... – озабоченно спросил домашний врач.

– Да как ему дашь? видите...

– Гры-гры, дай, дай, ба, ба, – кричал идиот. Он схватил со стола суповую эмалированную чашку и бил ею по столу.

– Григорий, возьмите же чашку... да что вы смотрите!..

– Дай, дай – гры, гры.

Дикий гик наполнял комнату, мешал говорить.

– Ну зачем же сердиться, не надо кричать, – говорил молодой врач, подходя к больному, но голос его раздавался слабо, заглушаемый, как на улице.

Идиот, обходя врача, тянулся к сестре и бил под столом ногами. Врач пожал плечами и вопросительно посмотрел на Чудинова.

– Я думаю, пока он не успокоится, без горячечной рубашки не обойтись... ведь он весь избился.

Чудинов подумал что-то свое и, не отвечая коллеге, попросил выйти сестру идиота и сиделку.

На минуту идиот умолк, большая голова, как у заводной куклы, поворачивалась, ища чего-то глазами... Потом раздался сорвавшийся пронзительный визг. Идиот уперся в стол ногами, и тяжелое кресло опрокинулось вместе с ним набок.

– Давай еще полотенец! – кричал служителю молодой врач, барахтаясь на полу с пытавшимся подняться идиотом.

– Нет, он положительно становится опасным, – говорил запыхавшийся доктор, оправляя сломанные манжеты, когда идиота связали и вкатили в смежную комнату.

Оттуда слышался придушенный, задыхающийся стон.

– И силища какая!..

– Сколько ему лет? – спросил Чудинов.

– Кажется, двадцать... Вы полагаете, что это...

– Убежден даже... женскую прислугу, во всяком случае, надо убрать.

Чудинов не договорил, как в коридоре послышались встревоженные голоса, дверь распахнулась, и в ней вырос перепуганный бледный лакей в странно не идущем к этой обстановке коричневом фраке с золотыми пуговицами.

– Пожалуйте к барину. Очень худо... – проговорил он, переводя дыхание.

С той озабоченной бесцеремонностью, с которой врачи держатся в квартире умирающего, они шли через комнаты, где сустились люди и слышался испуганный шепот...

Чудинов, торопясь в той мере, сколько этого требовало приличие, шел за своим коллегой и по временам думал, что все это глупо, не нужно и напрасно он поехал на этот консилиум.

В комнате, предшествовавшей помещению больного, Чудинов по свежему сквозняку, женскому истерическому плачу и по тому, как лакеи с глупыми, подделанными под испуг лицами свободно входили в дверь, откуда несло лекарствами, понял, что все кончено. Батюшка с растерянным лицом снимал епитрахиль. Что-то выносили и просили посторониться.

К домашнему врачу подошел молодой гвардейский офицер. Он закрыл глаза, кивнул головой и проговорил: «В месте светлом, в месте злачном»... Второй удар во сне, и его даже не успели приобщить».

– Бедная Зина, она так любила отца...

Молодое лицо офицера светилось сдержанным печальным оживлением и, казалось, говорило: «Да, вот бывает же так, что умирают люди».

В разговоре офицер два раза взглянул на Чудинова, покраснел и нерешительно качнул корпусом. Потом ниже наклонил голову и, точно от удара плетью, быстро повернулся и отошел.

Чудинов, видевший много раз этого человека в своем кабинете голышом, смутился тяжелым неловким смущением пожилого солидного человека.

Пощупав без нужды в кармане стетоскоп, он беспомощно посмотрел на молодого врача.

– Выведите меня, ради бога, из этого лабиринта, – сказал он упавшим голосом.

– Сейчас, сейчас, – шепотом ответил тот, ища кого-то глазами.

В комнату вошла толстая заплаканная дама. Всхлипывая, нюхая спирт, она в то же время отдавала приказания шедшим за нею лакеям.

По тому, как домашний врач, быстро подойдя к ней, зашептал что-то, наклоняясь, и дама торопливо опустила руку в карман, Чудинов понял, что его задерживают, желая уплатить за проезд.

И, как в первое время своей практики при получении гонорара, он вдруг почувствовал мучительный горячий стыд. Сморщившись, втянув голову в плечи, он отвернулся и, стиснув зубы, облитый теплом внезапной ярости, подумал: «Проклятая... отвратительная профессия, подлая, гадкая. Всем людям за их труд платят открыто, как следует, а здесь суют в руку крадучись, непременно бумажку, и конфузятся чего-то. – Да и за что мне здесь платить?»

Решивши не стесняться, он круто повернул и, глядя под ноги, пошел к выходу.

В той суматохе, которая бывает в домах, где только что умер человек, на Чудинова никто не обращал внимания, и он шел, большой, высокий и мрачный, с таким видом, точно решил прибить всякого, кто станет на его дороге.

В знакомом Чудинову зале, у рояля на низеньком табурете, сидела девушка, сестра идиота. Согнувшись, она закрылась платком, и стан и плечи ее вздрагивали. Возле стоял офицер и в замешательстве, не зная, очевидно, что ему делать, время от времени касался рукой волос девушки.

На лестнице Чудинов услышал за собою торопливое бряцанье шпор и, обернувшись, увидел покрасневшие, робкие и просящие глаза.

– Ради бога, доктор, – проговорил, захлебываясь и давясь, офицер, – когда я могу вас видеть?..

Чудинов осмотрел его с головы до талии тяжелым, неприязненным взглядом и глухо сказал:

– Зачем?

Офицер заволновался.

– Ах, доктор, мне очень, очень нужно с вами поговорить.

Чудинов повернулся и, уже не оборачиваясь, сказал:

– Если очень нужно, когда хотите, сейчас, завтра...

II

Когда Чудинов по вечерам возвращался домой, его всегда неприятно настраивала темнота и безлюдная гулкость огромной квартиры.

– Точно депо какое, – сердился он на свое жилище. Медля раздеваться, он обыкновенно просматривал в передней корреспонденцию и визитные карточки и недовольно бросал старику лакею:

– Говорил, не пускать этого больного! – или: – Зачем мне присылают объявления о всяких дешевых предметах и зеленных лавках? Выбрасывать к черту! – И чем терпеливее был слуга, тем больше сердился хозяин.

Переодевшись в просторную серую тужурку и меховые туфли, Чудинов велел затопить камин и принести чай. Потом достал из гардероба музыкальный ящик, долго перебирал железные шершавые кружки пьес и поставил «Дунайские волны».

Это развлечение Чудинов придумал себе в последнее время и почему-то стеснялся его даже перед прислугой.

Мелодичное треканье инструмента, похожее на бульканье дождевой воды, напоминало Чудинову губернский городской сад, где он гулял семинаристом, рождественские вечера в общественном собрании и многое другое, чего он ранее не ценил и считал обыкновенным, а теперь эти воспоминания вызывали в нем щемящую сладкую грусть. Однажды, осматривая светскую барышню, перепуганную, растерявшуюся, с распухшими от слез глазами, Чудинов вдруг поднял голову и серьезно спросил:

– Вы какими духами душились?

Этим вопросом он удивил и себя и пациентку, а потом купил флакон апопанаксу и по вечерам, слушая «Дунайские волны», сидел и нюхал надушенный платок. В такие минуты Чудинов думал: «Сколько лет это было назад?» Насчитывал двадцать два, двадцать пять, сбивался и опять считал. И мысленно, пересчитывая вновь длинную вереницу годов, он невольно подводил итог тем радостям жизни, которые он постепенно терял.

Вот скоро пасха... Как это было радостно в прежнее время и как безразлично теперь. Пасхальная ночь... такая веселая, беспокойная ночь – а каникулы, ночевки на сеновале... Вспомнились ему первые студенческие годы. На вакациях он жил однажды у добрых стариков помещиков, приготовляя их внука в кадетский корпус. В комнате, которую отвели Чудинову, на окнах висели белые невинные занавесочки, а по стенам старые, в лиловых рамках с золотым бордюриком иллюстрации к «Евгению Онегину». Здесь всегда пахло сухими васильками, ореховой оклейкой мебели и чем-то старым, удивительно покойным. И часы тикали, как будто говорили: здесь хорошо, здесь хорошо.

Утром, с первыми лучами солнца, за окном на бузине и кустах сирени воробьи подымали возню. Было еще рано, стоял утренний холод, но Чудинов вскакивал с таким чувством, как будто боялся что-то пропустить. Часто, не одевшись еще, радуясь своей молодости и июньскому светлomu утру, он отплясывал по комнате трепака и потом, улыбаясь сам себе в зеркало, оправленное в облупившуюся раму красного дерева, говорил:

– Вот дурак, не правда ли?

Да, вот и все. А потом тяжелая лямка, каторжный труд, греческие кухмистерские и одиночество, одиночество, одиночество... Теперь ему уже под пятьдесят; он известен, деньги, при желании, потекут к нему водопадом, но у него нет ни друзей, ни близких, даже нет просто хороших знакомых. То, что другие тратят на устройство своего личного, теплого логовища, – энергию, смелость, молодость, даровитость, он отдал «святому служению науке». Да-с.

Волны Дуная от края до края,
Тихо играя и тихо сверкая... –

фальшиво, в нос, с какой-то горькой злобой мурлыкал Чудинов. Далеко в передней затрещал звонок. Чудинов насторожился и, когда услышал, что лакей разговаривает с кем-то посторонним, поспешно спрятал музыкальный ящик в шкаф. Обыкновенно, бывая по вечерам дома, Чудинов отдавал приказание никого не принимать, но на самом деле это была одна форма, так как на все звонки он выходил сам. Бессознательно ему казалось, что среди этой массы осаждавших его посетителей, просящих, спрашивающих, он пропустит кого-либо интересного или просто нового. Так, однажды к нему пришел старый священник – его товарищ, в другой раз его ученик – инженер.

Старик лакей выпроваживал уже посетителя на лестницу, когда в переднюю вошел Чудинов и недовольно спросил:

– Кто там?

Из дверей с Чудиновым смущенно раскланялся молодой врач, возивший его на консилиум.

– А я думал, офицер, – сказал Чудинов, – что ж, входите.

Раздеваясь и чего-то конфузясь, доктор объяснил, что он привез гонорар и приехал, «собственно, на минутку».

– А я предполагал, что ваш покойник воскрес и вы опять собираете консилиум, – попытался сострить Чудинов, но вышло тяжело и непонятно... Молодой врач улыбнулся из приличия и протокольно начал объяснять конечную причину смерти его пациента.

Выходило так, что его в чем-то не послушали, сделали горячие ванны, и оттого смерть наступила раньше, чем следовало ожидать...

Чудинов долго смотрел на гладкий лысеющий лоб молодого доктора, на его усталое нездоровое лицо и вдруг, перебивая его речь, спросил:

– Скажите, пожалуйста, вы были в Италии?

Доктор не ожидал этого вопроса и потому, осекшись, почти с тревогой сказал:

– Нет, а что?

Чудинов помолчал, побарабанил пальцами и потом уже ответил:

– Хорошо там, должно быть...

Доктор внимательно посмотрел на Чудинова и, чтобы не удлинять паузы, сказал:

– Вы тоже не были?

– Не был...

Помолчали...

– За границей я был только в Германии, – начал молодой врач, но Чудинов перебил его с насмешливым огоньком в глазах:

– И конечно, учились?

– Да, я слушал у профессора Вагнера и работал в Берлинской королевской клинике...

Чудинов шумно встал и возбужденно заговорил, шагая по своей большой приемной:

– Послушайте, вы говорите все не то. Скажите лучше вот что. Вы сколько лет практикуете? Десять, двенадцать?.. восемь?.. ну, это все равно. Скажите мне, пожалуйста, искренно, – только скажите, зачем вы все это делаете?

– То есть что́ делаю? – испуганно и недоумевающе спросил доктор.

– Ну, вот ездите там по больным, лечите или работаете в клинике и прочее...

Доктор пожал плечами и, запинаясь, нерешительно проговорил:

– Мм... я, право, не совсем хорошо вас понимаю, Варнава Дмитриевич. То есть я, как это сказать, я люблю свою науку.

– Ну, какую там науку, – закричал Чудинов, – это давно всем известно, что наше дело пользуется только услугами науки, а само по себе ремесло, высшее, может быть, но все же ремесло...

– Я с вами не согласен... – осторожно вставил доктор. – Мнение, которое только что вы высказали, действительно, в последнее время...

– Да что там мнение, – грубо перебил его Чудинов, – вот вам лучшее доказательство ненаучности медицины, – всякая наука имеет свою философию.

Скажите, пожалуйста, какая философия у медицины?

– По-моему, очень большая и, если хотите, на мой взгляд, этически-нравственного порядка...

– Так? – сказал Чудинов, круто останавливаясь перед своим собеседником. Как человек долго и мучительно думавший об одном предмете, он не следил уже за мыслью говорившего с ним и только хотел высказаться.

– А я вот, как старый врач, – продолжал он опять, зашагав по комнате, – объясню вам всю эту философию, которую я вынес за двадцать лет моей врачебной практики. Я буду говорить просто и кратко, вы не пугайтесь.

Я не знаю, как у других там было, а у меня так: никакого призвания у меня к медицине не было, да и сомневаюсь, чтобы оно у кого-нибудь вообще было. Так, выбрал медицинский факультет, потому что нужно было что-либо выбрать. Учился я из самолюбия, заинтересовывал себя технически, как шахматами. Из самолюбия же решил во что бы то ни стало добиться чего-либо. Ну, потом все окружающее понемногу вдалбливало мне в голову всякую труху: «польза ближнего», «страдания больного брата» и прочее. И вот я пошел этой дорогой с добросовестностью старого вола, а когда прошел ее почти всю, то вдруг увидел, что меня обманули. Обманула жизнь, обманули люди, и обманули самым мошенническим образом. Казалось так, что чем больше я отдамся, тем больше мне дадутся? Астроному, философу, математику уплачивается хоть тем, что он что-то побеждает, проникает в области, возвышающие душу человека. Скажите, что дает врачу медицина? Я всю жизнь только лечил, лечил и лечил. По лицам этих больных людей я видел, что они жили своей счастливой личной жизнью и приходили просить меня: «Возврати нам опять эту утраченную жизнь».

И я возвращал и продолжал лечить без конца, а своя жизнь уходила безвозвратно. И вот уже ушла. Чудинов остановился, подергал себя за клоч серых седеющих волос и повторил:

– Ушла... а человек живет только раз.

– Вы скажете, – заговорил Чудинов тише и спокойнее, – почему я не сочетал свою личную жизнь с вашей так называемой наукой? Потому, что я был очень добросовестным ученым, – это раз, а второе – я очень любил жизнь и потому боялся ее, как врага науки. И я продал жизнь за какой-то призрак. Я банкир, раздавший все по долгам и ничего не получивший обратно. Зачем я вожусь, пачкаюсь с этими гнилыми, дохлыми людьми, моими пациентами? Чтобы они воспроизвели на свет идиотов, подобных тому, которого мы с вами только что видели... Кто этот

офицер, который говорил с вами, – сын покойного? родственник?

– Это жених дочери, – печально и не глядя на Чудинова, ответил доктор.

– Так, так. Я и думал, – радостно закричал Чудинов. – Вы врач, и я вам скажу – ведь это тоже мой пациент. Понимаете? Так вот, не угодно ли, миленькое потомство получится, а – не правда ли?.. Так зачем же, скажите, зачем я этим мерзавцам жизнь-то отдал?.. Чтобы сделать их способными расплужать идиотов.

В это время опять затрещал входной звонок, Чудинов пошел в переднюю, а молодой врач, смущенный всей этой неожиданной тирадой знаменитости, нерешительно взялся за шапку.

Стоя посреди ковра, ожидая возвращения хозяина, он слышал, как Чудинов, повышая голос, начал кричать на кого-то, потом закончил:

– Вон!.. сию же минуту вон!

Входная дверь хлопнула, и Чудинов возвратился усталый, бледный, с опустившимися углами губ.

– Я, кажется, разволновался и наделал глупости, – сказал он упавшим голосом. – Сейчас выгнал этого офицера...

По настоянию молодого врача Чудинов лег в постель и принял бром. Прощаясь с коллегой, он задержал его руку в своей и, чтобы смягчить все слышанное им, сказал, криво улыбаясь:

– Жрец сошел с ума. Пожалуйста, напишите и объясните все этому воину, а то он, чего доброго, еще на дуэль меня вызовет.

*С.-Петербург,
4 апреля 1905 г.*

Сны

I

В раннем детстве меня посещала очень странная греза. Это случалось тогда, когда я подолгу глядел из окна на улицу. Бежали люди туда и сюда, встречались, мелькали мимо друг друга, останавливались, улыбались, размахивали руками; грохотали извозчицьи экипажи, с понурыми послушными лошадьми, со сгорбленными извозчиками на козлах; женщины, мужчины, дети, собаки – все это беспрерывно текло и текло целыми часами по улице.

И тогда мне начинало казаться, что люди только притворяются такими озабоченными, торопливыми, равнодушными и чужими – притворяются потому, что не помнят, забыли о чем-то самом главном, громадном и торжественном. И я думал: вот-вот оно наступит. Сразу, в один невообразимо короткий момент пронесется по всему миру одна и та же чудная, забытая мысль, – и сразу все остановится. Люди, животные, дома, камни, облака на небе – все, все, – живое и неживое, с изумлением встрепенется, замрет, замолкнет и прислушается. И тогда высоко над миром ясно раздастся труба архангела, призывающая к Страшному суду.

С трепетом в детском сердце, со страхом и с глубокой верой ждал я чуда. Ждал до тех пор, пока вдоль по темной улице не протягивались двумя золотыми цепями огни фонарей.

II

Был у меня также один страшный сон, повторявшийся почти каждый месяц и мучивший меня.

В темной голой комнате томится несколько человек, раздавленных ужасом, дрожащих, обессиленных. Я тоже с ними. Некоторые из нас сидят вдоль стен, по углам, и, обхватив руками угловатые колени, медленно качаются взад и вперед. Другие рвут на себе волосы. Иные ходят взад и вперед, избегая друг друга при встречах уклончивыми движениями, движениями зверей, запертых в клетку.

Но ни одного слова, ни одного звука не произносят наши губы, оледенелые от ужаса. Глаза наши, не отрываясь, устремлены, точно прикованы невидимыми нитями к тому месту в стене, где находится дверь. Время от времени она отворяется, и тотчас же один из нас, без зова, покор-

но, низко опустив голову, идет и исчезает за дверью. Дверь опять закрывается.

Но на минуту мы все видим огромную комнату, залитую багровым светом, в котором мечутся бледные, измученные тени, слышим крики боли и отчаяния и, наконец, видим его – Палача! Он стоит неподвижно, огромный, сильный и серьезный, красное платье тесно обтягивает его мускулистое тело, его широкое лицо бледно. Это – Палач, и так его зовут потому, что у него нет другого имени.

Закрывается дверь – и снова темница и ужас. Я знаю, что сейчас придет и моя очередь. В смертельной тоске я хватаюсь руками за голову и шепчу:

– Нет... не может быть... Это сон, это только сон. Я сейчас проснусь!..

Но я не просыпаюсь и опять думаю, весь холодея и дрожа от страха:

«Если бы я спал, то не думал бы о том, что сплю. Все это живая, настоящая действительность: эти отчаянные, безмолвные фигуры, кровавая комната. Палач, ожидающий меня... Смерть!»

Открывается дверь. «Моя очередь», – думаю я и покорно встаю, чувствуя ужас каждой частичкой своего тела. Широкое, бледное лицо Палача поворачивается ко мне. И тогда я просыпаюсь.

III

Но теперь все чаще и чаще снится мне земля – это огромное живое ядро, которое, вращаясь, летит стремительно в какую-то черную, бесконечную, безвестную бездну, летит, повинуюсь точным и таинственным законам. И кругом земли – тьма, густая, красная тьма, насыщенная испарениями крови и запахом трупов. Это навис и сгустился над нею страшный, липкий кошмар, и она стонет и мечется во сне и не может проснуться.

Вижу я свою бедную, прекрасную, удивительную, непонятную родину. Вижу ее, точно возлюбленную женщину, – обесчещенной, изуродованной, окровавленной, поруганной и обманутой. Вижу ее неизмеримо громадную, от Ледовитого океана до теплых морей, от Запада до сказочного Востока, и вся она в зареве пожаров, вся залита кровью и усеяна трупами, вся содрогается от стонов и проклятий. Кровавый сон ходит над нею, и в этом сне озверелые шайки с хохотом убивают женщин и стариков, разбивают головы детей о камни мостовой, и в этой красной мгле руки людей дымятся от крови.

Я вижу, как повсюду простираются исхудалые руки и как сухие, искривленные рты беззвучно вопят:

– Хлеба!

– Терпите! – отвечают им одни.

– Молчите! – кричат другие.

Я вижу людей с телами, иссушенными огнем, с руками, подорванными непосильной работой, людей с разбитой чахлой грудью.

– Наш труд – проклятие, не хотим рабства! – слышу я их беззвучные вопли.

– Терпите! – отвечают одни.

– Молчите! – кричат другие. – Терпите рабство – или смерть вам и щенятам вашим.

И вижу я также сытых, изрыгающих обильную пищу, которая не вместились в желудках их, и вижу недоверчивых, что прячут от голодного недоеденную корку хлеба, и вижу рабов, убивающих по неведению, и вижу трупы мучеников погранными и оплеванными.

И тогда-то мне начинает казаться, что скоро проснется окровавленный мир. Чудится мне, что однажды ночью или днем, среди пожаров, насилия, крови и стонов раздастся над миром чье-то спокойное, мудрое, тяжелое слово – понятное и радостное слово. И все проснутся, вздохнут глубоко и прозреют. И сами собою опустятся взведенные ружья, от стыда покраснеют лица сытых, светом загорятся лица недоверчивых и слабых, и там, где была кровь, вырастут прекрасные цветы, из которых мы сплетем венки на могилы мучеников. Тогда вчерашний раб скажет: «Нет больше рабства». И господин скажет: «Нет в мире господина, кроме человека!? А сияющая, пробужденная земля скажет всем ласково: «Дети! идите к сосцам моим, идите все, равные и свободные. Я изнемогаю от обилия молока».

IV

Я верю: кончается сон, и идет пробуждение. Мы просыпаемся при свете огненной и кровавой зари. Но это заря не ночи, а утра. Светлеет небо над нами, утренний ветер шумит в деревьях! Бегут темные ночные призраки. Товарищи! Идет день свободы! Вечная слава тем, кто нас будит от кровавых снов. Вечная память страдальческим теням.

1905